

ISSN 0132-0637

2001

7

Октябрь

Октябрь

7 2001

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

7

2001

июль

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Юлиу ЭДЛИС. Черный квадрат. Роман	3
Александр ФУРСОВ. Китайский почерк. Стихи	57
Наль ПОДОЛЬСКИЙ. Книга Легиона. Роман	63

Нечаянные страницы

Владимир ЛАВРИШКО. Один день из жизни Очень Знаменитого Поэта	128
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Морис СИМАШКО. Пятый Рим. Глава из книги. Подготовка текста и публикация Риммы Шамис	143
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Олег ПАВЛОВ.
Музыка жизни 165

Панорама

Анна АСТАХОВА. «Веленью Божию, о муза, будь послушна...» (Н. С. Серегина. А. С. Пушкин и христианская гимнография). * Александр МЕЛИХОВ. Книга мертвой скуки (Эдуард Лимонов. Книга мертвых). * Кирилл КОБРИН. Учебник жизни и искусства (Дороти Ли Сейерс. Чей труп?). * Александр ЛЮСЫЙ. Комплекс Гамлета (Ф. Гримберг. Две династии) 173

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА.
Капсула времени 183

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.
Сайнс fiction 188

Главный редактор

Анатолий АНАНЬЕВ

заместитель гл. редактора

Ирина БАРМЕТОВА

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

Из общего тиража каждого номера Министрство культуры Российской Федерации выкупает для библиотек России 550 экземпляров журнала.

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 850 экземпляров журнала.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.
Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2001. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 23.05.2001. Подписано к печати 31.07.2001. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 5670 экз. Заказ № 1351. Цена 52 руб.

ООО «ОИД «Медиа-Пресса».
125993, ГСП-3, Москва, А-40, ул. «Правды», 24.

Черный квадрат

РОМАН

1

Про себя Рэм Викторович всегда называл Анциферова не иначе как Люциферовым: Люцифер, князь тьмы,— но и продолжал пребывать в плену его недоброго обаяния, мало не любить его, но и — в то же время и с тою же покорностью — бояться. То были не два разных, хоть и тесно за долгие годы сплетшихся, сдвоившихся чувства, а — неразъемное одно, и сам Рэм Викторович не мог бы, положила руку на сердце, сказать, чего в этом чувстве больше: любви или страха.

С тех пор как Анциферов стал жить в доме ветеранов партии в Переделкине — а тому уже перевалило за десять лет,— Рэм Викторович неизменно навещал его ежегодно Девятого мая, в День Победы. Получилось как-то само собой, что именно в этот день — воевать они вместе не воевали, но Рэм Викторович впервые встретился с ним и поддался его чарам как раз в мае сорок пятого, в Берлине, вскоре после Победы.

До Переделкина на электричке, с Киевского вокзала, рукой подать, каких-нибудь полчаса. По случаю праздничного дня поезд из Москвы был пуст, в вагоне набралось едва ли с десятков человек. Рэм Викторович пристроился у немытого с зимы, в ржавых потеках, окна, развернул купленную на вокзале газету, но читалось невнимательно, вразброс, глаза, ни на чем не задерживаясь, скользили по набившим оскомину строчкам, одним и тем же изо дня в день. То ли жизнь остановилась, думал про себя Рэм Викторович, то ли дело во мне самом: укатали сивку крутые горки.

Выйдя из электрички, он взглянул на станционные часы — третий, у ветеранов самый обед, можно не торопиться. По правде говоря, он всякий раз как бы случайно, по рассеянности, угадывал поспеть на поезд так, чтобы до встречи с Анциферовым еще и на переделкинском кладбище побывать.

Сойдя с платформы, он и свернул на шоссе к кладбищу, и ноги сами привели его по уже просохшей к маю, утопанной тропинке к могиле под тремя стремительно возносящимися вверх соснами, к серо-сиреневому надгробию с плохо уже различимым от времени и непогод тоже стремительно, по-лошадиному, выгнутым вперед и вниз профилем человека, на которого он, Рэм Викторович Иванов, в юности чуть ли не молился и которого низко, пошло предал. Впрочем, предательства в прямом смысле слова, собственно, не было, не состоялось, да и лежащий под могильной плитой человек при жизни, разумеется, ведать не ведал ни о любви к нему Рэма Викторовича, ни о предательстве его, как и о самом его существовании.

Рэм Викторович поймал себя на том, что это — всего лишь жалкое, беспомощное самообольщение, такое же пошлое, как и само его несостоявшееся предательство.

Пусть на деле, в поступке, его и не было, не случилось, чиркнуло по касательной, а все равно — было! Не возжелай, сказано, жены ближнего своего. Не только не преступи черту — не возжелай преступить!..

Он повернулся и пошел обратно, но уже другой тропой, не верхом, а низом кладбищенского холма, и оказался среди совершенно одинаковых, сработанных по одной колодке надгробных плит, словно посреди стада черных баранов, и под каждым именем на этих плитах было высечено или выведено отшелушившейся бронзовой краской: «член партии с такого-то года», с седьмого, с десятого, двадцатого, тридцать пятого... И Рэм Викторович в который раз с обидой подумал, что и Анциферову не миновать этой сомнительной чести — тут-то их и хоронят, ветеранов, старую гвардию, тут-то им и продолжать шагать тесными, сплоченными рядами в светлое будущее. Хотя кто-кто, думал, осторожно ступая по крутому склону Рэм Викторович, а уж Анциферов-то достоин отдельной памяти, уж он-то всем им не чета. Это Рэм Викторович угадал в нем в первую же их встречу — тогда, в Берлине, в мае сорок пятого.

2

Молоденьким, молоко на губах не обсохло, младшим лейтенантом он служил тогда переводчиком при политуправлении фронта — в переводчики его произвели лишь в сорок третьем, когда началось неостановимое уже наступление и немцы стали тысячами сдаваться в плен, тут-то и пригодился его разговорный немецкий. А до этого, с июля сорок первого, со второго курса ИФЛИ, — добровольцем в московском ополчении и затем в пехоте рядовым стрелком, и только когда откомандировали в политуправление, получил зеленые полевые погоны об одну звездочку. Перебираясь со штабом из одного немецкого городка в другой — все будто сошли с цветных картинок зачитанных в детстве сказок братьев Grimm, — он только и думал о будущей аспирантуре, до которой и без войны еще жить бы да жить, и даже придумал тему диссертации: «Сравнительный анализ легенд о докторе Фаусте», и все вокруг видел сквозь это свое счастливое будущее.

В конце мая, недели через полторы после подписания капитуляции, его прикомандировали к группе объявившихся в Берлине высоких чинов, но по свежести и выглаженности гимнастеров и блеску надраенных ваксой сапог было очевидно, что фронта они и не нюхали. Среди них был как раз и Анциферов, к которому и приставили младшего лейтенанта Иванова: переводить беседы с немцами-антифашистами, а за неимением таковых на худой конец хоть с не слишком замаранными сотрудничеством с прежним режимом, из которых отбирала годных в магистраты и чиновники для управления поверженной страной.

Собеседования с немцами, мало чем отличавшиеся от допросов пленных, в которых Рэму доводилось участвовать последние два года, работа в негоревших городских архивах, очные ставки для проверки и перепроверки будущих новых властей, — Анциферов работал с утра и допоздна, а то, по московскому обыкновению, и ночи напролет, без передышки и устали, не давая роздыха и переводчику. И только окончив все намеченные на день дела, брал его с собою в чудом сохранившийся невредимым огромный пустой особняк в Карлхорсте, в котором ему было отведено жилье, и пил там до следующего утра, не отпуская и Рэма. Правда, пить его неволил не слишком, в первую же ночь убедившись, что тот по молодости не мог с ним тягаться на равных. Но и осушая бокал за бокалом старые вина и коньяки, которыми был полон винный погреб сбежавших к американцам хозяев особняка, Анциферов несколько не пьянел, разве что становился словоохотливее, чем днем, и заводил долгие, до самой зари, разговоры. Он сам ходил в погреб за запечатанными красным и черным сургучом, поросшими шерстистым слоем многолетней пыли бутылками, беря их наугад,

не разглядывая этикеток, на которых был означен год урожая,— ему было все равно, что пить. Вернувшись наверх, он снимал сапоги и ходил в одних толстых шерстяных домашней вязки носках и с болтающимися по бокам широкими помочами. Он подробно и придиричливо расспрашивал Рэма о нем самом и ответы выслушивал, не сводя с него прищуренных цепких глаз, трезвых, сколько бы ни выпил, словно впечатывая впрок в сусеки памяти услышанное. И, как казалось лейтенанту, дневная в них подозрительность и непроницаемость сменялись обыкновенным, неопасным любопытством, и Рэм, истосковавшийся за войну по простому человеческому к себе интересу, доверчиво откликнулся на живое это любопытство его глаз.

Он и вообще отличался, Анциферов, от всех прочих в эти дни: всеобщая эйфорическая радость, что — победа, мир, конец войне, скоро домой, которой жили они все, фронтовики, будто совершенно его не касалась, даже мешала ему делать свою важную, не подлежащую огласке работу, и даже ночами, у пьяного, Рэм редко видел на его лице улыбку, напротив, ему постоянно чудилась на нем какая-то неясная, недобрая усмешка, словно он наперед знал всему цену, и цена эта была — полушка. Но именно эта усмешка и притягивала к себе Рэма, оторваться от нее, не разгадавши, было выше его сил. Впрочем, временами она и пугала его: над чем усмешается вечно Анциферов? И уж совершенно не в силах был угадать, образованный ли он человек или же лапоть лаптем?

— Фауст? — неожиданно мог он сказать Рэму, откинувшись в тяжелом кресле с высокой прямой спинкой и не сводя с него привязчивого взгляда. — В советском институте — и на тебе, Фауст какой-то!.. Хотя, конечно, с другой стороны... — И было непонятно, то ли его и вправду занимает мечта Рэма о будущей диссертации, то ли он осуждает его за такой выбор. И добавлял уж и вовсе неожиданно: — Лично мне куда как интереснее этот, как его...

— Мефистофель? — подсказывал Рэм, хотя бывал отнюдь не уверен, что Анциферов на самом деле забыл имя черта, а не лукавит.

— Он самый, — соглашался Анциферов, и усмешка яснее пропечатывалась в его глазах, — тип, я тебе скажу...

— А вы — читали? — не удержался от удивления Рэм в тот первый раз, когда они заговорили о «Фаусте».

— В опере видал, — уклонился было от прямого ответа тот, но тут же и прочитал на память по давнему, всеми забытому переводу Жуковского: «Я дух, который вечно отрицает, и прав, ибо все, что возникает, опять должно погибнуть поделом». — И, не спуская с Рэма трезвых, жестких глаз, спросил, и опять было неясно — то ли всерьез, то ли ерничая: — Это как же понимать?! Это что же выходит — черт рогатый знал диалектику раньше Гегеля?.. Получается как по писаному: отрицание отрицания, а?..

— Гете с диалектикой наверняка был знаком... — не сразу нашелся Рэм, почуввав в вопросе Анциферова ехидный подвох.

— А может, — как бы не услышал его тот, — может, она как раз дьявольское изобретение и есть, диалектика? — Но тут же смягчил риторический свой вопрос, и в этом почудилась Рэму и вовсе обидная снисходительность: — Не наша, само собой, а, скажем, идеалистическая. Но, с другой-то стороны, идеализм, как думается, именно что от бога, а не от дьявола. А с третьей... — Не договорил, спросил в упор: — Ты как полагаешь, лейтенант, как тебя в твоём институте философии и истории учили — бог есть? — И в ожидании ответа опрокинул в себя высокий фужер с трофейным коньяком. — Или окончательно нет его?

— Нету, — ответил с удвоенной после выпитого вина убежденностью Иванов.

— Нету, значит... ясное дело, — задумчиво то ли согласился, то ли усомнился Анциферов и снова наполнил фужер золотистой, с огненным отливом жидко-

стью, в которой играли всполохами язычки свечей — в городе все еще не было электричества. — А — черт?

— Что — черт? — не понял его Рэм.

— Ну, дьявол? Мефистофель тот же, одним словом — князь тьмы. Есть он или нет?

Этот книжный, так не вяжущийся с обычной, нарочито простецкой речью Анциферова «князь тьмы» и вовсе спутал все карты и застал Рэма врасплох.

— Ну... нету,— осторожно ответил он.— Раз бога нет, то и, стало быть...

— И вовсе не стало быть! — оборвал его на полуслове Анциферов.— И нечего их в одну кучу валить.— И спросил еще опаснее: — А — человек? Человек-то — есть, по всему видать?

— Есть, разумеется. Ведь вот же — мы с вами...

— А раз мы есть,— твердо и как о само собой разумеющемся сказал на это Анциферов,— стало быть, черт тоже есть. Как же нам без черта? Никак нам без него нельзя.— И вновь выпил одним духом полный фужер.

То ли от вина, то ли от этих более чем странных, манящих и чреватых, как хождение по проволоке, опасностью слов Анциферова у Рэма кружилась голова и мысли шли вразброд.

Это было и в самом деле до необъяснимого странно — этот как бы ни о чем разговор двух смертельно уставших за долгий день людей, к тому же пьяных, а за распахнутым окном в частом переплете — чернильная весенняя ночь и пустой, обезлюдевший, в развалинах, город, и такая бесплотная тишина, что, казалось, слышно было, как распускаются, выпрастываясь из ранних почек, первые молочные свечи каштанов.

— Да не будь его, черта,— не заметил замешательства Рэма Анциферов,— откуда бы, скажем, война? Пораскинь-ка мозгами, лейтенант.

— Война-то кончилась,— обрадовался перелому разговора Рэм,— мир!

— Кончилась, думаешь? — задумчиво переспросил Анциферов.— Так, так...— И вдруг спросил жестко, но и, как послышалось Рэму, горько: — А ну как она только начинается?

— Начинается?! — поразился и испугался Рэм.— Но — за что?

— А за этот самый мир,— ровно, даже с докукой пояснил Анциферов.— За весь мир, сколько его ни есть на белом свете.

— Мировая революция? — догадался Рэм и огорчился чуть ли не до слез: значит — не домой, не институт, аспирантура и диссертация, которая ему и во сне снится, значит, опять фронт, огонь и на каждом шагу жди своей пули! Но и при знакомых с детства, с пионерских линеек и комсомольских горластых собраний, отдающихся в сердце серебряным зовущим горном слов «мировая революция» услышал в себе властный порыв идти, и сражаться, и побеждать, и нести свободу и счастье страждущему, заждавшемуся человечеству.

— А это уж как ни называй,— охладил его пыл Анциферов.— Не в словах радость.

— Но ведь победили же уже! — взмолился против воли Рэм, и голова у него пошла и вовсе кругом.— Победили же!

— А ты говоришь — черта нет...— И опять Иванов не мог понять, сказал ли это Анциферов с насмешкой или с усталой горечью.— А поскольку есть, никуда не денешься, все мало ему, все нейметя. Победа, лейтенант, это когда последнего вражину в землю закопал да еще камнем завалил. А пока хоть один остался — какая же это победа? Вот именно что ни богу свечка, ни черту кочерга. И поскольку по той же, заметь, диалектике получается, что враги размножаются сами от себя, как тараканы от грязи, стало быть, и войне — ни конца ни края. А что «мир», в смысле — без войны, и «мир» — шар, можно сказать, земной по-русски одним словом называются,— это уж особая, нашенская диалектика.— И добавил, словно подводя итог: — Самое-то опасное, лейтенант, для победителя знаешь что?.. Унас-

ледовать пороки побежденного, вот так-то. Где-то вычитал, уж не помню где, хотя умных книг не так-то уж много.— И, не попросившись на ночь, не оглянувшись на Рэма, стянул с себя галифе и лег лицом к стене на огромный кожаный немецкий диван и тут же уснул. Или прикинулся, не мог понять Рэм.

Но было в Анциферове и что-то неудержимо привлекавшее Рэма, властная и уверенная в себе сила, прямо-таки магнит какой-то, против которого он был бессилён.

А то однажды спросил в упор:

— Фамилия у тебя подходящая — Иванов, лучше не придумашь: Иванов, Петров, Сидоров... Аноним какой-то. А вот имя — Рэм, откуда?

— Революция, Энгельс, Маркс,— объяснил Рэм.— Вообще-то — Роман...— смутился он,— но когда паспорт получал...

— Рэм — оно, конечно, идейнее,— согласился Анциферов. И не думая скрывать издевку: — Тут уж ты весь как на ладошке, не придерешься.

Анциферов обрывал ночные разговоры на полуслове, тут же и засыпал, крепко храпя, на диване в уставленной тяжелой, громоздкой, сработанной на века мебелью зале с пустым и черным зевом камина под самый потолок. А проснувшись ни свет ни заря, окатывался из бочки в саду холодной дождевой водою, брился опасной бритвой до синевы и был готов снова работать до самой ночи и потом пить до утра, поступаясь лишь тремя-четырьмя часами на сон, и был всегда свеж и подтянут, насколько может быть подтянут штатский, как предполагал Рэм, человек, надевший непривычную для себя военную форму. Хотя, приходило в голову Рэму, может, был Анциферов и не совсем штатский.

Но случалось и так, что среди ночи Иванову нужно было выйти по нужде во двор — канализацию тоже еще не наладили,— и, проходя через большую комнату с камином, где спал Анциферов, он заставал его с открытыми глазами, устремленными в потолок.

— Не спится, товарищ полковник? — из вежливости спрашивал на ходу Рэм.

— Уснешь тут...— неохотно отзывался, не глядя на него, Анциферов.— Я уж не помню, когда по-человечески спал с тех самых пор, как...— Но не договаривал, отворачивался к стене.

Однажды он и вовсе ошаршил Иванова:

— Стихи-то на память знаешь?

«Мефистофель,— мелькнуло в голове у Рэма,— еще куда ни шло, кто о чертовщине не любит поговорить на ночь глядя, но стихи-то Анциферову за чем?...»

— Небось, и сам грешишь? — напомнил тот о себе.

— Нет... в школе разве что. Но кто же в детстве не грешил стихами?!

— Я,— резко и даже, как показалось Иванову, с вызовом оборвал его Анциферов.— Никогда. Ни разу не оскоромился.— И попросил, как скомандовал: — Читай.

— Сейчас? — удивился Рэм.

— А то когда же! Другого раза у нас с тобой не будет. И вообще, лейтенант, живи так, будто никакого другого раза у тебя нет. Читай.

— Из Маяковского? — предложил Рэм, полагая, что Маяковский придется Анциферову в самый раз.

— Давай без агитации-пропаганды,— неожиданно возразил тот.— И без тебя хватает. И Пушкина не надо, я его и так знаю. Кто твой любимый?

И опять вопрос был как приказ.

— Мой?...— И помимо воли признался: — Пастернак.

— Это еще кто такой? Не слышал. Из нынешних?

Рэм поколебался, что будет Анциферову понятней, и, вспомнив о его страсти к Мефистофелю, прочитал:

Не рыдал, не сплетал
 Оголенных, истерзанных, в шрамах.
 Уцелела плита
 За оградой грузинского храма.

И пояснил, прервавшись:

— Это — о Демоне.

— Демон? — удивился Анциферов, и взгляд его, отяжелевший под утро, налился подозрительностью. — Ты что думаешь, лейтенант, меня одна нечистая сила колышет? Одни черти на уме?.. Ладно, читай.

Рэм читал ему стихотворение за стихотворением, увлекшись сам и удивляясь на себя, что за четыре года войны не позабыл их, что врезались так прочно в память, лишь изредка спотыкаясь на ускользящих строчках и перескакивая через них. Анциферов с той же подозрительностью и недоверием слушал его, не прерывая, но и памятуя о том, чтобы время от времени наполнять фужер на высокой хрупкой ножке.

Когда Рэм останавливался, чтобы перевести дух, торопил его:

— Ну?!

А под конец сказал как бы не ему, а самому себе:

— Ничегошеньки не понял, один туман... Слова, слова... Но то ли ты так складно читаешь, то ли... А завораживает. Пастернак, говоришь?

Улетая в Москву и прощаясь с Рэмом на военном аэродроме, не протянул ему руки — правая ладонь была у него искалечена, не сгибалась, будто деревянная, и под ногтями чернели вечные кровоподтеки, — сказал мимоходом, без значения:

— На диссертацию, говоришь, нацелился? Ну-ну... — И в который раз Иванов не мог понять, одобряет ли его Анциферов либо, напротив, осуждает. — Этак всю жизнь на учебу угрожаешь. А жить-то когда?.. Что ж, бывай. Давай о себе знать, под лежащий камень вода не течет.

— Так ведь адреса не оставили...

— А ты не письмом напомни, письмам одни дураки верят. — Отошел было уже к трапу самолета, обернулся: — А вот телефон, пожалуй, запомни. Стихи — от зубов отскакивают, авось и шесть цифирек удержишь. — И назвал ему шестизначный номер. — Но — на самый крайний случай, понял? Надо будет, сам отыщу, моя забота. — И прибавил, как пригрозил: — Куда ты денешься!

3

Выбравшись из тесноты и перенаселенности кладбища — именно что «население», подумалось мельком Рэму Викторовичу, тут-то как раз и селятся прочно и надолго, — он обогнул веселую, радостно-пеструю церковку и узкой заасфальтированной улицей, мимо деревянных покосившихся изгородей, через которые уже свешивались торопливо вскипающие гроздья цветущей черемухи, а потом краем редкой березовой рощицы вышел к дому ветеранов.

Был послеобеденный «мертвый час», и на посыпанных кирпичной крошкой аллеях было пусто, разве что три или четыре одинокие фигуры с распахнутыми полотнищами «Правды», закрывавшими их лица, разрозненно сидели на скамейках, да возилась у цветочной клумбы перед входом в главный корпус садовница в выцветшем синем халате.

Вахтера на месте не оказалось, Рэм Викторович беспрепятственно прошел в темноватый прохладный вестибюль, лестницей из ложного мрамора поднялся на второй этаж и в самом конце коридора нашел дверь со знакомым номером. Постучавшись, он услышал из-за двери: «Входи!» — и вошел внутрь.

Анциферов сидел лицом к окну в скрипучей качалке с плетеными из соломки сиденьем и спинкой и, не оборачиваясь к вошедшему, продолжал смотреть наружу. На столике рядом с качалкой лежала стопка газет, явно не читанных, даже не развернутых.

— Садись, — не здороваясь и не обернувшись к Рэму Викторовичу, наперед зная, что никто другой и не мог его навестить, сказал Анциферов. — Вспомнил-таки. — Но сказал это без теплоты или благодарности, будто о чем-то даже приевшемся.

Рэм Викторович не без труда подвинул поближе к окну тяжелое, невподъем, кресло, ладонью нащупав на оборотной стороне спинки металлическую бляху — на которой, знал он, было выбито: «Управление делами ЦК ВКП(б)», — и сел напротив Анциферова. Тот наконец полуобернулся к нему, и Иванов, как это бывало в каждое его посещение, удивился, как мало меняется Анциферов год от года: те же цепкие, неотступные, непроницаемые глаза — никогда нельзя знать, что там за ними, какие мысли, — разве что лицо стало еще уже, и глубже длинные продольные, от скул к подбородку, складки. Лишь одно изменение отметил про себя Рэм Викторович: нечисто выбрит, наверняка он теперь бреется электрической бритвой, а прежде брился опасной, не оставляя на коже ни волоска.

Анциферов ушел на пенсию по собственному почину и вовсе не потому, что в ЦК в очередной раз стали поспешно обновлять и перетряхивать аппарат, — такие опытные, прошедшие огонь и воду, как он, кадры нужны и полезны при любом повороте руля, — а из-за давней, не поддающейся лечению болезни: он уже много лет страдал жесточайшей бессонницей, неделями не мог забыться сном, никакие лекарства и процедуры не помогали, он долго держался, не сдавался и со стороны казался таким же собранным, подтянутым, четким и работоспособным, как и прежде. А потом как-то сразу сник, махнул на себя и на все рукой.

Он давно, еще с довоенных лет, был разведен, о первой жене не позволял себе вспоминать, жил один в цеховском доме в Сивцевом Вражке и, оформляя уход на пенсию, сам напросился в дом ветеранов, чем вызвал крайнее неодобрение сослуживцев, тоже ожидавших неизбежную, рано или поздно, отправку на покой, поскольку его ни на что не похожий, ничем не объяснимый поступок — отказать не только от казенной дачи, на которую он, при его должности, мог бы и претендовать, но и от московской квартиры, — создавал для них опасный прецедент.

А ведь ушел с должности высокой, ключевой в ключевом же отделе ЦК, где проработал без малого тридцать лет. Никто толком не знал, чем именно он занимался последние годы и как далеко простиралась подведомственная ему епархия, но, судя по тому, что некоторые члены политбюро здоровались с ним за руку, а иные даже говорили ему «вы», предполагалось, что так далеко, что и конца-края не видать.

Анциферов вновь повернулся к окну и долго молчал. Рэм Викторович уже привык, навещая его раз в год в Переделкине, что тот ни о чем его не спрашивает, никакими новостями «с воли», как он сам это называл, не интересуется и долго отмалчивается, прежде чем разговориться. И Рэм Викторович не торопил его, тоже молчал.

Зато после тягостного для собеседника молчания задавал вопросы таким тоном, словно продолжал разговор, который и не прерывался на целый год. Вот и сейчас:

— Ну и с чем пришел? — спросил он, продолжая глядеть не на Иванова, а за окно, на начинающий несмело зеленеть лесок вдали и за ним церковку в красных и голубых, словно игрушечных, маковках и мечущих солнечные зайчики позолоченных крестах. Но это его «с чем?» звучало скорее как «зачем?», а то и

«за чем?». А за чем к нему теперь можно обращаться, пожал плечами Иванов, что он теперь может?..

— Девятое мая, наш с вами день.

— Ну и как, на твой вкус,— так и сказал: «на твой вкус», а не «на твой взгляд», и в этом опять же была всегда опасная подвохом его усмешка,— кончилась она?

Рэм Викторович понял, что Анциферов продолжает начатый в брошенном хозяевами особняке в Карлхорсте разговор и задает тот же, оставшийся без ответа, вопрос.

— То-то и оно,— самому себе ответил Анциферов.— А ты, видать, все в младших лейтенантах ходишь, все философствуешь...

— Правда,— отшутился Рэм Викторович,— философы теперь не изменить мир, а всего лишь, с грехом пополам, объяснить его пытаются.

— А он плевать хотел на ваши объяснения! — оборвал его Анциферов.— Сам по себе меняется, вашего мнения не спрашивает.— И с какой-то давней, глубоко засевшей в душе и постоянно бередящей ее мстительной обидой добавил: — Маркс с Энгельсом, такие же белоручки вроде тебя, тоже только и делали, что пророчили из тенечка: чему быть, того не миновать, вот и вся недолга. А как черную работу делать, руки по локоть в дерьме — так никто, кроме нас...— И как бы ставя Иванова на место: — Да и ты хорош, думаешь, все в дерьме, один ты в белом? И философия ваша, заметь, не поп, чтоб грехи списывать, придет час — вынь да положь, и еще неизвестно, попадешь ли в те самые семь пар чистых, видите ли...

Рэм Викторович поймал себя на мысли, что Анциферов — даже сейчас, когда давно уже не при должности, не при власти, собственно, нахлебник в доме ветеранов,— все еще, как полжизни назад, тогда, в Берлине, и все эти сорок с лишним лет после войны, по убеждению или просто по застарелой привычке, говорит от имени некоей силы, некоей тайной воли, перед которой он, Рэм Викторович, доктор наук и вскоре, очень может быть, член-корреспондент, ощущает себя бессильным и беззащитным.

И уж, во всяком случае, ему и сейчас было не уйти из-под неприятного, необъяснимого обаяния Анциферова. Вернее, уточнил для себя Иванов, из-под магнетического притяжения той тайной силы и власти, которые всегда стояли за Анциферовым.

— Ну и как там твой Пастернак? — Этот как всегда не без подвоха вопрос он задавал Иванову при каждой встрече и сам же отвечал себе одной и той же фразой: — Я ведь по твоей милости его от корки до корки прочитал, только глаза надорвал. Слова в простоте не скажет, хоть с лупой его читай.— И внезапно спросил в упор, почти весело: — Ты, небось, и ко мне-то едешь, чтобы по пути на его могилу взглянуть, так ведь? Не отпирайся, я тебя очень даже могу понять.— И без веселости уже, а с чем-то похожим на печаль: — Как никто другой.— И, опять уставившись в окно, признался погодя: — Я ведь и сам, если погода тихая и ноги не отказывают...— Но умолк, не договоривши.

Пораженный его догадкой, которую Анциферов за все эти годы ни разу не высказывал вслух, и, главное, тоном, которым он это сказал и который прежде в нем и заподозрить было нельзя, Рэм Викторович попытался перевести разговор на другое, но Анциферов не дал:

— И вниз спускался, в коммуналку эту нашу.— Рэм Викторович разом понял, что под «коммуналкой» он имеет в виду участок с могилами таких же, как он, ветеранов партии.— Идешь мимо, и не имена и фамилии на камнях этих глаз замечает, а одну только дату — когда кто в партию вступил. Будто и на том свете они собрались похвалиться друг перед дружкой учетной карточкой — кто раньше, будто и там за это полагается паек в спецраспределителе на улице Гра-

новского. Стоят торчком навтыжку, прямо как ладошки при единодушном голосовании: ни одного «против», ни одного «воздержавшегося»...

Рэм Викторович был настолько сбит с толку услышанным, что машинально произнес вслух то, что хотел сказать минуту назад, чтоб свернуть слишком далеко зашедший разговор:

— О здоровье справляться — не любите...

— Чего и вам желаю! — отрезал Анциферов.

— О политике...

— Какая там политика!.. Одуревшие мартовские коты мяукают на крыше, дохлую крысу никак не поделят, только и знают, что пугать друг дружку. Сало все до крошки сожрали, сметану вылакали, в пустую миску мордами уткнулись... — И с едкой болью выдохнул, как прохрипел: — А дальше что?! — Долго молчал, глядя в окно, потом сказал не Иванову, а самому себе: — А дальше, лейтенант, все то же... Потому что внушили кнутом и пряником, правда, больше кнутом, будто человеку — независимо, грамотный он, неграмотный, ученый — не ученый, умный — дурак, грешник — праведник, — что ему от природы, от рождения это самое светлое будущее полагается: все равны, у всех поровну, у кого больше — отними, надо всеми один порядок. Хоть куражься над ним, хоть плюй в глаза, а выдай ему его законную пайку. Не нами придумано. Может, самим богом. Или — обыкновенным мужицким чертом.

— Князь тьмы... — вдруг вспомнилось вслух Рэму Викторовичу.

— Он самый, — обыденным, скучным голосом подтвердил Анциферов. — И без перехода, как пулей в висок: — Как там, к слову, у твоего Пастернака насчет Ленина?

— Ленина?.. — не понял его Рэм Викторович.

— Ну — приходит, уходит?

— А-а... — догадался Иванов. — «Предвещьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход»...

— Вот-вот! — обрадовался подсказке Анциферов. — Льгот, гнет... складно. — И еще обыденнее закончил: — Да только никуда от нас не деться, никуда мы не ушли... Будешь на кладбище, так ему и передай: ушли, да не навек распрощались, еще свидимся. А от бога ли предстатели, от черта — практически без разницы.

Рэму Викторовичу даже закралось в мысли подозрение: не заговаривается ли Анциферов, не следствие ли это его непосильной бессонницы, в здравом ли уме и твердой памяти Анциферов, отдает ли себе отчет, что говорит?.. Но если это и так, в словах его Рэму Викторовичу послышалась некая вполне возможная, а то и неотвратимая опасность.

Всю обратную дорогу в электричке Рэма Викторовича не покидало чувство неясной тревоги, от которой — ни противоядия, ни защиты.

Хотя, казалось бы, к этой вечной, всю жизнь сопровождавшей его опаске, давно и не для него одной ставшей второй натурой, к ожиданию затаившейся за каждым углом угрозы пора бы и привыкнуть.

Когда Иванов вернулся из армии осенью сорок пятого, ИФЛИ давно был закрыт и слит с Московским университетом, Рэма восстановили на втором курсе, но уже не философского, а, по собственному его выбору, филологического факультета, а по окончании курса он был зачислен в аспирантуру, и тема диссертации была уже, само собою, не по версиям легенды о докторе Фаусте — не до сомнительного алхимика было в те послевоенные годы, — а, из давней любви и юношеского поклонения, конечно же, о раннем Пастернаке. И хотя научный руководитель диссертации в некотором недоумении пожал плечами, тема все же была — условно, только условно! — утверждена.

Но, как водится, ката в мешке было не утаить, слухи, как вода из нелуженой посуды, поползли по кафедре, а потом и по всему факультету, а там и до парткома дошли своим ходом, и стало не миновать быть вынесено вопросу за ушко да на солнышко.

В таком-то подвешенном состоянии оказался Иванов в ноябре пятьдесят второго года. К тому времени он уже был женат на Ирине, дочери профессора-кардиолога Василия Дмитриевича Корелова, работавшего, кроме своей клиники на Пироговке, еще и в Четвертом — кремлевском — лечебном управлении. Вскоре у молодых родился и первенец — дочь, Саша.

Василий Дмитриевич был вдов, жена его умерла молодой, тридцати четырех лет, он сам воспитал дочь, жили они вдвоем в старом доме в Хохловском переулке на Покровке, в чудом не экспроприированной в двадцатые годы барской квартире, где прожили до самой смерти и отец, и дед Василия Дмитриевича, тоже кардиологи, известные московские врачи.

Со стороны, отдавал себе отчет Рэм, этот брак мог смахивать на брак по расчету: московская прописка, положение Василия Дмитриевича, его близость к людям влиятельным, государственным, которая могла бы облегчить путь в аспирантуру, в докторантуру и — кто знает? — и дальше, выше. Это обстоятельство долго смущало Рэма, и не оттого только, что кто-то мог заподозрить его в корысти, а по той причине, что самый мир, круг, к которому принадлежали и в котором жили Василий Дмитриевич и Ирина, казался ему, неисправимому провинциалу, таким далеким и прекрасным, но вместе и совершенно недоступным, что смел ли он притязать на то, чтобы войти в него на равных?

Родители Рэма — учителя средней школы в такой степной глуши, что до нее три года скачи, не доскачешь, с детства привили ему благоговейное преклонение перед интеллигентностью и интеллигенцией — русской интеллигенцией, подчеркивали они, равной которой во всем мире не сыщешь, — и бескорыстно, из одних высших, идеальных соображений гордились тем, что и сами, пусть и с краешку, на далекой периферии, в полной безвестности, тоже принадлежат к ней.

Отец — учитель рисования, мать — словесница, восторженные любители поэзии — Пушкин, Некрасов, Тютчев, Есенин, Лермонтов, — они и будущее единственного сына мыслили себе только в гуманитарной области и готовили его сызмала к этому поприщу, и Рэм с юности жил ощущением своей по праву принадлежности к лучшей, как верили отец с матерью, части народа. Это было для него еще и подтверждением своего особого, счастливого предназначения и даже высшего долга, прекраснее которых и мечтать не о чем.

Но когда, окончив школу, он ринулся в Москву, поступил в вожделенный Институт философии, литературы и истории, который сами ифлийцы называли меж собою не иначе как «вторым царскосельским лицеем», и, очутившись в среде сокурсников-москвичей, как правило, из не в первом колене образованных семей, он почувствовал, как уступает им в широте знаний, как безнадежно провинциальны его вкусы и пристрастия.

Рэм поначалу жил среди новых своих однокашников с этим гнетом на душе — провинциал, недоучка, с чувством своей ущербности. И только на фронте, куда он пошел добровольцем в первый же день войны — добровольцами пошли почти все ифлийцы, уверенные, что война затянется от силы недели на две, в худшем случае на несколько месяцев, к осени наверняка все закончится, и уж никаких сомнений, что бить фашистов будем на их же территории, в их же логове, — на фронте Рэму было не до комплексов, какая уж там неполноценность: перед шальной пулей все равны.

После войны, в университете, все стало наоборот, фронтовики ощущали законное, неоспоримое превосходство над «малышками», «салагами», пришедшими прямо со школьной скамьи. А вот перед Ириной Кореловой, хотя она и

была совершеннейшей «салагой», он продолжал испытывать давешний свой комплекс провинциала и долго не то чтобы объясниться, но и познакомиться с нею не смел.

Красивой ее назвать, пожалуй, нельзя было, но она всегда была такой свежей, чистенькой, аккуратной, всегда в подчеркнута простеньких, дешевых платьях — хотя в самой подчеркнутости этой простоты без труда можно было угадать смиряемое идейным принципом или, может статься, инстинктом самосохранения, но упрямо живучее, ни спрятать его, ни побороть, произвольное высокомерие профессорской дочки, не ведавшей, что такое жизнь от стипендии до стипендии, не жившей в общезнании и никогда не снимавшей «угол» где-нибудь в Марьиной Роще в скособочившемся домишке без горячей воды, с уборной во дворе.

Как Рэм своей провинциальности, Ира стеснялась и мучилась тем, что — профессорская дочка, это-то и понуждало ее носить простенькие ситцевые платья, и то же смутное чувство без вины виноватости толкало ее быть активной общественницей, не чураться никакого поручения комитета комсомола или профкома. Так она как бы смиренно каялась в своей классовой чужеродности, но смирение ее отдавало чем-то вроде «паче гордыни». Она принадлежала к новой породе молодежи из интеллигентов: слепо преданной одной на всех непрекаемой идее, а стало быть, и власти, эту идею олицетворяющей, преданной с избыточной восторженностью, и именно потому, что эти молодые интеллигенты подсознательно знали и помнили, что они генетически, по определению, этой власти чужды и подозрительны.

Когда Рэм впервые переступил порог профессорского дома в Хохловском переулке, ему показалось, что он попал как по волшебству в совершенно иной, неведомый, прекрасный мир: таких просторных, уютных, носящих на всем, на каждом предмете, печать многих поколений живших в них благополучных, уверенных в себе и в своей неуязвимости, спокойных и утонченных людей, — таких квартир он никогда прежде не видал.

— Не стесняйся, осмотришься, будь как дома, — сказала ему Ирина, и он ходил из комнаты в комнату — а их было целых четыре, это на двоих-то жильцов! — и чувство своей неуместности здесь, даже незаконности своего пребывания в этом не ему принадлежащем мире поначалу ошеломило его. Книг в кабинете Василия Дмитриевича и в тесной, без окон, комнатке рядом — Ирина так ее и назвала: «библиотечная» — было, пожалуй, побольше, чем в общественной читальне родного его городка. Но дело было даже не в количестве их, занимавших все стены от пола до потолка, так что до верхних полок можно было дотянуться, только взобравшись на деревянную стремянку, а в том, что по большей части это были книги старые, с золотым обрезом, в переплетах с золотым же тиснением, а некоторые — и в старой, потертой коже. И пьянил, перехватывал дыхание застоявшийся легкий сладковатый запах старой, хрупкой, пожелтевшей бумаги, переплетного клея, кожи и еще чего-то неведомого, который шел от них и от чего чуть кружилась голова.

Огромный, потемневшего орехового дерева рабочий стол Василия Дмитриевича, обитый зеленым сукном, настольная лампа, очерчивающая на нем золотой круг света, отсекающей работающего за столом от суеты и ничтожества всего, что лежит вне этого круга, снаружи, в мире, до которого погруженному в счастливую работу мысли человеку и дела нет, недосыгаем он в своем золотом круге для всего низменного, для пошлости и тлетворности того, что лежит за кругом, за стенами дома: «мой дом — моя крепость» — именно таким представлялся Рэму в провинциальной мечтательности уклад жизни истинно интеллигентных людей. Кабинет и вся квартира Кореловых будто воплотили вживе сны и мечтания мальчика из глухого степного городка, начитавшегося Гончарова, Тургенева, Чехова, — или же он сам, Рэм, чудом каким-то перенесся из тусклой и привычной повседневности на ожившие их страницы.

Тяжелое покойное кресло с брошенным на него пледом в шотландскую клетку, скамеечка для ног, стоящая у кресла, кремовый торшер на гнутой ноге над ним, на стенах множество фотографий в старинных деревянных рамках — спокойные лица, крахмальные воротнички сорочек с отогнутыми углами, поблескивающие стекла пенсне, глаза, глядящие сквозь них без тревоги и недоверчивости, бороды, бородки, усы — разные лица, совершенно несхожие, может быть, эти люди никогда-то и не встречались меж собой, но Рэму казалось, что все они родные друг другу, одной породы, одного племени, ничего общего не имеющие с толпой за стенами этого дома, стоящей в очередях или стиснутой в потной давке переполненного трамвая, с лицами плоскими, как блин, источающими постоянную недоброту, неуверенность в себе и смертельную усталость.

А когда Ирина позвала его в столовую пить чай — пожелтевший от времени, тонкий, просвечивающий на свет фарфор чайных чашек, крепкий чай цвета красного дерева в них, истончившиеся по краю за долгие десятилетия серебряные ложечки, свисающая с абажура над столом похожая на желудь электрическая сонетка, чтобы звать прислугу с кухни... Тяжелые, с выгнутыми лирой спинками стулья вокруг стола, палевые плюшевые гардины, запахнувшие окна и, будто крепостные стены, ограждающие живущих в доме людей — и тех, в пенсне, с крахмальным пластроном рубашек и завязанными широким бантом шелковыми галстуками, и нынешних — Василия Дмитриевича, покойную его жену, Ирину...

Рэму чудилось, что и у Ирины такое же лицо, спокойное, безбоязненное, уютное, как у тех, на фотографиях с давно вышедшими из употребления «фитами» и «ятями» в размашистых автографах.

И ему до ревнивых слез захотелось в этот мир — жить за этими зашторенными окнами, работать за этим письменным столом с малахитовым чернильным прибором, сидеть вечерами в кресле под кремовым торшером, накиннув на колени шотландский плед, с пахнувшей прошлым веком книгой в руках, или играть в шахматы на низеньком, стоящем перед креслом шахматном столике с выложенными черным и белым мрамором клетками и большими, тяжелыми фигурами, — так явственно и живо он все это себе представил, так ему всего этого — этой жизни, этих лиц вокруг, слов, в которых, даже произнесенных вслух, слышатся «фиты» и «яти», — захотелось, что у него задрожала рука с чашкой, и он пролил чай на камчатную скатерть с кистями.

Именно этого ему не хватало, именно этого он жаждал, а вовсе не покровительства Василия Дмитриевича, не прописки, не сытости и довольства, а — тишины этой, душевного покоя и равновесия, уверенности в себе, которые исходили от каждой вещи в этом доме, в этом недоступном ему мире. И главным образом — от Ирины, неотъемлемой и законной его части.

Когда он уходил и прощался с нею в полутемной передней, Ирина сама встала на цыпочки, потянулась к нему и поцеловала неловко в губы, удивляясь себе и ужасаясь своей безнравственности, — это было решительно против ее строжайших моральных правил, которые, правда, доселе у нее еще не было случая подвергнуть испытанию, и сделала она это не только из принципа, очень схожего с «хождением в народ» ее прадедов-народников в прошлом веке, но потому, что, к ее удивлению, ей вдруг показалось, что она на самом деле любит Рэма, и, не дождавшись от него решительного объяснения и поступка, вдруг решила, что сама должна сделать первый шаг.

Однако тут же поспешно подтолкнула его в спину, словно испугавшись того, что произошло, и захлопнула за ним дверь, а он, сбегая опрометью по пологой, широкой дугою, лестнице, никак не мог взять в толк и поверить, что для него внезапно и совершенно незаслуженно распахнулся вход — «Сезам, отвори!» — в этот дом, в эту семью, в этот еще минуту назад казавшийся запретным, запредельным мир.

Анциферов всегда знал за собою, принимал как должное и ценил в себе, что человек он жесткий, твердый — ни согнуть, ни переломить. Человек долга в том высшем смысле, когда долг равен убеждению. И что ни на йоту нет в нем сентиментальности, снисходительности, слезливой жалости — ни к кому, ни к чему. Он вообще не числил за собою каких-либо слабостей или сомнений, ошибки — да, промахов хоть отбавляй, но раздвоенности, неуверенности в своей правде и в своем праве на нее — никогда.

Он никогда и никому ничего не прощал, не хотел и не мог позволить себе простить, но это в нем уравновешивалось тем, что он умел забывать. Он сам определял — раз и навсегда, — что можно и чего нельзя забыть.

А поскольку — так уж сложились его жизнь и работа — забыть следовало слишком многое, то в итоге нечего и некого было помнить. А значит, никто ему и не стал нужен.

Однако и этого Анциферов никак не мог понять, без малого полвека назад, в Берлине, он обнаружил в себе совершенно неожиданную, ничем не объяснимую симпатию, почти даже нежность к молоденькому лейтенантику, который был приставлен к нему переводчиком. И сам на себя удивился, когда, прощаясь с ним перед отлетом в Москву, назвал ему номер своего служебного телефона, что было несомненным нарушением установленного строгого порядка. А когда судьба, опять же совершенно случайно, столкнула его вновь с Ивановым, он этому неожиданно обрадовался, хотя эта встреча и поставила его в непростое, двусмысленное положение.

Не признаваясь в этом самому себе, Анциферов догадывался, что эта неожиданно обнаруженная брешь в неприступной, как ему верилось, стене, которую он с годами возвел между собою и всем прочим миром, странным на первый взгляд, но почти несомненным образом связана с тем, что он всеми силами старался забыть, но так и не забыл, не смог, да и, если уж начистоту, не хотел забыть: низкое, пошлое предательство, жалкую измену своей — первой и единственной — жены, которая в тридцать девятом, когда его посадили, тут же, двух месяцев не прошло, отрекалась от него и вышла замуж за его же заместителя, которого словно для того, чтобы еще более унижить его, Анциферова, назначили на его должность и он тут же переселился в его кабинет в Управлении разведки. Да еще и забрала с собою единственного их сына, тому и двух месяцев еще не было, которого он после освобождения в сорок первом так никогда и не увидел — не желал видеть, слишком глубоки и на всю жизнь оказались эта обида и, главное, унижение. Обиду он еще мог бы, пожалуй, забыть, но не унижение, его-то он носил в себе всю жизнь, этого ежа под черепом и в сердце...

Сын, которого он не знал и о котором запретил себе помнить и думать, и этот молоденький, безусый лейтенант каким-то незримым, но — не развязать, не перерубить — узелком как бы сплелись для него в одно, и это не столько удивляло, сколько раздражало: с чего бы?! Но признался он себе в этом не сразу.

Судить его не успели — началась война, да его и не обязательно было посадить или расстрелять, от него всего лишь и требовались что показания — да чего там: донос, навет, подлая ложь — на лучшего друга, кавалерийского генерала, с которым он побратался еще совсем юнцом в отряде продрозверстки и сохранил дружбу на всю, оказавшуюся такой короткой и уязвимой, жизнь. Анциферов отказался давать выпытываемые — в прямом смысле слова — у него показания. С тех самых времен и не сгибается, словно деревянная, правая ладонь и никаким дегтярным мылом не отмыть черные кровоподтеки под ногтями. Но друга его и так, безо всякого суда, расстреляли. А о самом Анциферове тут же будто напрочь забыли, и он просидел еще два года в подвале Лубянской внутрен-

ней тюрьмы — аккуратно, к слову сказать, несколькими этажами ниже своего же прежнего кабинета, — не допрашивали, не вызывали ночами к следователю: вроде его и нет, умер уже. А может, в суматохе тех лет либо и вправду решили, что его уже расстреляли, либо просто затеряли папку с его делом, а нет дела — и человека, стало быть, нет. И такое бывало.

Но как только началась война, кто-то на верхних этажах Лубянки о нем вспомнил — он считался одним из лучших, прошедших школу и проверенных в деле в Китае и Испании, специалистов по диверсионной работе в тылу врага, а уже через месяц после начала войны тылом врага стала чуть ли не половина всей европейской части страны, и получалось, что без Анциферова не обойтись, цены ему нет, Анциферову.

И когда он в Берлине встретил Иванова, загнанные в самые дальние, слепые подвалы души мысли о, собственно, незнакомом ему сыне, усилием воли вычеркнутые им из памяти, неожиданно ожили, обретя как бы двойника.

А жена с ее новым мужем, вскоре получившим назначение за границу, да там — а впрочем, не обязательно там — сгинули без следа, просто-напросто испарилась из его прошлого, а что стало с сыном, он не знал и никаких усилий что-либо узнать о нем не прилагал — даже сейчас, когда он стал нахлебником в доме ветеранов и совершенно, бессрочно одинок, если не считать Иванова, объявляющегося всего один раз в году.

Хотя было в молоденьком лейтенанте на чутье Анциферова и что-то смущающее его,стораживающее, не до конца понятное и потому почти подозрительное — взять хотя бы этого его доктора Фауста, к реальной, настоящей жизни не имеющего ни малейшего, с какой стороны ни смотри, отношения. Или эти стихи — как его, Пастернака какого-то, что ли? — и вообще недопонимание текущего момента хотя бы в отношении той же, скажем, войны, наивные, прямо-таки пионерские восторги насчет «мировой революции» — ни к чему вроде бы и не придерешься, а вместе с тем Анциферов помимо воли чуял в нем *не своего*, не совсем *своего* человека. А Анциферов твердо усвоил и знал, что мир жестко и несоединимо делится на *своих* и *не своих*. Не обязательно на врагов и друзей, но *не свой*, при определенных обстоятельствах, вполне мог стать и врагом. Нет, лейтенанта Анциферов никак не решился бы отнести бесповоротно к категории *своих*, и тем менее мог объяснить себе симпатию, почти отцовское чувство, которые испытал к нему тогда, в Берлине, с первого же, можно сказать, взгляда. И это безответное недоумение тоже раздражало его.

Но не только это вспоминал каждый раз после ухода Иванова, не только об этом думал Анциферов, уставившись в окно на начинающий молодо и весело зеленеть лесок вдали, думал он и о том — и это было заботой и болью куда более изнурительной, особенно в бессонницу, — зачем и на что ушла вся его жизнь.

6

Вернувшись от Анциферова в Москву, Рэм Викторович неожиданно для самого себя решил ехать не прямиком к себе на дачу, где после развода жил теперь постоянно, наезжая в город лишь по неотложным делам, а выйти из метро на Пушкинской площади, где он не был уже бог весть сколько, — как-никак день праздничный, непривычно теплый и солнечный для начала московского мая, да и в своем дачном заточении он порядком истосковался по уличной пестрой толчее...

Он вышел подземным переходом, немало проплутав в нем, прежде чем выбраться наружу, и оглядевшись, поймал себя на том, что невесть с чего ожидал увидеть площадь такую, какая она была в далекой его юности.

Но Москву было не узнать, — кольнуло в сердце ревностью, — ничего похожего на прежнее. С того места, где он теперь стоял, он должен бы видеть на чи-

стом, без облачка, белесо-голубом небе Пушкина в начале Тверского бульвара, а на башенке дома по правую от Пушкина руку девицу в недвижно развевающихся каменных одеждах, но девушки давно уже нет, как нет на привычном своем месте и бронзового, с голубями, обсевшими его кудлатую голову, Пушкина. А слева от памятника, где теперь разбит сквер со скудно бьющими струями фонтана, стоял в прежние времена приземистый, в два или три этажа дом, в котором со стороны бульвара были шашлычная и вход в крохотный кинотеатр «Новости дня», а с площади — аптека и известный всей Москве пивной бар № 4 — тогда и Елисеевский гастроном назывался «гастроном № 1», хотя все его продолжали величать по старой памяти Елисеевским, так же как «аптеку № 1» — аптекой Ферейна.

С этим баром у Рэма Викторовича было немало связано — в день получения стипендии тут набивалась полная коробочка студентов старого университета на Моховой, литературного института, театрального, историко-архивного, отчего и прозван был бар «аудиторией № 4». Те, кто, как Рэм Иванов, пришел на студенческую скамью прямо с войны, долго еще донашивали старые шинели и выцветшие гимнастерки с красными и желтыми лычками за ранения, желтая — за легкое, красная — за тяжелое, и пили, в отличие от «салаг», не пиво, а «ерша». Тут-то Рэм и познакомился с Нечаевым, и дружил с ним до самого его отъезда к черту на рога в семьдесят четвертом... А через Нечаева — мало ли с кем еще, не счесть... Иных уж нет, а кто еще смолodu спился, сгинул, ни слуху, ни духу...

— Кончилась эпоха... — сказал себе Рэм Викторович, — перебираю, как расстрига четки, воспоминания, а их давно корова языком слизала. — И усмехнулся на свою бессильную ностальгию. — Кончилась, ищи, свищи ее...

Уж не вспомнить, почему он тогда не пошел в университет, а забрел с утра пораньше в бар № 4, спросил кружку пива и ждал у стойки, как того и требовал от него висевший над ней плакатик: «Требуйте долива пива после отстоя пены». К стойке подошел вслед за ним малого роста, коренастый и широкогрудый человек с карими глазами навывкат, обычным и постоянным, как вскоре убедился Рэм, выражением которых была готовность «дать сдачи» и «врезать», не дожидаясь, пока это сделает обидчик, чаще всего воображаемый. Прямо из крутой, горбом, груди, словно не нуждаясь в подпорке шеи, выростала крупная, не по росту, голова, над постоянно влажной верхней губой топорщились жесткие усы. Он был похож на ежа с загодя, в постоянном ожидании нападения, стоящими колом иголками.

Рэм взял свою кружку и пошел к круглому мраморному столику в дальнем углу пивной. И хотя бар был пуст и все столики свободны, человек с воинственным взглядом, дождавшись своей, направился к тому же столу, за которым строился Рэм. Не спросив позволения и нимало не заботясь, приятно ли Рэму его соседство, поставил на стол кружку, вытащил из внутреннего кармана слишком тесного, заношенного пиджака завернутую в клочок газеты воблу, стал молча и сосредоточенно ее разделывать. Ловко ошкурив, вытащил из распоротого брюха рыбий пузырь, насадил его на кончик спички, поджарил на пламени другой и, отпив жадным глотком чуть не половину пива, закусил обуглившимся пузырем — тем самым выдав в себе опытного завсегдатая тогдашних пивных. Сделав еще один, во вторые полкружки, глоток, молча же, одним кивком подбородка, пригласил Рэма разделить с ним закуску.

И лишь терпеливо дождавшись, когда Рэм допьет свою кружку до дна, спросил громко, на всю пивную, и, может, потому вопрос его показался Иванову бесцеремонным:

— Ты кто? — И ткнул пальцем в нашивки за ранения на донашиваемой Рэмом офицерской гимнастерке, но, не дожидаясь ответа, сам представился: — То же, небось, не выше лейтенанта?

Тип с первого же взгляда Рэму не понравился.

— Студент.— И, принимая предполагаемый вызов: — А ты кто?

Незнакомец спокойно, даже с некоторой ленцой, коротко сказал:

— Гений.— И, ковыряя спичкой в зубах, явно нарываясь на ссору, добавил с вызовом: — Что, с первого взгляда не скажешь?

Ответ показался Рэму глупее не придумаешь.

— И чем же твой гений занимается? — не подумал он скрыть насмешку.

— Главным образом тем, что не позволяет никому в этом сомневаться,— мгновенно набычился, словно встав в боксерскую стойку, незванный собутыльник.

— И, надо полагать, состоявшийся? — Теперь Рэм чувствовал в себе ту же боевитость, которую излучал собеседник.

Колкость, однако, тот пропустил мимо ушей:

— Несостоявшийся гений — нонсенс, гений и неудача — две вещи несовместные, можешь мне поверить. Удачливых бездарей, правда, как собак нерезанных, но чтобы Рафаэль какой-нибудь там или Донателло...— И презрительно передернул плечами.— Исключено. Это всего-навсего вопрос времени.— И в упор: — Как звать-то?

— Рэм. — Но почему-то под цепким, буравящим его взглядом застеснялся своего имени и невольно прибавил: — Иванов.

— Рэм,— безапелляционно прокомментировал тот,— это либо собачья кличка, либо первый римский царь, к тому же, заметь, убитый родным братом. А Ивановых — пруд пруди.— Протянул жирную от воблы руку, назвал себя: — Нечаев.— И, словно ставя точку над «і», сказал с нажимом: — Монументалист.— И, не считаясь со временем и желаниями случайного знакомого, предложил, как приказал: — Допьем потом. Пошли. Покажу.

Вопреки нагловатой манере говорить и вести себя в Нечаеве было что-то обезоруживающее Рэма. Тем более, усмехнулся он про себя, не на каждом же шагу встречаются гении-монументалисты. И — пошел за ним, как гамельнский мальчишка за Крысоловом.

На ходу Нечаев спросил через плечо:

— Деньги у тебя есть? — Но тут же понял несостоятельность своего вопроса.— Это я так, к слову. Я и сам сегодня богатый, на оформлении витрин набегали кое-какие гроши. Идем.

Не оглядываясь, будто несколько не сомневаясь, что Рэм последует за ним хоть на край света, монументалист направился в сторону Садового кольца, свернул направо, по пути зашел в магазин, купил две бутылки водки и круг ливерной колбасы. Неожиданно остановился, обернулся к Рэму, спросил настойчиво:

— На кого я похож, не замечаешь?

Тот предпочел отмолчаться.

— На Лермонтова,— твердо сказал Нечаев,— это же в глаза бросается. И умру, как он, молодым, можешь мне поверить. Разве что не на дуэли, жаль, дуэли отменены.— И вовсе уж неожиданно: — Или как Врубель, в сумасшедшем доме.

Рэм не стал спорить, особенно насчет Врубеля.

На Колхозной Нечаев свернул за угол и, проплутав по задкам Мещанских, вошел в подъезд старого дома с облупившимся, будто съеденным волчанкой, фасадом, стал, все так же не оглядываясь на спутника, подниматься по широкой грязной лестнице. Добравшись до последнего — седьмого или восьмого, Рэм сбился со счета,— этажа, затем шатким и узким железным трапом на чердак, отпер висевший на решетчатой двери пудовый амбарный замок и только тут обернулся к Иванову и сказал, понизив голос, словно поверяя ему тайну за семью печатями:

— Здесь.

Чердак казался необъятным, во всю крышу старого доходного дома, в нем стояла такая жаркая, пыльная духота, что стоило Рэму переступить порог, как у него разом взмокла спина и гимнастерка прилипла к телу. Из слуховых окон плотно лился солнечный свет, в нем, будто сорвавшись с цепи, бешено выплясывали золотистые пылинки. Должно быть, чердак никогда не проветривался, а зимою, подумал Рэм, в нем наверняка стоит вселенский холод.

Нечаев показалось мало дневного света, он еще и электричество включил, но голые, запыленные лампочки на провисшем во всю длину продольной балки проводе освещения нисколько не прибавили.

— Гляди и ничего не пропускаяй, — тихо же велел Нечаев.

Иванов огляделся.

На срезанных скошенной кровлей боковых стенах, вдоль всего чердака, по обе его стороны, были прикреплены канцелярскими кнопками большие листы ватмана с рисунками — нет, ни рисунками, ни картинами, ни эскизами декораций их назвать было нельзя, это было похоже скорее на наброски фантастических витражей или фресок, которые еще предстояло осуществить в натуре где-нибудь в гулких, уходящих ввысь нефвах соборов или в неохватных глазом залах какого-нибудь дворца, настырно-ярких до рези в глазах. И не разобрать было, что на них изображено, да и изображено ли что-то определенное в этой круговерти ошарашивающего яростью и буйством половодья недоступных определению загадочных фигур и красок. Словно бесконечная лента Мебиуса, они опоясывали весь чердак, переливаясь одна в другую, и от этого шла кругом голова.

— Ну?! — нетерпеливо потребовал Нечаев.

Рэм не ответил. Все это было так переплетено, так одно из другого возникало, чтобы тут же раствориться друг в друге, все это полыхало вокруг него бесовским хороводом, дурманило и дурачило, и не было, казалось, на чердаке точки, оси, где встань — и остановится эта безумная свистопляска. И еще менее был он уверен, что ему это нравится.

— Ну?! — настаивал Нечаев. — Ты на каком факультете?

— Раньше был на философском, теперь на филологическом.

— Философском?! — не то поразился, не то вознегодовал Нечаев, найдя наконец простейшую разгадку немоты Рэма, его слепоты к искусству. — Так бы сразу и сказал, я бы на тебя не стал терять времени, да еще водку с тобой придется пить, не пропадать же добру! Гегель хренов! — И даже сплюнул на пол от отвращения. — Для вашего брата с засохшими, как коровьи лепешки, мозгами все очень просто — формализм, и все тут! Наперед все по полочкам разложили, как в детской считалочке: «да» и «нет» не говорите, черное и белое не выбирайте... Да! — крикнул монументалист с такой злобой и ненавистью, что Рэму показалось, что он полезет на него с кулаками. — Да! Формализм в чистом виде! В чистом, понимаешь, в девственном! Не как у какого-нибудь там Пикассо или Сикейроса с Ривейрой! Или даже Леонардо — у них у всех идея, видите ли, впереди лошади впряжена, религия какая-нибудь или, хуже некуда, политика. А у меня — безыдейный, чистый, как слеза ребенка на Пасху, абсолютно вольный, бескорыстный формализм. Фор-ма-лизм, да! И я плюю и на вас, и на тебя, и на Пикассо с мексиканскими этими прохиндеями идейными! — Но тут же уточнил полным собственного достоинства голосом, как равный о равном: — Для Леонардо, правда, делаю исключение. — И вдруг сменил тон почти на искательный: — Не нравится?..

— Не знаю... — выдавил из себя Рэм. — Просто как обухом по голове...

Нечаев разом просветлел, счастливо, совсем по-детски заулыбался:

— Что и требовалось доказать! Именно что обухом! По башке, по печени, по поджелудочной железе! Котелок у тебя, похоже, с серым веществом, а не с пшенной кашей стылой, не расхлебашь! Ты лучше всякого кретина-искусствознатца сказал — обухом, обухом!

И вдруг заторопился:

— Ты, пока я закусью займусь, чтобы малость передохнуть от того, что тебе, видать, не по зубам еще, полистай-ка вон рисуночки с натуры. Кондовый, пропади он пропадом, реализм, тут и понимать нечего. — И вывалил перед Рэмом на стол пухлую папку с рисунками пером и углем. — Ты из чего пить-то будешь, Гегель-Фейербах? Из граненых, как истинно русский человек? А то у меня, представь, один лафитничек где-то завалился. — И скрылся за дощатой перегородкой, где помещалась, по-видимому, кухонька.

В видавшей виды картонной папке на завязочках Рэм обнаружил с полсотни, а то и больше набросков, решительно ничего общего не имевших с тем, что висело вдоль стен мастерской: четкий, нежный рисунок, сделанный мягкой и чуткой рукой, и даже какое-то почти сентиментальное умиление перед моделью. А модель на всех рисунках была одна — тоненькая и хрупкая, даже не хрупкая, а словно бы вставшая только что после долгой и изнурительной болезни девушка, с острыми коленками, с по-детски недоразвитой грудью, ребра просвечивали сквозь тонкую, прозрачную кожу, стройные, худые ноги с аккуратными узкими ступнями. Рэм не мог решить, хороша ли собою модель и сколько ей лет — судя по легкости тела, и семнадцати нет, то ли все сорок: взгляд больших, надкруто выступающими скулами, глаз глубокий и многоопытный, и опыт этот, по всему видать, отнюдь не безоблачен.

Рэм перебирал лист за листом рисунки из папки, и с каждого на него пристально смотрело, словно ожидая от него ответа — какого? на что? — одно и то же лицо, и хрупкостью, незащищенностью своей вызывало жалость и нежность одно и то же тело.

Тут-то она и вошла в дверь чердака, он ее сразу узнал. Скорее даже, прежде чем узнать, догадался. Не здороваясь, она сняла с себя слишком длинный, явно с чужого плеча, пыльник, оставшись в коротком, открывающем ноги выше колен и туго обтягивающем тело бумазейном платье, и сквозь платье Рэм невольно угадывал ее худое, легкое, словно бесплотное тело. И оторвать от нее — как только что от рисунков — глаз не мог.

Так же молча она зашла за перегородку и через несколько минут вернулась уже не в платье, а в старой мужской, по-видимому, нечаевской, не первой свежести, рубашке, еще короче платья, в вырезе с оторванными пуговицами, когда она нагибалась, виден был верх ее плоской, детской груди, и Рэму ничего не оставалось, как смущенно отвернуться.

— Давай уж я, — отстранила она локтем Нечаева от стола, на котором он нарезал толстыми ломтями колбасу, и только тогда, полуобернувшись к Рэму, поздоровалась: — Здравствуйте. Я — Оля. А вы?

— Царь вечного города Рима по кличке Рэм, — представил его Нечаев, — да сверх того еще и, представь себе, философ.

На этом ее интерес к гостю исчерпался, она занялась молча и сосредоточенно готовкой, снуя босиком — и он не мог оторвать глаз от ее ступней с ненакрашенными розовыми ногтями и еще больше смущался — из мастерской на кухню, откуда слышался сытный, сладковатый запах разваривающейся картошки.

Дело шло к полудню, и железная крыша чердака раскалилась так, что духота в нем становилась все невыносимей.

— Ты бы хоть окна открыл, — не вынес жары Рэм, но Нечаев решительно воспротивился:

— Нельзя, от сквозняков краска осыпается, да я и сам — как сквозняк, тут же воспаление легких. Под Ленинградом их на хрен застудил. Ты лучше гимнастеркуними, не стесняйся.

Сам Нечаев был давно уже в одной застиранной тельняшке, прилипшей темным пятном к его тяжелой, сутулой спине.

— Готово,— позвала их к столу Ольга,— садитесь.— Со знакомством,— подняла она граненый стакан с водкой, когда они расселись на шаткие, в пятнах краски табуретки, голос у нее был не по тщедушному ее телу глубокий и чувственно хрипловат, и хрипотца эта смущала Рэма не меньше, чем ее голые ноги и выглядывающие в прорезь рубахи груди.

Теплая желтоватая водка обожгла гортань, разом бросилась в голову, и Рэм решил про себя, что глядеть на сидевшую напротив него в распахнутой на груди чужой рубахе Ольгу и любить при этом Ирину — все равно, что изменять ей. И он старался не смотреть в сторону Ольги. И вообще, казалось ему, все, что происходило с ним на этом чердаке — нестерпимая духота, дешевая водка, голый уже по пояс и потому еще более неприятный ему Нечаев, девица эта с глядящими смело и дерзко-внимательно на него глазами и пьющая водку наравне с мужчинами,— все это происходит в совершенно ином мире, чем мир Ирины, и эти два мира никак не состыковывались, не мирились в его сознании.

Ловя на себе невольные, исподтишка, взгляды Рэма, Ольга не отводила свои неулыбчивые глаза, а Нечаев, истолковав его взгляды как вопрос: «Кто она», объяснил нарочито грубо:

— Она — моя девка.

— Ты хотел, Мишель, сказать — муза,— спокойно, без обиды, поправила она его.

«Мишель»,— подумал Рэм,— наверняка усмешливый намек на его воображаемое сходство с Лермонтовым.

— В смысле — она моя модель, а заодно и любовница,— счел тот необходимым пояснить.

— Любовница — не обязательно предполагает любовь,— все так же спокойно прокомментировала она.— Мы просто выше этого. Я хочу сказать, гениям не до какой-то там, понимаешь ли, любви, они...

Нечаев не дал ей договорить, стукнул по столу кулаком с въевшейся навечно под ногти краской:

— Молчать! От горшка два вершка, а туда же, о любви рассуждать! Писюха, да еще и с подмосковной пропиской, лимита, а уже на любовь, видите ли, потянуло! Ты счастлива должна быть, что я тебя вообще к себе подпускаю!

Она не обернулась к нему, а сказала Рэму и впервые за все время улыбнулась, и он поверил, что ей всего-то семнадцать — только очень юные могут так открыто и безбоязненно, так незащищенно улыбаться:

— А я и счастливая, чего там.

— Писюха,— настоял Нечаев, но на этот раз с некоторой нежностью, вытирая тыльной стороной ладони губы и лоб в желтых бусинках пота,— а умна, как крыса, а уж в постели...

— Заткнись! — в свою очередь ударила по фанерной столешнице маленьким плотным кулачком она, отчего на ее запястье проступили сквозь тонкую кожу голубые жилочки.— А то он еще подумает, что ты и вправду меня любишь.— Вновь повернулась к Рэму: — Он бы, может быть, и любил меня, да вот беда, вся его любовь уходит на это.— Обвела глазами мастерскую с развешанными по стенам рисунками.— Кабы не это, я бы тоже, чем черт не шутит, могла бы его полюбить. Но — или одно, или другое.— Подумала, добавила неопределенно, покосившись на Нечаева: — А может, как раз наоборот...

Они долго, забыв о времени, сидели и пили, обливаясь потом в чердачной духоте; серо-голубой, на розовой подпушке, вечер втихомолку пробирался в мастерскую сквозь слуховые окна, Ольга сновала между столом и кухней, сбегала раз и другой вниз купить еще хлеба, колбасы и водки, Рэм окончательно осоловел, но вовсе не от одной водки, а оттого, что все это — сам Нечаев, Ольга, все более и более влекущая его к себе, чердак с этими, куда ни глянь, непонятными, невнятными бумажными витражами — застало его врасплох, ошеломило, и он все больше помалкивал.

Говорил же без передыха один Нечаев, громко, сбивчиво, требуя не просто того, чтобы его слушали не перебивая, но и беспрекословно с ним соглашались. И то, что и как он говорил, тоже было для Рэма впервой и ошарашивало:

— Да! Именно! Эта живопись требует пространства, пространство и есть единственно необходимая ей свобода! Потому что все другие свободы — в ней самой, и если в ней их нету — значит, одна мазня и суходрочка! Мне свобода не вне меня, не вокруг, не в стране или в мире — да катись он, этот ваш мир, к чертям собачьим! — мне свобода в себе самом нужна, вот здесь! — И бил себя тяжёлым кулачищем в гулкую, отзывающуюся пещерным эхом, волосатую грудь. — Мне на вашего таракана с усищами наплевать!

— Какого таракана? — не понимал его Рэм.

— Это он всегда так про Сталина, — спокойно пояснила Ольга, и Рэм не столько даже испугался, сколько был оскорблен этим святотатством.

Но Нечаев их не слышал, ему не до них было:

— Вот тут! — бил он себя в грудь. — И она у меня есть, на вас на всех хватило бы, мазины смердящие! Но чтобы вы ее увидели, чтобы ахнули и наложили полные штаны, на колени пали — на колени, в священном восторге! — мне пространство нужно, много пространства, все пространство, сколько его ни есть! Об одном жалею — что завернули строительство Дворца Советов. Под самые облака, до неба и еще выше — это бы по мне, это мое и ничье больше! Я бы его расписал от фундамента и до башки Ильича, я бы так решил плоскости, что фараонская эта пирамида, башня эта вавилонская, очеловечилась бы, зажил бы каждый квадратный сантиметрик. — И вдруг продекламировал с завыванием: — Полцарства за пространство! — Но и этого ему показалось мало, он еще и пропел надтреснутым тенорком: — О дайте, дайте мне пространство, я гений свой сумею доказать! — Видать, эти экспромты были им загодя придуманы и опробованы, потому что, допев уже и вовсе дискантом: «а-а-ать!», он испытующе и трезво посмотрел на Рэма: какое это на него произвело впечатление.

Рэм и не хватился, как Ольга ушла из-за стола и прикорнула на старом рундуке, стоявшем в углу мастерской. Нечаев тоже спал, уронив тяжелую голову на грязный, в объедках и папиросных окурках, стол. Уходя с чердака, Рэм долго стоял над неслышно дышащей во сне Ольгой, высвободившаяся из рубахи плоская, с темной вишенкой соска, грудь тихо и неглубоко подымалась и опускалась, не мог опять оторвать взгляд от ее оголившихся ног и от ступней, узких, с почти детскими пальцами, и вдруг подумал: а какие ступни у Ирины?.. Спускаясь в крошечной темноте по лестнице, он слышал в себе жаркое, нетерпеливое желание коснуться Ольгиных ног и целовать эти маленькие, такие складные детские ступни и чистил себя за это последними словами.

Ночью, в общежитии на Стромьнке, в хмельном, путаном сне он продолжал видеть Ольгу и мучительно и сладко желать ее.

Но следующим утром, придя в университет и увидав Ирину — как всегда причесанную волосок к волоску, как всегда оживленно-сосредоточенную перед лекциями, он мигом забыл Ольгу. А если вновь встречал у Нечаева, то — с одним только чувством стыда за свое, пусть и несостоявшееся, грехопадение.

Однако Нечаев и его мастерская, его странная живопись и его нескончаемый монолог о самом себе стали для Рэма на долгие годы как бы параллельной, второй — кроме университета, а потом, когда он женился-таки на Ирине, то и семьи, — жизнью, без которой он уже не мог обойтись.

Не говоря о том, что, не случись эта встреча в баре № 4 и все за ней следовавшее, ему едва ли бы пришла когда-нибудь мысль написать и защитить докторскую не по филологии, а по, как сказал бы Нечаев, «искусствоведству».

Но все — и чувство принадлежности к новому, прежде недоступному миру, в котором он день ото дня чувствовал себя все более своим, и семейное уютное благополучие, и шахматы под мягким светом торшера, и казавшийся таким упорядоченным и ничем неколебимым ход самой жизни, — все это рухнуло разом, в один день, в миг один, тем предзимним, с первой несмелой снежной порошей за окном, вечером, когда настойчиво, не отпуская кнопки электрического звонка, затрезвонили в дверь, вошли четверо в одинаковых пыжиковых шапках, предъявили ордер на обыск и на арест тестя и увели его, ничего не понимающего, не в состоянии уразуметь и поверить в реальность происходящего, и, уходя, оставили по себе распахнутые настежь дверцы шкафов и ящики письменного стола, валялись на полу книги и бумаги. Ходили по дому чужие люди, оставляя на наводненном паркете и коврах следы от грязных ботинок, опечатали кровавым сургучом кабинет Василия Дмитриевича, а как только ушли на рассвете, радиоточка на кухне театрально выпрепненным голосом сообщила о раскрытом органами МВД заговоре врачей-диверсантов, «убийц в белых халатах», агентов сионистской террористической организации «Джойнт».

Одним из завербованных «Джойнтом» отравителей, покушавшихся на жизнь руководителей партии и государства, был назван и профессор Корелов. Первая пришедшая на ум Рэму мысль, внушившая ему зыбкую надежду на то, что случившееся с Василием Дмитриевичем — ошибка, недоразумение, была, что среди всех прочих арестованных известнейших московских врачей он один был не евреем, а русским, и, стало быть, никак не мог быть ни сионистом, ни агентом «Джойнта», и это непременно, неизбежно станет для всех ясно, и его освободят и признают в ошибке. Были ли виноваты остальные врачи, некоторых из них Рэм Викторович знал, они изредка хаживали в гости к Василию Дмитриевичу, были ли они шпионами и диверсантами, над этим Рэм Викторович в те страшные первые часы не задумывался. Не то чтобы слепо поверил в их вину, а именно что не задумывался, не до них было, когда в собственной семье беда, Ирина в истерике, держится на одной валерьянке, того и жди, и в университете хватится, что аспирант и член партии Иванов в родстве с врачом-отравителем.

И еще одна мысль непрошено пришла ему на ум, и он тут же устыдился ее и усилием воли постарался выставить вон из головы: а ведь не влюбись он в Ирину, не женись на ней, не породнись с Василием Дмитриевичем и не стань своим в этом чужом, по чести говоря, ему мире — его бы эти события наверняка не коснулись...

Ирина только и делала, что звонила подряд всем знакомым, ища утешения и надежды: ведь не может же не найтись хоть один из отцовых пациентов — членов правительства, который не попытается помочь, вступить, но, кроме осторожных, с оглядкой, слов сочувствия, никто ничем ее поддержать не мог, а номера телефонов тех самых высокопоставленных, лечившихся у Василия Дмитриевича больных были — если и были — в его записной книжке в опечатанном кабинете.

Рэм тоже рылся в памяти, отыскивая в ней тех, кто бы мог как-то вмешаться, устроить прием к кому-то, кто мог бы посодествовать, — и не находил. Да и будь под рукою записная книжка тестя с телефонами тех, кто при желании действительно мог бы помочь беде, эти люди, знал он, в силу самого их иерархического, неписаного, но непререкаемого партийного кодекса поведения были недостижимы для каких бы то ни было личных отношений и вообще человеческих чувств.

Просить и ждать помощи было не от кого.

И тут в памяти его, словно фотоснимок в растворе проявителя, возникли шесть цифр телефонного номера, названные ему некогда на прощание Анциффе-

ровым. И, хотя он понимал, как глупо и бессмысленно звонить Анциферову — да и помнит ли его Анциферов, наверняка за семь этих с лишком лет позабыл напрочь молоденького младшего лейтенанта из далекого сорок пятого! — Рэм не мог, не смел не попытаться помочь тестю, пусть и без всякой надежды на успех. И решился позвонить. Но тут же впитанная им с молоком матери, взлелеянная в нем всей его жизнью сторожкая предусмотрительность подсказала ему, что звонить надо не с домашнего телефона, а лучше всего из автомата, да как можно подальше от дома. И он пошел из Хохловского на Таганку, вошел в телефонную будку близ метро, стекла которой запотели так, что снаружи никто его не мог увидеть и узнать, и, сняв перчатку, озябшими негнующимися пальцами набрал номер.

Ждать ответа пришлось недолго — он машинально насчитал всего четыре гудка в трубке, — и молодой мужской басок отозвался с ленцой:

— Вас слушают.

— Могу ли я поговорить с товарищем Анциферовым? — осевшим голосом сказал Рэм и вдруг с ужасом поймал себя на том, что не помнит, да и никогда не знал за ненадобностью — в Берлине вполне хватало и «товарища полковника», — имени и отчества Анциферова.

На том конце провода голос поинтересовался равнодушно:

— По какому делу?

— По личному, совершенно... — Рэм предполагал этот вопрос и загодя приготовил ответ: — Я его фронтовой... — но не сразу решился досказать до конца: — Я его фронтовой друг.

Голос в трубке несколько помягчел:

— Оставьте номер своего телефона, и товарищ Анциферов обязательно вам перезвонит.

Но Рэм был готов и к такому повороту событий:

— У меня нет телефона, я, знаете ли, проездом...

— Хорошо, я сейчас доложу, только вам придется перезвонить минут через десять, лады? Как ваша фамилия?

Рэм не сразу опустил трубку на рычаг, прислушиваясь к гудочкам занятости, будто они могли что-либо добавить к услышанному.

Он вышел из телефонной будки, поглядел на часы. Неожиданно запуржило, через несколько минут снег повалил так густо, что в двух шагах стало ничего не видать, а в небе вдруг сверкнули одна за другой вспышки бледной молнии и удушенно рокотнул из снегопада дальний гром. И Рэм не мог взять в толк, к добру или же к худу эта не по времени года гроза.

Он поставил себе дожидаться не меньше двадцати минут, но не утерпел, ровно через десять опять вошел в телефонную будку.

По-видимому, тот, с кем он только что разговаривал, секретарь или помощник Анциферова, узнал его голос — не успел Рэм вновь задать давешний вопрос, тут же велел:

— Ждите, соединяю.

Через минуту, показавшуюся ему бесконечной, Рэм услышал в трубке голос Анциферова и тоже сразу узнал его.

— Анциферов слушает.

— Товарищ Анциферов? — переспросил растерявшийся разом Рэм, но тот оборвал его:

— Он самый. Какой такой Иванов?

И на этот случай у Рэма был заранее обдуманый ответ, и он поторопился его выложить:

— Вас беспокоит тот самый ваш переводчик, который работал с вами в сорок пятом году в Берлине...

Анциферов прервал его и сказал так, будто ждал именно его звонка:

— Младший лейтенант Иванов, Рэм, он же Роман, любитель стихов? Как же, как же... — И неожиданно, словно спохватившись, переспросил совсем другим тоном, резким и напряженным: — Иванов Рэм Викторович?.. — И снова совершенно неожиданно переменял его на веселый и радушный, что было так на него не похоже прежде: — Как же, как же, старый боевой друг! Так неужели нам с тобой толковать по телефону! Некрасиво получается.

— Я и хотел попросить вас о встрече. По вопросу, который...

— А вот по какому, лично и скажешь, — не дал договорить ему Анциферов. — И не в казенном же кабинете нам, старым друзьям-товарищам, встречаться, не по-людски. Посидеть, как положено, помянуть, кого уже нет...

Слушая его, Рэм вдруг, сам не понимая отчего, заподозрил, что все это — этот тон Анциферова, его веселая открытость, так, сколько помнил его Иванов по Берлину, ему не свойственная, — все это говорится не столько для него, сколько для кого-то третьего, кто мог их слышать. Или, пришло на ум Рэму, подслушивать.

— Давай, лейтенант, вот каким путем. Я постараюсь освободиться чуток пораньше, ну, скажем, в семнадцать тридцать, а в семнадцать сорок пять встречаемся в сквере у Большого театра, понял? Можно сказать, сцена у фонтана, если ты Пушкина читал. А там решим, где отметить встречу. Согласен?

И, не дожидаясь ответа, положил трубку, а Рэм опять долго прислушивался к мелким гудочкам, словно они что-то доскажут и объяснят.

Чтобы как-то убить время до назначенного часа, он пошел к площади Свердлова пешком.

Метель улеглась так же внезапно, как и началась, снег падал крупными, мягкими хлопьями, тут же из белого становясь на тротуарах и на проезжей части грязно-серым, вязкая жижа чавкала под ногами прохожих и колесами автомобилей, и, чтобы не хлюпать по этой мерзкой каше, от которой на душе становилось и вовсе тошно, он пошел бульварами до Пушкинской, а там до Большого — рукой подать.

На бульварах снег был празднично бел, ветви деревьев прогибались под его тяжестью, играли в снежки дети под присмотром мам и бабок, бегали взапуски и валялись в сугробах собаки, и Рэм подивился, как много их во все еще недоедающей, скудной Москве. И все это — нетронутая белизна снега, мирная тишина, лишь подчеркиваемая взвизгом трамвайных колес, уютные лица укутанных в оренбургские платки бабушек на скамейках, — все это так не вязалось с тем, что творилось у него на душе, что все случившееся с ним и с его семьей показалось ему наваждением, бредом, и стоит ему встретиться и поговорить с Анциферовым, и дурной сон развеется, вот как эта недавняя метель.

Он старался идти помедленнее, чтобы не прийти на встречу слишком рано, но ноги сами несли его торопливо и с надеждой, и у Большого театра он оказался на целый час раньше назначенного срока. Он стал ходить взад-вперед под колоннадой, тупо глядя на афиши, переходил на противоположную сторону, к ЦУМу, разглядывал витрины. А когда хватился и посмотрел на часы, было без двенадцати шесть, и на заснеженной скамейке у фонтана в сквере, под недавно введенными в Москве неоновыми фонарями, чей неживой фиолетово-желтый свет делал лица людей похожими на лица утопленников, его уже ждал Анциферов.

Он не встал ему навстречу, не подал руки, и в глазах его, таких же непроницаемых, какими их помнил Иванов по Берлину, не было и следа той дружественности, которую услышал в его голосе по телефону Рэм.

— Садись, — не предложил, а приказал Анциферов, — в ногах правды нет. — И прибавил с вечной своей тайной усмешкой: — Как нет ее и выше. — И пояснил еще язвительнее: — Опять же Пушкин. — И ошарашил, как всегда: — А Пастернака я твоего читал, хоть и не дочитал. Ничего не понять, все прямо-

таки как сплошной шифр. С чем пришел? — спросил в упор и тут же отвел взгляд, будто ответ его вовсе не занимал.

Иванов присел боком на скамейку, все заранее приготовленные слова разом вылетели из головы.

Анциферов и не стал дожидаться ответа, сам сказал, и Рэм вздрогнул от неожиданности:

— Тесть,— не спросил, а утвердил Анциферов,— Корелов Василий Дмитриевич. Так?

— Так...— только и мог выдавить из себя Рэм.

— И по этому поводу ты звонишь мне прямо на работу, среди бела дня?! Хорошо, хоть достало тебе ума, лейтенант, позвонить из автомата.

В голосе, каким он сказал это, Рэму послышалась не просто осторожность, но и что-то вроде опаски перед некоей тайной, всесильной властью, сродни той, которую он сам испытывал перед Анциферовым.

— И чего ты ждешь от меня? — спросил тот, покосившись краем глаза вокруг, будто удостовераясь, что за ними не следят.— Что скажешь? Что не виноват профессор?

— Не виноват,— набрался духу Иванов.— Я не только партбилет, я голову дам...

— Головы нынче не в цене,— оборвал его Анциферов.— А уж твоя-то...— Но мысли своей не договорил.— Не нам с тобой решать — виноват, не виноват, на это есть органы, суд, прокуратура. А партбилетом, гляди, не пробросайся, он тебе, может, больше головы пригодится, держи под замком. И язык — тоже. Тем более по телефону. И номер мой забудь, вычеркни напрочь. К тому же я перехожу на другую работу. В случае чего, твой я и сам знаю.

— Но ведь он даже не...— начал было Рэм, но Анциферов опять не дал ему договорить:

— Не — кто? — спросил так, будто заранее знал, что Рэм ему скажет.

— Он русский...— сказал Рэм и тут же осекся, поймав себя на том, что, произнеся эти слова, он вступает в сговор, принимает правила игры тех, кто приходил за тестем и увел его и от воли которых теперь зависит судьба Василия Дмитриевича.

— Русский,— согласился Анциферов, и Рэм прочел в его глазах не привычную насмешку, а, как показалось ему, откровенное презрение. Долго глядел на него все с тем же презрением в глазах, потом отвернулся, сказал, будто подводя черту: — То-то и оно. Кабы не так, то советский суд можно бы обвинить именно в том, что ты, как я понимаю, имеешь в виду. И это уже был бы не судебный, а политический вопрос, а уж это — не нашего ума дело. И — точка.— Встал, натянул поглубже на голову заснеженную каракулевую шапку пирожком, сказал, уже отворачиваясь от него: — Вот уж не думал, что ты...— Но и на этот раз не договорил, пошел было прочь.— И запомни — ты мне не звонил, мы с тобой не встречались. И вот еще что...— закончил с привычной своей непроницаемой насмешкой,— если уж пришел за советом, зря ты Мефистофеля на Пастернака променял.— И через несколько шагов стал неразличим за вновь посыпавшим густым снегом.

Иванов еще долго сидел под снегом на скамейке, сил не было встать и уйти, и чувство, которое он только что испытал за то, что словами своими, пусть и сказанными необдуманно, от отчаяния, он вступил в сговор и принял правила игры той самой тайной воли и власти, перед которыми бессилен не только он, но, как стало ему сейчас яснее ясного, и сам Анциферов,— чувство это было хуже и постыднее стыда: то был страх, холодный, до липкого пота, головокружительный страх, страх, страх...

И не сразу дошли до него слова Анциферова насчет Пастернака: стало быть, там знают и о его диссертации, уда уже закинута и крючок проглочен, ос-

тается подсесть карася-идеалиста и — на сковороду его, в кипящее масло... И он поймал себя на том, что думает и страшится не за Василия Дмитриевича, а — за себя.

Вернувшись домой, он долго отряхивался от снега в прихожей, а Ирине сказал, что удалось переговорить с нужным человеком, и тот обещал помочь, и что есть надежда.

8

В конце марта, недели через три после смерти Сталина, когда в онемевшей от растерянности, искреннего горя у одних и зыбких, утаиваемых даже от самих себя робких надежд у других, Москве люди не разговаривали, не звонили друг другу по телефону, боясь проговориться и выдать эти свои ожидания, в восьмом часу утра, в словно бы вымершей после ареста Василия Дмитриевича квартире раздался телефонный звонок. Рэм поднял спросонья трубку и сразу узнал голос Анциферова:

— Не разбудил, лейтенант? — И, как всегда, не сообщил, а приказал: — Жди. Скоро. И не благодари, не звони. Да и телефон у меня изменился. — И как бы с неким намеком: — Считаю, с опозданием подарок жене к Восьмому марта.— И положил трубку.

А через неделю-другую вернулся домой Василий Дмитриевич, бледный, с запавшими, будто помертвевшими глазами, разом состарившийся, молчаливый — ни на один вопрос не отвечал, ничем не делился. Возвращаясь из клиники, куда он поехал на следующий же день, уходил к себе в кабинет, и никто — ни дочь, ни зять, ни даже двухлетняя Саша, внучка,— не смел к нему входить.

Ирина была убеждена и свято верила, что не что другое, как встреча Рэма с тем влиятельным человеком, который еще зимою, за три месяца, обещал помочь и сказал, что есть надежда,— и помог! — что именно эта встреча сыграла главную роль в деле отца. В ее глазах Рэм читал готовность отблагодарить его всей своею жизнью. Но эта экзальтированная, особенно на людях, благодарность только тяготила и раздражала его — он-то понимал, что Анциферов ничем не помог тестю, не мог помочь, даже если бы захотел, и в памяти невольно всплывало то брезгливое презрение, которое не скрыл Анциферов, когда Рэм пустился в объяснения, почему Василий Дмитриевич никак не мог быть в чем-либо заподозрен. И от этого еще больше раздражался на жену и едва сдерживался, чтобы не сказать ей правду, но отмалчивался, потому что знал, что она этой правде не поверит, как не могла до конца поверить, что никакого «Джойнта» и никаких диверсантов-отравителей не было и в помине.

Она верила во *власть* вопреки тому, что в глазах этой власти и она сама, и отец, и все, кто по рождению, по образованию, по генетической памяти о бывлой безбоязненности и по неизжитой, несмотря ни на что, потребности в ней,— все они были и оставались подозрительны, чужды и опасны. И таких, как Ирина, успел убедиться Рэм, было большинство в среде этой молодой, новой породе интеллигентов, «соли земли, теина в чаю», как, по Чернышевскому, она себя понимала, все еще неколебимо веря, что она-то от века была и вовеки пребудет цветом и гордостью страны.

И будущее представлялось ему совершенно непредсказуемым. Работа с Анциферовым в Берлине, и короткая встреча с ним под снегопадом у Большого театра, и этот его, ни свет ни заря, телефонный звонок и осведомленность о том, чего еще не случилось,— все это делало Анциферова в глазах Рэма человеком не просто приближенным к власти, но как бы живым ее воплощением, знаком ее тайны, паролем ее. Хотя он и догадывался, что истинная, полная, беспредельная власть от Анциферова, может быть, еще дальше и выше, чем расстояние от

него самого до Анциферова. Но так уж получилось, что Анциферов оказался для Рэма той точкой в пространстве и времени, в которой впервые пересеклась с этой таинственной, невидимой властью его собственная судьба, и это пересечение придало в его глазах власти реальность, объем и несомненность, отчего, впрочем, она не стала менее тайной и необозримой. Она, догадываясь Рэм, была ристалищем иных сил, иных волей, для которых что он, что Анциферов были величинами бесконечно малыми, муравьями в царстве динозавров.

Но ниточка эта, канат морской, навеки, казалось Рэму, связывает теперь его судьбу с Анциферовым.

Параллельно с этой его жизнью — Анциферов, Ирина, тесть, дочь, дом в Хохловском переулке, смутные и тревожные предчувствия, допущенная наконец к защите диссертация о Пастернаке — была у него и другая, вторая его жизнь: Нечаев, его мастерская и его друзья, — никак не связанная, не состыковывающаяся с первой.

Он привязался к Нечаеву, к его мастерской, всегда набитой до отказа друзьями — художниками, музыкантами, актерами, привык к бесконечным монологам хозяина, за напористой самоуверенностью, бахвальством, яростным презрением к недругам и недоброжелателям, действительным и мнимым, существующим лишь в его воспаленном воображении, — а они, по собственному признанию Нечаева, совершенно необходимы были ему с единственной целью: «полировать кровь», дабы она не застаивалась в жилах, — тайлся еще и острый, трезвый ум, способность видеть вещи — разумеется, если это не касалось прямую его самого, — взвешенно и рассудительно и иступленная, до белого каления, преданность искусству. «Искусство, — любил повторять Нечаев, воздев к небу указательный палец с въевшейся навечно под ноготь краской, — искусство — единственный язык, на котором человек способен говорить с Богом. Я и разговариваю с Богом, и ничего нет удивительного, что вы все нас не понимаете, меня и Бога».

Единственное, о чем Рэм никогда не рассказывал Ирине, так это об Ольге. Он и сам не понимал, отчего так поступает, — он к Ольге стал относиться как к не переменному, неизменному атрибуту мастерской и со временем перестал ее особо выделять среди прочих друзей Нечаева; тем более, и это входило в его твердые представления о мужской дружбе, пусть она и была не женой, а всего лишь любовницей, женщиной Нечаева, но зариться на женщину друга — последнее дело. Однако сама память о том, как он не мог в первую их встречу оторвать глаз от нее, от ее ног и груди, а еще более о том, какой увидел ее, обнаженную, на рисунках Нечаева, и как ожгло его тогда нетерпеливое плотское желание, и как она потом всю ночь снилась ему, казалась чем-то вроде тайного греха, без вины виноватости перед Ириной. И он положил себе никогда об этом не вспоминать и не думать. «Да и был ли мальчик?» — успокаивал он себя расхожей цитатой.

Спустя несколько месяцев после возвращения Василия Дмитриевича в «Правде» была напечатана приведшая в замешательство и смятение всю страну — и самому наивному, неискушенному читателю яснее ясного было, о чем идет в ней речь и кто, не названный по имени, имеется в виду, — статья «О культуре личности в истории».

В день ее появления, возвратясь вечером из клиники, Василий Дмитриевич впервые за долгие месяцы затворничества вышел в гостиную и предложил зятю сыграть партию-другую в шахматы.

Они уселись напротив друг друга в те же, что и прежде, старые, с пообтершейся обивкой, покойные кресла, над ними так же мягко и мирно светил тор-

шер, мраморные квадратики на шахматной доске были все теми же, и первый ход — e-2 — e-4 — тоже, и тишина в квартире, и невнятный шум города за тяжелыми шторами, — все было как прежде и вместе с тем все было иное, все дышало ожиданием и неизбежностью перемен, от которых у Рэма тревожно билось сердце и думалось вовсе не об очередном ходе, отчего в первой же партии он глупейшим образом зевнул своего ферзя.

Расставляя на доске фигуры для следующей партии, Василий Дмитриевич неожиданно спросил, не глядя на зятя:

— И что же дальше?..

— Вы о чем? — сделал вид, что не понимает, что тот имеет в виду, Рэм. — Реванш, что же еще. — И отшутился словами песни из военных лет: — «Смерть за смерть, кровь за кровь».

— Опять, стало быть, кровь? — поднял на него глаза Василий Дмитриевич. — И — долго еще? Или, как в Библии, помнится, сказано: доколе?.. — Опустил глаза, сказал как бы между прочим, продолжая расставлять фигуры: — Эта статья... И подпись под ней какая-то — ни цвета, ни запаха...

— Такие статьи, надо думать, в одиночку не пишутся, — предположил Рэм. — Псевдоним, вероятнее всего.

— Псевдонимы хороши для плохих стихов или для пасквилей, — возразил Василий Дмитриевич, — и всегда не без эпатажа: Горький, Скиталец, Бедный, Северянин, а тут — Иванов-Петров-Сидоров, не псевдоним даже, а скорее аноним...

Рэм ничего не ответил, только вдруг вспомнил, что то же слово употребил некогда в Берлине Анциферов.

— Ну и что же теперь со светлой памяти царем всея Руси и великим князем Московским будет?.. — как бы про себя, раздумывая над своим ходом, сказал Василий Дмитриевич. — Законный наследник убит отцовским гневом, другой — слаб умишком, а там — Годунов, самозванец за самозванцем, смута... — Поднял опять глаза на зятя, ждал ответа. Не дождавшись, настоял: — Смута?

Рэм предпочел не услышать вопроса.

Но Василий Дмитриевич не отступался:

— Известное дело — тайна, дисциплина, конспирация... Меня вот Бог милловал: инфаркт — так инфаркт, инсульт — так инсульт, стенокардия, ишемия, врожденный порок — все как на ладони, разве что самому больному не принято говорить, сколько ему еще осталось жить. Молчать молчим, но врать — никогда, на то и клятва Гиппократов. — И спросил напрямик: — А вы-то, нынешние, на чем клянетесь, ставя диагнозы?

И тут же на помощь Рэму пришли затверженные еще с юности стихи: «Мы — дети страшных лет России...»

Потому что старик готов поступиться своей точкой зрения во имя истины, для меня же моя отправная точка — нечто заведомо неоспоримое, неизменное, пусть и не истина в чистом виде, так, на худой конец местоблюстительница истины, нечто вроде вероисповедания. А все дело в том, что у старика корни — в прошлом столетии, а я весь, со всеми потрохами, из нынешнего...

И с ними же пришел на ум вопрос: а почему, собственно, вера почитается непреложнее и святее истины?.. «На том стою и не могу иначе»? В доказательство этой Лютеровской негибкости приводится история о том, как он кинул в черта чернильницу, и теперь в Виттенбергском университете, где якобы это произошло, приходится только и делать, что ежегодно, перед началом туристского сезона, обновлять пятно на стене свежими чернилами, а это уже не вера, а жульничество, ярмарочный фокус...

И снова чуть было не зевнул своего слона, но Василий Дмитриевич великодушно позволил ему взять ход назад.

— Смута... — повторил тесть. — Вся история России из одних смут и самозванцев и состоит. Самозванцев и анонимов. Прекрасная статья, ее и последний дурак поймет и порадует, да вот Грозный в ней — псевдоним, а уж подпись под ней — решительно аноним какой-то... — И вдруг рассмеялся молодо, как не смеялся ни разу после своего возвращения: — Аноним, придумывающий псевдоним своему герою!..

Взглянул на Рэма настойчивым, укоряющим взглядом:

— Все еще страшно назвать его по имени? Все еще трепещем, как бы из гроба не восстал? Тень отца Гамлета, граф Дракула?... Так мы ведь отпетые материалисты, ни в черта, ни в чох не верующие! — И — без перехода: — Знаешь, чем тюрьма хороша? Я-то теперь прошел эти университеты. Тем, что страшно, жутко, унизительно, на все готов ради спасения собственной шкуры или чтобы не били, не ломали костей, не жгли папиросами, там ты жалок и беспомощен, но мысль твоя — свободна. Там, на допросе, ты можешь позволить себе роскошь признаться, что ты шпион, агент мадагаскарской или сямской разведки, что ты отравил и отправил к праотцам половину политбюро, но про себя-то ты знаешь — все ложь, бред, изуверство. Тебя можно заставить оговорить себя в чем угодно, но ты твердо знаешь, что — вранье. А на воле, вот как мы сейчас с тобой, — благолепие, мой дом — моя крепость! — но ты про себя ничего не знаешь, ни в чем не уверен и сам себя подозреваешь во всех смертных грехах. Потому что — страх, страх, страх! И вечно скребет на сердце: вдруг да все обернется как-нибудь вспять, а он — он! — вот он он!.. Мне один старый вор на фронте попался, в лазарете, он в штрафной батальон прямо из лагеря угодил, так он мне говорил: тюрьма и лагерь, когда уже знаешь свой срок, куда лучше, чем сидеть в предварительном. А мы всю жизнь в предварительном изоляторе и просидели. Да и по-сейчас сидим. И не смотри на меня, пожалуйста, такими круглыми глазами — я уже и в диверсантах, и в убийцах в белых халатах побывал, я теперь хоть дома, в своих четырех стенах, могу себе позволить все, что на ум придет.

Василий Дмитриевич как-то сразу сник, помолчал, подытожил слабо:

— Вру я, не слушай, самому себе вру — и боюсь, как прежде, как всегда, и за вас душа не на месте, и на все готов, чтобы свою и вашу шкуру сберечь... Это у меня уже в крови, в подкорке, это и через сто лет будет передаваться в генах внукам и правнукам. И Сашенька, внучка, невинное, безгрешное существо, а и она этот страх в себе уже носит. Если кого жаль, так ее, мне-то что — недолго уже небо коптить... — Заключил с усталой усмешкой: — Хоть аноним, хоть псевдоним — все под Богом ходим. А может, вовсе и не под Богом, а под дьяволом, теперь уж не разберешь, окончательно все испорчены рациональным воспитанием. А умирать — не миновать, да вот как — в согласии с собой или на горячей сковороде собственной совести, вот он, вопрос-то... Собственно, шах и мат с первого же хода. Как, кстати, и тебе сейчас. — И пошел к себе, оглянулся на пороге кабинета: — Пока не станем подписываться своим именем под своими мыслями — рабы, не миновать сковороды напоследок. Только для этого, боюсь, у нас еще долгонько будет неподходящая история с географией. То-то Пушкин рвался хоть в Турцию, хоть в Китай, даже аневризму какую-то себе напридумал. Не мог иначе — только своим именем под своими мыслями... — И прикрыл за собою дверь.

Из всего этого разговора невыветриваемо запало Рэму в душу одно: смута...

Умер Василий Дмитриевич вскоре и от того, от чего всю жизнь лечил других: ишемической болезни сердца, — так и не дождавшись того, что напорочил: смуты.

Полный разброд мыслей, изнуряющая ум неразбериха с некоторых пор лодной, скользкой змеей свили себе гнездо в мозгу Анциферова. Очень может быть, они-то, он и не заметил, и стали, думалось ему, виною его, неделя за неделей, бессонных, безнадежно долгих ночей, в тоскливом ожидании пока не посе-

реет небо за окном, потом залетится блеклой голубизной, голубизна наберет понемногу силу, из-за дома напротив появятся первые проблески солнца, и начнется еще один — который по счету! — день, ничем не отличающийся от вчерашнего.

Кончалось же это под утро неким чувством близкой тревоги. Но он сопротивлялся этому смутному предчувствию, надеясь, что оно всего-навсего отражение и продолжение болезни его собственной, изможденной бессонницей души.

Однако же с рассветом он вставал, принимал ледяной душ, тщательно, до синевы, брился, надевал ежедневно чистую сорочку и первым — дежурные прапорщики у подъезда и на каждом этаже давно привыкли к этому — приходил на работу и был всегда свеж и бодр, будто вволю выспался и набрался новых сил.

Впрочем,— ловил он себя на изворотливой неточности,— появилось это предчувствие беды чуть ли не с первого дня, как он, покончив с делами в Берлине, вернулся на прежнюю свою работу на Лубянке. А когда его перевели в конце пятидесят третьего на новую, беда казалась ему все более и более неизбежной. Людей, с которыми сводила его жизнь в продотрядах, в ЧК, а потом в Китае и Испании, и тех, с которыми пришлось иметь дело в войну, особенно по ту сторону фронта, где и проходила основная его работа, он знал и понимал без слов потому, что они были такими же, как он сам. И те, кто сидел вместе с ним перед войной в подвале Лубянки и с кем он перестукивался через стену, а ночью слышал их крики на допросах в кабинетах следователей,— они тоже были такими же, каким был он. Эти люди верили в то же, во что верил он, и, как он, готовы были на все, только бы восторжествовала их вера.

А то, что и те, кто допрашивал и пытал на допросах, очень может быть, так же искренне и пламенно исповедовали ту же веру,— это тогда почему-то не приходило ему в голову.

«Гвозди бы делать из этих людей» — эта на все случаи жизни банальность как бы с равным правом распространялась и на тех, и на других, и он ее не подвергал сомнению. А над тем, на что еще, кроме как на гвозди, они — и те, и другие — годятся, об этом он в ту пору тоже не задумывался.

И таким был не он один. Потому что они были настоящие, преданные без страха и упрека, железные люди. Ими держалась страна, они победили в войну. А победителей — не судят. Это были *свои* люди, и он был среди них свой среди своих.

Теперь же он видел вокруг себя совсем других людей, как бы *не своих*.

Теперь-то, в трезвой, не знающей поблажки и пощады бессоннице, ему приходило в голову, что в его прежние представления о людях вкралась какая-то ошибка, которой он до времени не придавал значения, не отдавал себе отчета. А это только одно могло означать: что всю жизнь он только и делал, если уж называть вещи своими именами, что лгал самому себе. Нет, не насчет смысла того, чему служил и во что верил,— насчет людей. *Своих* людей. Насчет того, стоят ли они сами того светлого, ни пятнышка на нем, будущего счастья, ради которого, казалось бы, они жили и работали и совершали ошибки, иногда — преступные ошибки. И главное — лгали себе.

Он гнал от себя эти мысли, пытался убедить себя, что они тоже плод его болезни, но тут же и опровергал себя: а бессонница его, неподвластная медицине,— откуда? Что было прежде — яйцо или курица? Что причина и что следствие?..

Вернувшись с войны он вдруг обнаружил вокруг себя, в своих сослуживцах, этих *других* людей. Самое необъяснимое, что это были те же люди, с которыми он работал до войны и на войне, и воевали они наверняка хорошо, честно, не щадя себя, и вполне могли оказаться среди тех, кто с войны не вернулся. И все же они были — другие. Стали другими, и он не узнавал их. Не *свои*.

И если аресты и расстрелы до войны и перед самой войной он, не лукавя, мог в то время оправдать враждебным окружением страны и тем, что война — вот она, не сегодня, так завтра, и надо заблаговременно защитить себя и очистить свои ряды, то никак он уже не мог ни объяснить себе, ни принять того, что, еще в Германии, делалось на его глазах, когда тысячи и тысячи солдат, не по своей воле попавших в немецкий плен, чудом не умерших от голодной смерти в лагерях, изможденных, едва державшихся на ногах, тут же погружали как скот в зарешеченные вагоны и сотнями эшелонов отправляли в новые лагеря, на восток, чтобы им там умереть от того же голода и каторжного труда. А ведь они-то, тут у Анциферова не было никаких колебаний, они-то наверняка были *своими*.

Как не мог он по совести — по партийной, все еще сопротивлялся он новым своим мыслям, новой своей совестью! — уразуметь той бессмысленной, на пустом месте, свистопляски, иначе не назовешь, вокруг дела тех же врачей-отравителей — уж он-то, разведчик, стреляный воробей, никак в это поверить не мог, больно тут не сходились концы с концами, за версту торчали ослиные уши!

Ночами он мыкался без сна не по одному себе — свое он уже прожил, не обделила судьба, хорошего и плохого хватило бы на дюжину судеб, да и за шестьдесят сильно перевалило, давно пора на пенсию, — не находил ответов или хоть сколько-нибудь внятных объяснений совсем на другой вопрос, на самый главный, и мучительно бился над ним: что дальше-то? дальше-то что?.. Пусть уже не ему, но молодым-то, детям и внукам, жить в этой *другой* стране! И, во лжи по горло, не миновать им приспособиться, приноровиться к ней, изловчиться принимать жизнь такую, какую им оставили в наследство отцы, то есть и он, Анциферов... И бессловесно, безвольно, а то и с готовностью, даже с удовольствием дать штамповать из себя именно что гвозди, гайки, шестеренки, чтобы безжалостная машина лжи продолжала ворочать маховиками и лопастями, перемалывая все, что ни встанет у нее на пути?

Он жил теперь двумя никак не пересекающимися жизнями, независимыми на первый взгляд друг от друга, ночной и дневной, и наблюдая за его дневной жизнью — деловитой, четкой, распisanной по минутам, дисциплинированной и не оставляющей ни для чего постороннего даже самого малого зазора, — никак было не угадать другую, вторую, ночную его жизнь.

Одной такой ночью он внезапно для самого себя вспомнил и подумал о сыне, которого у него, как он до сих пор убеждал себя, как бы и не было, отрезанный ломоть. Ведь и ему это наследство тоже достанется и, как ни увиливай, как ни отрицай свою вину, — из рук отца! И если сын за отца не отвечает, то уж отцу-то от ответа за сына никуда не деться.

И никакого к этому отношения не имеет его давнее и твердое, не вырубить топором, окончательное решение: не простить, не забыть предательства жены, а с ней заодно — и сына, но сын же тут ни при чем!..

И он, скрепя сердце и вопреки всем своим прежним, выношенным и вытверженным всей его жизнью правилам, решил отыскать сына, чтобы... Чтобы — что?..

В мастерской Нечаева, как и во всей Москве, только и было разговоров и строились всевозможные предположения и прогнозы насчет перемен в стране, которые, по всему видать, не за горами, и каждый примерял их к собственной судьбе.

Но тут, на чердаке, все догадки о бог весть чем чреватых переменах походили больше на веселую компанейскую болтовню, на состязание в остроловии — кто кого переспорит, а то и просто перекричит. И это как бы успокаивало Рэ-

ма, отвлекало его от тех опасливых, вполголоса, с глазу на глаз, и неизменно преисполненных тревоги дискуссий с коллегами по работе, то есть с той самой «солью земли» и «теином в чаю».

У Нечаева же собирались ежевечерне сплошь художники, молодые, задиристые, тщеславные, ни на миг не ставящие под сомнение собственный талант, а стало быть, скорую, руку протяни, громкую славу, и все как один — модернисты и авангардисты самых что ни есть новейших, официально не только не признанных, но и суровейше заклеянных течений и направлений.

Кроме, естественно, Ольги, из не принадлежащих к художественному словию непременных завсегдатаев нечаевского чердака были Иванов да Исай Левинсон, философ-мистик, как он сам себя рекомендовал, работающий попеременно то дворником, то в котельной какого-нибудь жэка, свой уход из чистой науки объясняющий иностранным словом «эскапизм», яростный правдолюбец, неутомимый спорщик и ниспровергатель всего и вся, о чем бы ни заходила речь.

Непримиримость, откровенность их суждений поначалу ошеломляла и отпугивала Рэма, но потом, попривыкши к ней, он пришел к выводу, что все они не столько озабочены поиском истины, сколько просто-напросто выпускают пар в краснобайстве, тем самым, не отдавая себе в том отчета, защищаясь от всеобщих страхов и опасений: что дальше-то? дальше-то что?..

Одна Ольга эти разговоры слушала, не перебивая и не вмешиваясь, бегала за водкой и немудрящей закуской, чистила картошку и селедку, возилась на кухне, то и дело выглядывая оттуда, чтобы не пропустить ни слова из того, о чем до крика, до взаимных оскорблений спорили остальные.

А вскоре она и вовсе исчезла из мастерской Нечаева и никто за горячность споров вроде бы этого и не заметил. Разве что Рэм — да и то как бы одной памятью, уже порядком стершейся и поблекшей, о той первой встрече с ней, когда он не мог отвести от нее глаза и под мужской застиранной, с оборванными пуговицами рубашкой угадывал ту — обнаженную, хрупкую, влекущую к себе, какой он увидел ее на рисунках Нечаева. А ведь было, и еще совсем недавно, что ночью, в робких, неумелых, стеснительных и не утоляющих его чувственности объятиях Ирины, он против воли представлял себе, как любит и неистовствует не с ней, а с Ольгой.

Но и он, как и остальные, скоро привык к отсутствию Ольги в мастерской, будто ее там никогда и не было.

И лишь если попадалась ему ненароком на глаза запыленная папка с нечаевскими набросками с Ольги, он мельком, как бы вчуже, вспоминал о ней и тут же возвращался к общему словоговорению.

— Лично для меня, — не скрывал свою небескорыстную заинтересованность в ожидаемых переменах Нечаев, — лично для меня главное, чтобы недоумки эти с церковно-приходскими дипломами в кармане рядом с партбилетом, ни хрена в искусстве не секущие, мне, лично мне полный карт-бланш дали: как хочу, как вижу — так и малюю, а на все остальное я положил с прибором!

— И — думать, что хочу, говорить, писать без их ассирийско-вавилонской цензуры! — вспоминал и о себе Левинсон. — Тогда бы я, пожалуй, ушел из дворников...

А Рэм с чувством некоей вины неизвестно перед кем думал, что ему-то и нынешней свободы, пожалуй, за глаза хватает...

— Если не считать, — не удерживался он, хотя и видел зыбкость своих доводов, — если не считать, что все, сколько их было, рафаэли и кто там еще, писали по заказу пап и исключительно на утвержденные церковью сюжеты. А какой-нибудь Эль Греко работал в самый разгар инквизиции, вокруг сплошные костры, на которых еретиков поджаривали. И Державин лизал пятки этой анхальт-цербстской немке на русском троне, да и из Пушкина не выбросишь: «Нет, я не лгу, когда царю хвалу смиренную слагаю...» — таланту все равно, где

и когда жить, свобода — в нем самом.— И чувствовал свою неправоту и одновременно неприязнь к Левинсону.

Левинсон казался ему слишком речистым, пылким и с избытком готовым к самопожертвованию, и потому плохо верилось, что он и на самом деле способен на то, что проповедует с почти болезненной горячностью.

Возвращаясь однажды с ним летней, с долго не догорающей бледной не то еще вечерней, не то утренней уже зарею, ночью от Нечаева, Иванов поделился своими мыслями насчет того, что все эти их полухмельные разговоры, ночные эти словопрения ничего, собственно, сами по себе изменить не могут, нужны дела, поступки, действия, да вот кто на это готов?..

Ночь стояла тихая, полная луна торопливо, по-воровски то ныряла в тучи, то выныривала из них. Пахло пылью неметеных тротуаров, отработанными за долгий день бензиновыми парами, вывалившимся из переполненных баков подгнивающим мусором. Улицы были пусты, шаги отчетливо и гулко отдавались от стен, на востоке и на западе было равно светло, и непонятно было, откуда же взойдет солнце.

Левинсон долго не отвечал, шел, сунув руки глубоко в карманы, потом, глядя себе под ноги, отозвался:

— Вначале всегда — слово... со слова все и начинается. Не с Робеспьера и гильотины началась Французская революция, с невинных книжек Руссо, которые сейчас никто уже не помнит, или с ернических писаний Вольтера. Вот и сейчас время слова — книги, журнала... А оно уже не в воздухе носится, слово, оно уже вопиет к небу... Все начинается со слова.— Помолчал, сказал неуверенно погода:— Или, может быть, с Бога...— И с совершенно неожиданной яростью: — Если бы для того, чтобы обратить хоть половину человечества к Богу, пришлось бы вторую...— Но не закончил, сам, похоже, испугавшись своей мысли.

— А ты-то — веришь? — спросил ошарашенный Рэм.

— А не верю,— еще резче ответил Исай,— так и меня со второй этой половиной — на свалку, в утильсырьё!..— Но тут же перевел разговор на другое, словно пожалев о сказанном.

Но куда занятнее Левинсона, по крайней мере забавнее, были молодые художники, слетавшиеся как мухи на мед в мастерскую Нечаева,— которого они, не сговариваясь, считали уже состоявшимся мэтром,— сперва называвшие себя чохом авангардистами, потом, более дробно, кто — андеграундом, кто концептуалистами, а кто и иными, еще менее понятными стадными кличками, чтобы поближе к восьмидесятым окончательно сбиться в стаю постмодернистов. Хотя, подозревал Рэм, они и сами не очень понимают и не больно придают значение разнице между этими самоназваниями, которые на злобу дня напялили на себя, легко перекрашиваясь, в зависимости от обстоятельств и моды, из одного в другое. Эта игра в ярлыки, где один другого замысловатее, казалась Рэму всего лишь отчаянной, но и расчетливой попыткой привлечь к себе внимание. Но при этом были они так молоды, шумливы, честолюбивы и ревнивы к чужому успеху и славе, а многие и, несомненно, талантливы, что Рэм испытывал к ним что-то похожее на зависть и вместе с тем на покровительственную, как у взрослых к несмышленным детям, симпатию.

А когда докторскую свою диссертацию он задумал о русском Серебряном веке, который — тут уже не играли никакой роли частные расхождения в методе и направлении — был для них для всех Аркадией и Эдемом, счастливейшей порой в искусстве начала века, то они прониклись к Рэму и вовсе полнейшим и почтительным доверием.

Тут, правда, Рэм вправе был предположить и мотив куда более прозаичный: поскольку, кроме всего прочего, всех их роднило меж собою хроническое безденежье — люди они были, как правило, принципиально пьющие, это служило как бы непременным условием самого их ремесла,— то у кого же, как не у

Иванова, можно и даже вроде должно было перехватить трешку или пятерку: он единственный из них был на твердой, пусть и скромной зарплате в университете. Впрочем, люди благородные и благодарные, они приходили к нему не с пустыми руками: кто с наброском с натуры, кто с рисунком карандашом или цветными мелками, а кто и — пусть небольших, 30×30, размеров — натюрмортом или жанровой картинкой, и не, упаси Бог, в залог берущейся займы трешки, а — от широты души. Как Рэм ни отнекивался, картину или набросок приходилось брать, и вскоре у него накопилось порядочное собрание образцов новейшей живописи, стены кабинета покойного Василия Дмитриевича, ставшего теперь рабочей комнатой Рэма, были сплошь в модерне всевозможнейших оттенков и направлений.

Он никогда не отказывал страждущим, и, бывало, если просили рубль — из расчета «на троих», — он мог раскошелиться и на всю трешку с копейками. Так, посмеивался Рэм про себя, недолго и меценатом прослыть, Третьяковым каким-нибудь.

Но, глядя на развешанные на стенах опусы молодых ниспровергателей всех и всяческих канонов, он не мог отделаться от давнего, детских еще лет, воспоминания. Отец его, учитель рисования — прирабатывал он писанием с фотографий, а потом, набивши руку, и по памяти портретов вождей для домов культуры и окрестных сельских клубов, — успел несколько лет проучиться в Школе живописи, зодчества и ваяния, будущем ВХУТЕМАСе, и с малых ногтей стал яростным — о чем теперь только и оставалось, что помалкивать, — приверженцем мирискусников, «Бубнового валета» и прочих тогдашних декадентских увлечений. Однажды, исхитрившись каким-то образом раздобыть изданный, само собою, за границей альбом Казимира Малевича, он принялся горячо, мало не со слезами восторга на глазах объяснять маленькому Рэму — тогда еще, разумеется, Роману — всю гениальность этого великого обновителя искусства и в качестве вершины и квинтэссенции его новаторства приводил сыну — ученику, к слову, второго класса городской художественной школы — его знаменитый «Черный квадрат». Но как ни старался малолетний Рома проникнуться священным трепетом, и вопреки тому, как настойчиво витийствовал отец, он отчетливо и несомненно видел перед собою всего-навсего черный квадрат на белом фоне.

Черный квадрат на белом поле — и более ничего.

Потом несколько дней кряду втайне от отца он разрисовывал с помощью линейки и угольника свой ученический альбом бесчисленными квадратами, сладострастно закрашивая их чернейшей тушью или акварелью. Получалось точь-в-точь как у Малевича: черный квадрат на белом поле.

Более всего его поразило, как легко поддается повторению и тиражированию шедевр великого мастера. Вот тогда-то в его детское невинное сердце закралось сомнение, которое, повзрослев, он и словами попытался выразить: пусть гений и злодейство, если верить Пушкину, две вещи несовместные, но — гений и эпатаж? гений — и ехидная, едкая насмешка над легковерием тупой и невежественной толпы? гений — и «пощечина общественному вкусу»? Одним словом, так ли уж гениален гениальный «Черный квадрат»?..

И, хотя в своей докторской диссертации он уже без тени сомнений признавал судьбоносность для всего искусства этого полотна Малевича, детское недоуменное удивление и подозрительность в памяти все же сохранились, пусть и в самых дальних, давно без надобности, ее уголках.

«Будто я сам не знаю, что медицине тут делать нечего... — думал, уже не ожидая сна, не надеясь на него, Анциферов. — Будто не знаю, откуда это взялось. Переработался, перенапряжение, нервное истощение — что еще они могут сказать?! А я всю жизнь именно если без работы — так хоть лезь в петлю...

Это у меня во внутренней механике что-то заело, сбой какой-то в душе, хотя на самом деле никакой души и в помине нет. А, с другой стороны, есть же у врачей и такой диагноз: душевнобольной, стало быть, не умом повредился, а именно что душою. И душа, получается, какая-никакая, а есть?..»

Он давно уже вел этот нескончаемый ехидный разговор с самим собой. Иногда — и не то чтобы забываясь, а сознательно, силою воли пытаюсь уйти, улизнуть из плена холодного одиночества, — даже вслух, чтобы услышать в безлюдной ночной тишине собственный голос как живое свидетельство, что он — вот он, и говорит именно то, что хочет сказать, и слышит себя, да сверх того еще и над собою насмеяется, а значит — в здравом уме. Но тут же, матрешкой из матрешки, выскакивали один за другим и вполне связанные, логичные, вопросы: а ну как это и есть неопровержимейший симптом душевной ли, умственной ли болезни, перед которой и он сам со всей его насмешливостью и волей, и наука со всей ее заумной латынью — бессильны?.. И привыкший всегда говорить с собою напрямик, без околичностей и недомолвок, позволял, будто бросая вызов самому себе, выскочить из матрешки бесповоротному и окончательному вопросу: а вдруг?..

Однако, с другой стороны, убеждал он себя, ни один действительно поврежденный умом человек нисколько не сомневается, что он в полнейшем здравом уме! Но тут же выскакивала сама собою уж и вовсе последняя матрешка, опровергающая и это, казалось бы, вполне логичное умозаключение.

И раздражало, унижало, что он, человек в дневных делах поступающий всегда так, как он хочет и как считает нужным, повязан по рукам и ногам ночными своими блужданиями, не волен в них.

И ему начинало казаться, что он и впрямь сходит с ума.

Причина, чего уж там, как на ладони, одна: одиночество. Нет, не то одиночество, когда ни семьи, ни детей, ни друзей, а одиночество в *не своем*, непонятном и немилым ему мире, в который он попал, вернувшись с войны, и день ото дня погружался все глубже, с головой, будто в трясину, из которой только и остается, что вытащить себя за собственные волосы.

А раз это так, раз мир, во имя которого он жил, и работал, и верил в него больше, чем самому себе, и веры этой ради не видел и не понимал, не хотел или избегал видеть и понимать того, что было перед глазами: того, что и было настоящей, всамделишной жизнью, а не искаженным, словно в кривом зеркале, отражением его представлений о том, какой должна она, жизнь, быть, а стало быть, лгал самому себе, только и делал, что лгал и лгал; раз этот мир, который он вдруг обнаружил вокруг себя — и в себе, то-то и дело, что и в себе тоже! — раз этот мир таков, каков он есть, каким — дойдем уж до конца! — он сам же его и строил камень к камню, кирпич к кирпичу всю свою жизнь, раз уж он таков, этот его — именно что его, раз сам его строил по теории, в которую верил почище, чем верят в Бога, — раз все в нем так устроено, значит, вся его, Анциферова, жизнь — псу под хвост. Более того, псу под хвост он пустил не одну свою жизнь, а и жизнь всех, кто сталкивался с ним, кто так или иначе зависел от него. Вот хотя бы того же младшего лейтенанта в Берлине, мальчика с чистыми, наивными и ждущими от него, Анциферова, ответов глазами, и честных ответов, без обмана, без лукавства... А раз это так, то не он, Анциферов, а мир этот свихнулся, сошел с рельсов, и остается ему только — в пропасть, в бездну, где уж наверняка ничего нет.

И, вспомнив о лейтенанте, он вспомнил о Мефистофеле и Фаусте, и усмехнулся: все, что с ним произошло, уже было однажды, и многожды, и тьмы раз — обыкновенное, оказывается, дело — продать душу дьяволу. И не заметил, как профукал этакую безделицу: личную свою, короткую, никому не интересную и не нужную жизнь.

Жизнь профукал, думал он печально и без снисхождения к себе, и некому не то что счет за нее предъявить, поплакаться в жилетку и то некому.

И еще, не ко времени и не к месту, ему пришла на память рассказанная как-то Ивановым смешная, но и не без двойного дна история с «Черным квадратом»: как чистый, бесхитростный и безжалостный взгляд ребенка углядел с незамутненной ясностью в знаменитом, якобы великом, все перевернувшем вверх тормашками в искусстве рисунке всего лишь черное, с колючими углами, квадратное пятно на белом фоне — и ничего больше, ничегошеньки, и как оказалось легко детской руке с карандашом и кисточкой с тушью повторить и раз, и другой, и сотый это черное окно в черный мир.

Он повернулся лицом к окну — оно и впрямь было непроглядным, и ночной мир за ним погруженным во тьму. И темная комната, в которой ему доживать свои дни, да и вся его жизнь представились Анциферову подобными кромешному, бескрайнему, наводящему тень на плетень черному квадрату.

И еще ему пришло на ум, что если уж самому Иванову эта притча о «Черном квадрате» не послужила уроком и предостережением, так нужно ли, не глупо ли ему искать своего сына, который, очень может быть, даже и не догадывается, что у него есть отец, зачем он ему, и перекладывать на его плечи никому не интересную, бесполезную историю его, Анциферова, профуканной жизни, так похожей на этот проклятый черный квадрат.

С этой мыслью — о сыне — он неожиданно и сразу, впервые за долгие недели, уснул, словно провалился в ту же тень без дна.

И тоже впервые бог знает за сколько времени увидел сон и во сне — сына, правда, в лейтенантских полевых погонах, тот читал ему вслух непонятные, невнятные, но завораживающие стихи.

А может, и не стихи, а псалтырь читал, как над покойником. Но во сне он был все еще жив, Анциферов.

13

Иванов защитил — ни одного черного шара — докторскую, теперь он с полным правом стал Рэмом Викторовичем, заказал себе визитные карточки, на лаковом картоне простенькими, без пошлой витиеватости, литерами было выведено: «доктор искусствознания», его мнение стало много значить, он уже не одного молодого художника вывел «в люди»; вместо выцветших джинсов и вытянувшихся в локтях свитеров стал носить вельветовые брюки и пиджаки из настоящего английского твида, а в официальных случаях — темную тройку и галстуки спокойных тонов.

Жизнь заладилась, теперь кабинет и дом покойного Василия Дмитриевича стали его кабинетом и домом, как и вообще серьезный, солидный, самоуважительный мир, о котором так, казалось бы, недавно он и мечтать не смел; теперь он был в этом мире своим человеком, равным среди равных.

Всякий раз, садясь за необъятный письменный стол Василия Дмитриевича с малахитовым, не нужным теперь чернильным прибором, в яркий круг настольной лампы, отсекающий его от всего пошлого и суетного, Рэм Викторович неизменно вспоминал сказанное однажды тестем: «Подписывай своим именем свои мысли». Он был про себя твердо уверен, что внял этому совету и следует ему: все, что он писал, печатал и подписывал собственным именем, не шло вразрез с его убеждениями, с его собственным независимым взглядом на искусство и на происходящие в нем разительные перемены. Иногда, правда, нет-нет, а промелькнет в мыслях воспоминание о «Черном квадрате» Малевича и своем детском тогдашнем недоумении, но Рэм Викторович на это только снисходительно и ностальгически усмехался: «Как молодцы мы были...»

Само собою, что при этом еще более тесными стали связи со второй, как он сам ее называл, его жизнью — с Нечаевым, с долгими, за полночь, посиделками в его мастерской, куда по-прежнему, словно мотыльки на свет, слетались молодые художники, новое и, по мнению Рэма Викторовича, многообещающее поколение, дерзкое, хотя и излишне подверженное влиянию стремительно сменяющихся одна другую мод и пристрастий, «детской болезни левизны», как благодушно острил он; но со временем, был он убежден, это пройдет, каждый изберет себе свой собственный путь. На эти посиделки у Нечаева он ходил не в твидовом пиджаке, а в старых своих, выдавших виды джинсах и свитерах — так, полагал он, ему легче найти общий язык с молодежью, быть понятным ей.

В семье тоже все обстояло как нельзя лучше: Ирина и сама сделала не только академическую — кандидат филологических наук, но и общественную карьеру: стала секретарем парткома сперва кафедры, потом факультета, а под конец и всего университета, — но к мужу относилась с прежней ровной, внешне кажущейся холодноватой, однако верной нежностью. И по-прежнему не упускала случая напомнить каждому новому знакомому, что не кто иной, как Рэм Викторович, через некоего влиятельного человека в свое время не только освободил покойного Василия Дмитриевича от чудовищного обвинения, но и вообще сыграл немалую роль во всей этой приснопамятной истории. Рэма Викторовича это все еще раздражало, но со временем он привык к ее несколько напоказ благодарности, а открыть ей правду было уже поздно, да и зачем?

Сашу, дочь, уже вполне взрослую девицу, Рэм Викторович в силу своей занятости мало видел, а встречаясь, мало понимал, однако и это его не беспокоило: молодо-зелено, повзрослеет, они непременно поймут друг друга, вот только выкроить бы ему время, чтобы почаще с ней общаться: пресловутый конфликт отцов и детей — это как свинка или дифтерит, этим надо просто переболеть.

Осенью пятьдесят девятого года, придя из университета домой, он нашел на столике в передней короткую записку жены: «Звонили из ЦК, просили перезвонить сегодня же». И — номер телефона, начинающийся на 206. И фамилия совершенно незнакомая, ни о чем ему не говорящая: Логвинов.

Записка его встревожила: зачем?.. Его никогда прежде не вызывали в ЦК, да и какие к нему могут там быть вопросы, зачем он им понадобился?

И, как это случалось с ним все чаще в последнее время, раздражение его и неясная тревога обратились на жену. Это она, дочь «врача-отравителя», стала партийной дамой, то и дело заседает в горкоме, в ЦК, на совещаниях и пленумах, вполне натурально вошла в новую роль, гоняет шофера на казенной машине в спецраспределители на улицу Грановского или в «дом на набережной» за продуктами, которых ни в одном московском магазине не сыскать, ездит в закрытые санатории — впрочем, вместе с ним и с дочерью, ему тоже в голову не приходит отказаться от этих как бы само собою разумеющихся привилегий, — и напроць забыла о вечно и горделиво лелеемой русской интеллигенцией идее, почти вероисповедании: сочувствие, печаль и слезы по тем, кто нищ, сир и голоден — «выдь на Волгу, чей стон раздастся...»; она не задает себе вопрос, как бы ко всему этому отнесся ее покойный отец, не говоря уж об его отце и деде, наверняка некогда кадетах или октябристах...

В запальчивости Рэм Викторович шел еще дальше в своих разоблачительных умозаключениях уже не об одной Ирине, а вообще о русской, главным образом столичной — белая кость — интеллигенции: всегда фрондирующая, всегда в оппозиции к существующему государственному порядку, как бы он ни назывался — самодержавие, конституционная монархия, недоношенная восьмимесячная демократия меж февралем и октябрем, большевизм, сталинизм, социализм, — всегда высматривающая в небе «буревестника», аплодирующая оправдательным приговорам эсерам-террористам, то есть убийцам и преступникам, очертя голову идущая в подполье и в революцию, хотя долгий опыт должен

бы ее научить, что тут же, как ее мечта о всеобщем «либертэ, эгалитэ, фратернитэ» сбывается, ее же первую — на фонарные столбы, в каторги и лагеря... И тут она опять в истерическом негодовании уходит в новую оппозицию, в новое подполье, ей роль победителя и правителя не по нраву, она предпочитает роль вечной жертвы, страстотерпицы, потому что это единственная историческая роль, с которой ответа не спросишь. И всякий раз все кончается либо тем же спецраспределителем на улице Грановского, либо теми же каторгами и лагерями, это уж как кому повезет.

Эти новые, его самого поначалу приводившие в некоторое замешательство умонастроения были как бы обратной стороной его, с иголки, докторской степени, визитных карточек, твидовых пиджаков с галстуками палевых тонов, а также партбилета, о котором он вспоминал лишь в день уплаты партийных взносов. В нем, хотя он в этом никогда бы не признался даже самому себе, как долго сохраняющийся под пеплом жар, все еще тлел провинциальный его комплекс перед столичной публикой, и, если поскрести благополучие его жизни, то, временами казалось ему, обнаружилось бы, что то одна лишь фикция, будто он в этом ее особом, закрытом для посторонних, для чужаков мире стал своим, признаваемым ею равным среди равных. Он не то чтобы завидовал ей или ревновал, но при этом во всякой вполне невинной остроте или шутке на свой счет слышал как бы намек на то, что, как он ни лезь из себя, а — не голубых кровей, зван, да не призван, и страдал от этого, хоть вида и не показывал.

Не говоря уж о том, — вернулся он к мыслям о жене и вознегодовал еще жарче, — что висящие на стенах уже не одного кабинета, но и гостиной картины его друзей по мастерской Нечаева, а теперь единомышленников-модернистов, обороняемых им с превеликим трудом и даже с риском для собственной карьеры от тупого непонимания комиссаров от искусства, — иначе как мазней, дешевым рукоделием Ирина не называла.

«Надо что-то делать! — думал он гневно. — Так дальше жить под одной крышей нельзя...» — А рука его уже тянулась к телефону.

Логвинов назначил ему встречу в тот же день, на пять часов.

Ровно в пять Рэм Викторович шел длинным и тишайшим, красная ковровая дорожка скрадывала звук шагов, коридором четвертого этажа серого здания на Старой площади, и, когда он было уже дошел до двери с нужным номером, из какого-то кабинета навстречу ему вышел не кто иной, как Анциферов.

Анциферов, казалось, ничуть не удивился этой, ненароком, встрече.

— Ты к кому? — только и спросил он.

— К какому-то товарищу Логвинову, это тут, на четвертом этаже...

— Я так высоко не летаю, — со знакомой Рэму Викторовичу недоброй усмешкой отозвался Анциферов, — мое место на втором. — И вовсе уже непонятно бросил почти на ходу: — Ты побольше бы там, у себя в университете, стихи каждому встречному-поперечному читал... — И без перехода: — Кончишь дело, заходи, буду рад. — И ушел, не оглядываясь.

Пожилая секретарша с замкнутым, словно обиженным лицом, — такой будет рано или поздно Ирина, подумал Рэм Викторович мстительно, — видимо, ждала его, потому что назвала по имени:

— Рэм Викторович? Товарищ Логвинов вас ждет.

Логвинов, сидевший за письменным столом и низко склонившийся над бумагами, не встал ему навстречу, сказал с волжским выговором, упирая на «о»:

— Проходите, проходите, одну только секундочку. И присаживайтесь.

Рэм Викторович подошел к столу и сел в неудобное, с прямой спинкой, казенное кресло.

Дописав — судя по мелким, быстрым движениям руки с пером, наверняка четким, бисерным почерком — бумагу, Логвинов поднял глаза и несколько мгновений пристально на него смотрел, будто вспоминая, кто он и зачем здесь.

— Товарищ Иванов Рэм Викторович? — И тут же перешел без обиняков к делу: — Насколько нам известно, ваша кандидатская диссертация была на тему о Пастернаке Борисе Леонидовиче?

Рэм Викторович промолчал — едва ли вопрос предполагал ответ.

— Вы и докторскую, как мне сообщили, уже защитили?

— По совершенно другой тематике. И даже из другой области.

— Да, да... мне и это сказывали.— И как бы самому себе: — Вольному воля...— Помолчав, вынул из ящика стола книгу в отблескивающей свежим лаком суперобложке, положил ее так, чтобы Рэм Викторович мог прочесть название, набранное крупными, броскими латинскими литерами: «Доктор Живаго», и тот разом догадался, зачем его сюда вызвали. И давно, казалось бы, позабытые опаска и тревога застучали часто в висках.

— Все с этого и начинается,— сказал Логвинов, заметив его взгляд на книгу,— со смуты в умах. С чего началась венгерская контрреволюция? — И сам себе ответил: — С писателей, с кружка Петефи. Мне ли не знать, я как раз в это время там был. Или же, положим, Французская революция — тоже с книжек.— Но, поняв, что последние его слова могут быть истолкованы как неодобрение или даже осуждение Французской революции, поспешно уточнил: — Буржуазная, я имею в виду.— И перевел разговор на другое: — Мне вас очень и очень рекомендовали товарищи из университета.

Сделал паузу, дожидаясь, что на это скажет Иванов. А Рэм Викторович сразу понял: Ирина, кто же еще,— и даже скрежетнул зубами от негодования.

Не дождавшись ответа, Логвинов взял книгу со стола.

— Читали? — спросил, перебирая страницы, будто ища в ней какое-то определенное место.

— Нет,— слишком поспешно, тут же укорив себя за это трусливое отречение, откестился Рэм Викторович,— не попадалась, да я по-итальянски и не читаю.— И, как бы оправдываясь перед самим собой за свою постыдную поспешность, добавил: — А вот стихи из этого романа... да их вся Москва знает.

— Стихи — да.— Было непонятно, и Рэм Викторович тут же вспомнил Анциферова, то ли Логвинов ставит ему это в заслугу, то ли в досадную неосмотрительность.— Мне говорили, что вы хорошо знаете и разбираетесь в творчестве товарища Пастернака.— Но ударение, которое он сделал на слове «товарищ», призвано было подчеркнуть, что никаким товарищем он Пастернака не считает.— Потому-то нам и интересно знать ваше мнение.

Невольно в памяти Иванова всплыли строки стихов из романа: «На меня наставлен сумрак ночи...» и еще, уже и вовсе предчувствием опасности: «Я один, все тонет в фарисействе...»

Однако ни голосом, ни выражением лица попытался себя не выдать:

— Просто я всегда любил стихи.

— Да, очень интересно,— повторил Логвинов, напирая на свое округлое и уютное «о».

— Вам? — невольно спросил Иванов.

— Нам,— будто ставя его на место, строго сказал Логвинов.— Вот и выходит дело, что кому же, как не вам, товарищ Иванов, и карты в руки?

— Я непременно прочту. В «Новом мире»,— попытался увильнуть Рэм Викторович.— Вероятно, по традиции роман будет опубликован там.

— Не будет! — раздраженно прервал его Логвинов.— А насчет традиции вы, к сожалению, правы — где еще, как не в «Новом мире»! Но журнал проявил в кой-то веки принципиальность, отказался печатать. И там не без принципиальных товарищей. Но я вам дам почитать. Почитайте, почитайте.

— Но я, товарищ Логвинов, не специалист, не литературовед...

— И очень даже хорошо, нам от вас не того надо. И без вас этих, знаете ли, литературоведов из недовыявленных в свое время космополитов... Вы свой че-

ловец, я имею в виду — наш. Именно вам, повторяю, и карты в руки — говорят, вы чуть ли не все стихотворения и поэмы этого автора наизусть знаете. А я, — развел как бы в смущении руками, — я, знаете ли, больше Исаковского люблю, Твардовского, Долматовского. — Но чтобы Иванов не подумал, будто ему нравятся только поэты, чьи фамилии кончаются на «ский», поспешно добавил: — И, конечно же, Суркова, Щипачева... Однако о вкусах, как говорится, не спорят, хотя эта посылка сама по себе очень и очень спорна. — И, порадовавшись собственной неожиданной остроте, громко и довольно рассмеялся. — А от вас нам нужно, чтобы вы именно с партийной в широком смысле, а не просто с искусствоведческой — вы ведь доктор, если не ошибаюсь, искусствоведения? — с философской, можно сказать, точки зрения прошлись объективно и без скидок по всему, понимаете ли, творчеству автора и выявили истоки — именно истоки, самые корешки! — идейных блужданий товарища Пастернака. Личность заметная, со счетов не сбросишь. Философия, — постучал он костяшками пальцев по столу, — философия его, та, что не в одних словах, а глубже, на самом доньшке, вот чего нам от вас нужно. — И, словно бы уже получив согласие Рэма Викторовича или по крайней мере нисколько в нем не сомневаясь, пояснил: — Но в разрезе, понимаете ли, того факта, что он переправил роман за границу, врагам, а это уж ни в какие ворота не лезет, это, знаете ли, даже в кодексе предусмотрено!

Рэм Викторович вдруг понял, что он совершенно незащищен перед той высшей волей, которую он всегда угадывал за — или над — Анциферовым, как вот сейчас за Логвиновым, и у которой, как у библейского бога, нет имени, имя ее непроизносимо и тайно, потому что она, эта воля, — *все*. И он у этой тайной, беспредельной воли — заложник, галерный раб, говорящее орудие.

Логвинов же вынул из ящика письменного стола еще одну книгу, от обложки и корешка которой еще пахло переплетным клеем, с мелко напечатанными на ней уже по-русски словами: «Для служебного пользования», протянул ее через стол Иванову:

— А документ, — так и сказал: «документ», а не «роман» или «книга», — документ — прочли, проработали и вернули. Вы свободны, товарищ Иванов, желаю удачи.

И Рэм Викторович машинально взял у Логвинова книгу, вышел из его кабинета и торопливо, перепрыгивая через две ступеньки, понесся на второй этаж, к Анциферову.

14

За несколько минут до того, как Рэм Викторович постучался в дверь кабинета Анциферова, тот положил на рычаг телефонную трубку.

Теперь он узнал все, что хотел. Вернее, что узнавать было — нечего.

Он несколькими днями раньше решил наконец и позвонил в прежнюю свою «контору».

И вот теперь получил ответ.

Не ответ, думал он отрешенно, глядя из окна на Старую площадь, на памятник ветеранам Плевны, на толчею у входа в метро, а просто конец вопросам, пуштышка, ноль. Теперь-то уж он совсем один, окончательно.

С Лубянки ему сообщили ровным, безличным голосом — впрочем, и он задал им эти вопросы некоторое время назад таким же официальным тоном, будто речь шла вовсе не о нем самом, не о бывшей его жене и сыне, а о совершенно посторонних людях, судьба которых почему-то, он не был обязан объяснять почему, заинтересовала ЦК, — наведя наверняка основательно и тщательно справки, ему сообщили, что лица, о которых он запрашивал, погибли, возвращаясь из заграничной командировки, в авиакатастрофе еще в войну, сын же их, ос-

тававшийся в Москве у бабушки, окончил впоследствии суворовское училище и пошел в кадровые военные. Погиб, выполняя свой интернациональный долг в одной из братских стран, — в какой именно, не сказали, это и по сей день оставалось государственной тайной. Он был женат, и у него, в свою очередь, был сын, родившийся в пятьдесят седьмом году, но ни о его вдове, ни об их сыне достоверных сведений нет.

Анциферов, молча слушавший то, что ему докладывали по телефону, не сразу понял, что он дед, что у него где-то есть внук. Лишь когда в кабинет вошел запыхавшийся, в растрепанных чувствах, Иванов и он обернулся к нему от окна, он сообразил это и понял, что теперь ему искать не сына, а внука, и в уме попытался подсчитать, сколько же сейчас внуку лет. И еще подумал, а нужен ли ему, внуку, он, дед, и вправе ли он искать его и тем самым вмешиваться в жизнь уж и вовсе незнакомого ему человека, может быть, а то и наверняка, и не слышавшего никогда о деде.

Иванов молча протянул ему полученную от Логвинова книгу, и Анциферов сразу увидел название: «Доктор Живаго».

— Поговорили? — только и спросил.

— Поговорили...

Анциферов долго смотрел на него, потом решительно сказал:

— Тогда пойдем. — И первым направился к двери.

Проходя вперед Иванова, вернул ему книгу и осуждающе кинул на ходу:

— Так и будешь ходить с ней по Москве?.. Хоть в газетку завернул бы. —

Вернулся к столу, взял с него газету, протянул Иванову: — На. — И едко на ходу усмехнулся: — Конспираторы...

Был конец рабочего дня, Анциферов и Иванов шли пустым коридором, спустились на первый этаж, пересекли огромный, как футбольное поле, вестибюль, прапорщик на выходе, покосившись на мгновение на их пропуски, козырнул им.

Выйдя на улицу, Анциферов пошел налево, спустился в подземный переход, вышел из него к чугунной часовне гренадерам Плевны, пошел вниз по бульвару, поискал вокруг глазами и, найдя пустую скамейку рядом с детской песочницей, сел на нее и велел Иванову:

— Садись, в ногах правды нет.

На что тот, припомнив те же его слова, сказанные семь лет назад под снегом в сквере у Большого театра, повторил их с невольным вызовом:

— Как нет ее и выше. Пушкин.

— А ты на другое надеялся, лейтенант? — устало отозвался Анциферов. — Докладывай.

Рэм Викторович, стараясь не упустить ни слова, пересказал их с Логвиновым разговор.

Анциферов слушал внимательно, не перебивая и не задавая вопросов. Когда Рэм Викторович кончил, кивнул подбородком на завернутую в газету книгу, и Иванов, в который уже раз за годы знакомства с ним, не понял — одобряет ли его тот или же осуждает.

— И ты сказал — да...

— Я не сказал — да! — вскинулся Рэм Викторович. — Он мне и слова не дал выговорить, даже не спросил, согласен я или не согласен!

— Но книгу — взял, — не стал слушать его оправданий Анциферов, — нечего в кошки-мышки играть. — И Рэм Викторович вновь угадал в его глазах то же презрение, что и при давнишней их встрече у Большого театра. Однако Анциферов совершенно неожиданно перешел на совершенно другое: — А я его, представь, этой ночью как раз еще раз одолеть пытался, не спалось...

— Кого? — не понял Иванов.

— С тем же успехом — об каждое слово спотыкаешься...— Подумал, спросил самого себя: — А может, так и надо, чтобы не всякому по зубам?...— Опять кивнул на книгу в руках Иванова: — А вдруг тебе этот самый роман и впрямь не понравится?

— Да не в этом же дело, как вы не понимаете?! А в том, кем он для меня всю жизнь был, а теперь я, выходит...

— Не в этом, очень даже понимаю,— прервал его Анциферов. Надолго замолчал, внимательно, будто в первый раз ее увидел, глядя на свою искалеченную руку.— Знаешь, за что я сидел? В двух шагах отсюда.— И, мотнув головой, будто не хотел вспоминать, да не мог не помнить, продолжил ровно, даже равнодушно: — А бумажка, которую требовалось подписать, была про моего лучшего друга, он комбриг был, кавалерией командовал.— Отвлекся на минуту: — Кавалерия — против их танков, против «тигров», представляешь, как мы успешно готовились к войне?! — Вернулся к своей мысли: — Короче говоря, от меня требовалось всего ничего — подмахнуть свою фамилию... Ему — вышка, да и мне бы, не начнись на счастье война...— Опять взглянул на свою искореженную руку.— Вот в нее-то и совали мне перо...

— Не подписали...— не спросил, а утвердил как бы в обвинение самому себе Иванов.

— А как война началась,— не услышал его Анциферов,— расстрелять-то и не успели, зато, прежде чем в тыл к немцам кинуть, обратно в тот же кабинет вернули, а того молодчика, который...— Но спохватился, не стал продолжать.— Ладно, тебе это неинтересно.— Усмехнулся невесело: — Я потом целую неделю его «Казбек» докуривал, он как раз паек получил недельный, забыл с собой унести...

— А я книгу — взял...— сказал не ему, а себе Рэм Викторович.

Анциферов очнулся от своих воспоминаний, голос его опять стал жестким:

— Я тебе эту байку рассказал не для примера, так, на ум пришла черт знает с чего.— И, глядя в сторону: — К тому же, если тебе роман и на самом деле не покажется...

— Я же сказал — не в этом дело! — почти крикнул Иванов.— Понравится, не понравится... А как бы вы, если б вам доказали, что ваш друг-кавалерист был и вправду враг?!

— Не поверил бы,— твердо сказал Анциферов.— Но я и с самого начала не поверил, сказал «нет», а ты как-никак книгу-то взял, наложил, извини, полные портки... Теперь тебе одно остается...

— Что?...— вдруг обмяк, обессилел Рэм Викторович.— Что?!

— А зарубить себе на носу,— очень спокойно, но и, как слышалось Иванову, брезгливо отозвался Анциферов,— что уже всю жизнь тебе с этим жить. С полными портками,— не осуждая, а лишь констатируя факт, заключил Анциферов.

— Я не согласился! Я же ничего не обещал! — взмолился Иванов.

— Это — раз,— был неумолим Анциферов.— А во-вторых,— недобро усмехнулся,— считай, тебе повезло. Пока вы там с товарищем Логвиновым насчет изящных искусств рассуждали,— и опять, как в тот раз, в Берлине, поразил Иванова в устах Анциферова «князь тьмы», так сейчас эти «изящные искусства»,— из Швеции пришло сообщение, да на пятом этаже застряло, до четвертого пока не дошло, это у нас дело долгое, пришла шифровка из посольства, что Пастернаку за этот самый роман — гляди, кстати, не потеряй книжку, все экземпляры на строгом учете,— Пастернаку за него Нобелевскую премию дали, единогласно. Не за самый роман, конечно, а как раз за то, что его у нас на амбарный замок решили запереть. Чистой воды политика.— И будто сам на то удивляясь: — Куда ни кинь — политика!.. Ничего,— как бы успокоил он Рэма Викторовича,— ничего, через годок-другой, глядишь, и нашему кому-нибудь дадут, по закону

симметрии, никуда они не денутся. Так что теперь уже не до обсуждения романа, теперь хоть наизнанку вывернуться, но чтобы либо отменили шведы премию, либо он сам от нее отказался, третьего, как говорится, не дано.

— Но мне-то что от этого?! — не мог взять в толк это новое обстоятельство Рэм Викторович. — Мне-то все равно надо что-то делать!

Анциферов, задумавшись, долго молчал, глядя на детей, играющих в песочнице, на осыпающиеся листья старых кленов и вязов, на снующих дерзко у самых его ног голубей и воробьев.

— А ты думал всю жизнь куличики из песка выпекать?.. — Переспросил: — Тебе-то?.. Теперь твоя записка, или как там ее ни называй, товарищу Логвинову уже ни к чему — поезд ушел, о другом надо позаботиться, уже не внутренний вопрос, международным на весь мир скандалом пахнет, а это уже епархия другого отдела. — Усмехнулся язвительно: — Кое-кому лавры покойного товарища Жданова покоя не дают!.. — Взял себя в руки: — Так что, вернее всего, твою записку теперь никто и читать не станет, не до того.

— Но написать-то ее я все равно должен... — не находил Рэм Викторович выхода из тупики.

— Никуда не денешься, — безразлично подтвердил Анциферов, — так уж устроена жизнь. — И добавил с таким откровенным ядом, что Иванов удивленно покосился на него: — По крайней мере на одной шестой суши, на которой нам с тобой выпало родиться...

— И вы... вы так прямо...

— Говорю с тобой? — И вдруг будто все, что передумалось, что мучило и терзало его в бессонные ночи, вырвалось наружу, и то, что он говорил, было похоже то ли на попытку оправдать самого себя, то ли на самообвинение, словно он хотел разом избавиться от этих ночных своих мыслей, либо, напротив, утвердиться в них. Или — отречься. — А потому что я член партии с двадцатого года, и не по убеждениям только, а — по душе, по совести! И кулаков раскулачивал по совести, и Троцкого, завернув в ковер, в Алма-Ату отправлял по совести, и по совести же врагов народа арестовывал, Бог миловал, допрашивать не довелось. По совести и сам под подозрением очутился. Я верил, понимаешь, как моя бабка деревенская в Христа-Спасителя верила, без оглядки, без корысти, и только это дает мне право не понимать, не принимать многое из того, что делалось и делается теперь в партии. Не по-ни-ма-ю! И не Хрущева с его кукурузой, он-то тоже по совести или по глупости все делает, по темноте, он тоже вроде меня верующий. А вот прохиндеев тех, что в одну власть, в должность, в сладкий пирог мертвой хваткой вцепились, из молодых, да ранних! Я бы таких собственной рукой — к стенке... Ты думаешь, почему я, старый и больной, неделями не спавший, работаю и работаю в ЦК?.. Чтоб они не расхватали вконец, что плохо лежит, чтоб не лезли тараканами из всех щелей, «младотурки» рукастые! Чтоб хоть что-то из того, во что я всю жизнь верил, не испоганили, не пустили окончательно под откос... И с твоим Пастернаком, будь он неладен, их рук дело, а от этого вреда будет больше, чем пользы, помяни мое слово!.. — Ему не хватило воздуха, он долго с трудом, силно дышал, прежде чем совладать с собой.

Встал, сказал на прощание так, будто у них ни о чем серьезном и важном и разговора не было:

— Я пойду, а ты посиди, покумекай, авось до чего-нибудь путного и докумекаешь. А картину я тебе точно, как в аптеке, нарисовал. Будь здоров.

Ушел, а Рэм Викторович глядел вслед, как он прямо, не сутулясь, будто не седьмой десяток на исходе и не мучается он из ночи в ночь изнуряющей бессонницей, вышагивает твердо, уверенно, пока не скрылся в подземном переходе.

Дети играли в куличики, чирикали наперебой воробьи, вальяжно переваливались с боку на бок голуби, желтела и багровела листва на деревьях, жизнь по-прежнему шла размеренным, рассчитанным на века ходом, и только ему, Рэму Викторовичу Иванову, предателю и трусу, не было в ней места.

Казня себя, он вспомнил сказанные некогда покойным тестем слова: «Страх, страх, страх». Из одного ледящего, вьвшегося в душу, в кровь страха он и не посмел сказать Логвинову «нет», не хлопнул дверью, не плюнул ему в лицо. Страх — а перед чем? перед кем? Ведь ни посадить его бы не посадили, ни пытать бы не пытали, разве что из партии исключили и выставили вон из университета... Страх, уж конечно, не перед каким-то Логвиновым, а перед той непостижимой, тайной, безличной, без цвета и запаха силой и волей, вершащей все в этой стране. Вареву власти кипит и пузырится неведомо где, в каком котле, на каком огне, это власть не человеческая, которую можно бы понять и принять или отклонить, сопротивляться ей, а — незримая, вездесущая, всеобъемлющая, необъяснимая, языческая. И он опять вспомнил: «Я один, все тонет в фарисействе...»

Мимо прошел старик в слишком коротких вельветовых брюках, ведя на поводке такого же старого, одышливого бульдога, у пса свисали бакенбардами брылы, из пасти, влажно поблескивая на солнце, тянулись голубоватые нити слюны. И было ясно, что, кроме этого старого, едва передвигающего лапы пса, у старика ни одной живой души на свете и нет...

Рэм Викторович достал из кармана сигареты, закурил, дым завис в недвижимом воздухе и вдруг напомнил ему родной заштатный городишко: ранними утрами над садом позади собора всегда стоял, не клубясь, серо-лиловый туман, и стоило солнцу взойти из-за облупленного купола церкви, как туман, точно спохватившись и опаздывая куда-то, быстро редел, улетучивался, оставляя по себе крупный бисер росы на крышах, на траве, на перилах крыльца. Рэм Викторович спросил себя: а нужно ли было ему уезжать оттуда, из милой той и покойной провинциальной глуши, в Содом и Гоморру? А ведь мог бы тихо учительствовать, как это делали всю жизнь отец и мать, его бы знал в лицо весь город, с ним здоровались бы прохожие, даже незнакомые, на мощенных крупным, тряским булыжником улицах, он любил бы и умилялся на своих учеников, женился бы на такой же, как он сам, учительнице старших классов, и жизнь казалась бы вдвое, десятикратно умиротвореннее и просторнее...

Он откинулся на спинку скамейки и закрыл глаза, чтобы лучше и яснее увидеть и тот город, и туман, и себя самого там, в упущенной им жизни...

Ирина с дочерью уехали на целую неделю на дачу, и некому даже рассказать, пожаловаться на приключившееся с ним или хоть сорвать на ком-нибудь свой страх... Да и, подумал он, едва ли бы я стал все это рассказывать Ирине, не поняла бы...

— Рэм?! — прервал его мысли чей-то знакомый голос. — Вы, похоже, уснули?..

Он открыл глаза: перед ним была Ольга, в том же, будто нарочно, чтобы помочь ему вспомнить ее, слишком длинном на ней, с чужого плеча, пыльнике. Он не видел ее бог знает сколько времени, с тех самых пор, как она исчезла из мастерской Нечаева.

— Ольга! — Он не меньше ее удивился этой встрече.

— Храпите на весь бульвар, голубей распугали, — насмешливо глядела она на него сверху вниз.

Она мало изменилась. Из-под пыльника виднелись ее стройные и крепкие, загорелые ноги, ступни, охваченные ремешками босоножек, были узкие, с длинными, ровными пальцами. Он разом вспомнил, как тогда, в первый раз, когда

он увидел ее ступни и нежные, почти детские пальцы с ненакрашенными ногтями, его прожгло острое, нетерпеливое желание.

Он и сейчас помимо воли покосился на них и, как и в тот раз, смутился.

— Что это ты со мною на «вы»? — только и нашелся сказать. И, пытаясь освободиться от смущения и памяти о былом желании, неуверенно предложил: — Садись, покурим.

Она присела на скамью, взяла у него сигарету и закурила, ловко выпустила, округлив по-детски рот, кольцо дыма и, только когда оно рассеялось, сказала, пожав плечами:

— Так ведь сколько не видались...

— Неважно! — И, не зная, о чем и как с нею теперь говорить и оттого еще больше смешавшись, спросил невпопад: — Как там Нечаев? Я его чуть ли не с самой весны не видел.

— А я так — сто лет, — ответила она безразлично. Но, помолчав, все-таки объяснила: — Он новый период для себя задумал, под фламандцев, вот ему и стала нужна совсем другая модель — с сиськами до пупа и чтоб непременно задница розовая, как полтавское сало. Рубенс, короче говоря, я уже не годилась. Ну и...

— Но ты ведь для него не только моделью была... — вырвалось у него.

— Была, да вся вышла, — равнодушно отозвалась она. — И ничего-то серьезного у нас, собственно говоря, и не было, просто ему тогда нужна была модель — кожа да кости, тут я была в самый раз, дистрофик.

— И вовсе ты не дистрофик, — поспешил он, — совсем наоборот!

— Но и не рубенсовская задница. — Пустила еще одно колечко дыма, долго глядела, как оно все не тает в воздухе. — Хотя вам виднее.

— Тебе, — напомнил он, — мы же, независимо от Нечаева, друзья. Друзья?

— «Ты» так «ты», — согласилась она. — А вот друзья ли?.. — Повернулась к нему, и он впервые увидел ее лицо так близко.

Если бы не глаза, светло-серые в рыжих, будто веснушки, крапинках, настороженные и недоверчивые, — глаза всему на свете знающей цену женщины, ей можно было дать все те же семнадцать: ни морщинки, крупный рот со свежими, тугими губами, щербинка в передних зубах, чуть вывернутые задорно наружу ноздри, маленькие нежные уши с дырочками от сережек, почти под «нулевку» остриженные каштановые волосы делали ее и вправду похожей на ленинградскую блокадницу.

— Друзья... — повторила она с вызовом. — Я как-никак женщина, а какие у женщины могут быть друзья-мужчины? — Отвернулась, прибавила буднично: — Разве что после...

— После чего? — не сразу понял он, а поняв, почувствовал, что покраснел, как в первую их встречу.

— А вы не разучились краснеть! — громко рассмеялась она, и настороженность в ее глазах утихла. — Вот уж не ожидала — здоровенный дядька, а стесняется как... Напугала я вас? — Но тут же стала серьезной: — Но, если вы хотите, давайте попробуем.

— Что — попробуем? — и вовсе смешался он.

— Дружить, — ответила она так же серьезно, — авось... А вы что подумали? — Помолчала, сказала в сторону: — Только зачем вам это?..

— Тебе, — опять настоял он. — Друзья — на «ты».

— Хорошо, ты, — опять согласилась она. — Зачем тебе дружить со мной? Если б не ты, а другой был, я бы подумала — соломку стелет. А ты... — Но не договорила, достала из матерчатой, расшитой потускневшим мелким бисером сумки, висевшей у нее на боку, недоеденный ситник, раскрошила его в кулаке, бросила крошки себе под ноги.

Словно того и дожидаясь, к скамейке слетелись голуби, стали бойко и жадно клевать, отталкивая друг дружку и злобно отгоняя затесавшихся меж ними бесстрашных воробьев.

Он покосился на голубей, но ничего не увидел, кроме ее ступней, покрытых бульварной кирпичной пылью, узких и смуглых. И не мог отвести от них глаз.

Она все крошила булку, смотрела на голубей, молчала. И вдруг, не оборачиваясь к нему, буднично спросила:

— Что это ты на ноги мои уставился? А говорил — дружить...

— Я?! — вскинулся он испуганно, пойманный с поличным. — Я — на голубей... — И с натугой пошутил: — А от тебя и вправду лучше держаться подальше...

— Это точно, оба целее будем. — Нагнулась, отчего голуби мигом пустились врассыпную, поглядела на свои ноги, пошевелила пальцами, сказала сама себе: — Грязные до чего... Весь день ношусь как оглашенная по Москве, дела, дела, дела, чтоб им провалиться... Срам какой!

— Какие же у тебя дела? — Он никак не мог найти тон, которым надо с ней говорить. — И я вовсе не смотрел на твои ноги, я просто... Так какие же у тебя дела?

— «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда...» — усмехнулась она. — Посидел бы ты с мое гольшом, да еще на сквозняке, перед дюжиной здоровенных оболтусов, все затекает — спина, шея, руки... Хотя студенты все лучше, чем народные художники, те только и норовят, чтобы прямо с подиума в койку затащить. Правда, платят побольше. — И с вызовом поглядела на него: — А вы-то как? Я хотела сказать — ты-то?

— Хуже не бывает, — невольно признался он, — так худо, что хоть в петлю. — И совершенно неожиданно для самого себя предложил: — Но сейчас-то ты свободна? Давай завалимся куда-нибудь, одно только мне и остается — надрасть до потери чувств.

— Прожигать жизнь зовешь? — И вновь скосила глаза на свои ноги. — С такими-то ногами?! Нет уж, вот когда я в форме буду... — Усмехнулась: — Явление народу...

Рэм Викторович, сам на себя поражаясь, предложил:

— Тогда — в гости, а?..

— К кому? — удивилась она. — К тебе, что ли?

— Я тут рядом живу, в переулке на Покровке. И я не могу сейчас — один, мне надо, чтоб хоть кто-нибудь рядом...

— А ты, однако же, шустрый, вот уж никогда бы не подумала...

— А ты и не думай...

— Ничего я не думаю! — резко отрезала она. — Не маленькая. Да и волков бояться... — И с язвительной усмешкой: — Жена, небось, в отъезде, квартира пустая, отчего бы и не пригласить на чашку кофе невинную, глупую девочку... Ты хоть знаешь, сколько мне лет? Тридцать скоро, меня уже ничем не удивишь. — И без перехода: — Если жены и вправду нет, я бы, представь себе, душ приняла, неделю в бане не была. Если, конечно, это тебя не обидит. И если ты действительно недалеко живешь. Хоть ты и не подумавши пригласил, но это уже твои проблемы. Ну что, пошли? — И первая поднялась со скамейки.

Они шли по пустынной в этот вечерний час Маросейке, Москва всегда лучше самой себя вот такая, обезлюдевшая, умерившая свой торопливый, белкой в колесе, задыхающийся бег, кажется, что ты остался с нею один на один, не надо никуда торопиться, сшибаться плечами и локтями с встречными, и сам становишься покойнее, добрее, и мысли приходят в голову легкие и чуть печальные...

На всем пути до дома он жалел о том, что зазвал ее к себе, и страшился того, что будет, как она сказала, *после*. И вместе с тем очень определенно и ясно видел, как она войдет в ванную, разделется и станет под душ, и голое ее тело видел — худое, легкое, спину с трогательно выступающими острыми лопатками, маленькие, плоские груди с розово-коричневыми кружками вокруг вишневых плотных сосков, впалый живот с глубокой ямкой пупка, курчавящийся темный

мысок под ним, голенастые, как у подростка, ноги, маленькую, под машинку остриженную голову, — и не мог унять то же, как в первый раз, над альбомом Нечаева, обжигающее, слепое желание.

Он понукал себя думать, что такое с ней случается не впервой, что она просто-напросто разбитная и доступная, как все натурщицы, деваха, ее особенно-то и добиваться не надо, стоит только, вот как сейчас, поманить пальцем, сама сказала: ничем ее не удивишь. И в то же время не верил в это и мучился неловкостью и испугом: а дальше? потом? после?..

Как ни странно, вины своей перед Ириной — которой еще ни разу не изменял, хотя и отдавал себе отчет, как увядает на глазах былая любовь к ней, как они день ото дня все дальше отодвигаются друг от друга и на смену любви приходит одно глухое раздражение, — вины перед нею он сейчас не испытывал. Лишь неловкость и неуверенность в себе — как он скажет Ольге: разденься, ложись в постель, а главное — что делать и о чем говорить, когда самое пугающее будет уже позади?..

Еще не шло из головы: где это должно произойти? Не в его же с Ириной постели в спальней, не в Сашиной же комнате, уж этого-то он никогда себе не позволит, а в кабинете и в гостиной диваны узкие, не раздвигаются... И вместе с этими жалкими, трусливыми мыслями приходили и другие — как неловка, как зажата и несвободна Ирина в постели и как он сам ее стесняется, и совсем другого нетерпеливо ждал и хотел от Ольги.

Когда они вошли в квартиру, Ольга сразу же, в передней, сбросила с ног босоножки, прошла босиком вперед:

— Можно, я сразу под душ?

Он принес ей чистое полотенце и, пока она мылась, достал из холодильника на кухне запасенную Ириной на время своего отсутствия еду, и только тут почувствовал угрызения совести: она позаботилась, чтобы ему не надо было бегать по магазинам, ей и в голову не могло прийти, что он способен привести к себе первую же попавшуюся на бульваре девуку...

Ольга спросила из ванной:

— Можно, я халатик надену, тут чей-то висит?

Это его оскорбило до глубины души — Ирин халат, она не может не догадываться, неужели ей и это нипочем?! Но когда она вышла из ванной, видны были выше коленок ее загорелые ноги, матово блестела от воды и шампуня маленькая голова, из выреза халата наполовину выглядывали ее, белее ног и лица, груди, — такой свежестью повеяло от нее, такой естественностью, что Рэм Викторович разом забыл и о Логвинове, и об Анциферове, и о своих страхах и стыде за то, что сейчас произойдет, и опять накатило на него давешнее желание, и смелость, и чувство, что ничего дурного он не делает, напротив, он поступает так потому, что именно этого — смелости, легкости, открытости и естественности ему и не хватало в их с Ириной отношениях, с ней он никогда не испытывал той свободы и уверенности в себе, какие и должен испытывать мужчина рядом с женщиной.

Не отдавая себе отчета в том, что делает, он подошел к Ольге, ни слова не говоря обнял ее, ощущая ладонями сквозь тонкую махровую ткань халата ее влажное, скользкое тело и слыша грудью, как бьется ее сердце. Она подняла на него глаза — так близко, что он увидел в них собственное отражение, и вдруг понял, что она единственный в мире человек, которому он может выложить все, что с ним стряслось за сегодняшний день. Но она его опередила:

— А ведь я с самого начала, еще тогда, у Нечаева, знала, что тем и кончится... И заруби себе на носу — не ты меня, дурочку глупую, заманил и соблазнил, а я тебя.

— Какая разница?!

— Большая. Чтобы ты не чувствовал себя виноватым. Если не передо мной, так... — Она указала чуть заостренным кончиком подбородком с шоколадной

родинкой под нижней губой на портрет Ирины, висевший на стене за его спиной. И тут же укорила себя: — Прости, я не должна была это говорить. Тебе неприятно? Извини. Просто ты знай — я сама. И хотела, и еще тогда знала, что это как-нибудь случится. Так что можешь спать спокойно.

— Ты, я... Я тоже знал с самого начала, еще когда ты была с Нечаевым...

— И о нем не надо,— прервала она его,— когда это было-то... Было, да сплыло, и вспоминать не стоит.— Неожиданно спросила: — Наверняка ты думаешь, что я со всеми так?.. — Чуть отстранилась, заглянула ему в глаза.— Позирю голая перед чужими мужиками... Думаешь? — И сама же себе ответила: — Думаешь. Да, лезут, предлагают, обещают, но, если хочешь знать, я никогда... Не веришь? — И опять за него ответила: — Не веришь, куда тебе.— И совсем уж неожиданно: — Если я буду клянчить, чтобы ты говорил, что любишь меня,— не надо, молчи. Да я и не буду!

— Не поверишь? — Он слышал грудью, как сердце ее колотится скоро, мелко.

— Хорошо, уговорил.— Она выскользнула из его рук, огляделась вокруг: — Куда идти?

Когда все, чего он так страшился и чего жадно хотел, минуло и он лежал на спине, а она так и осталась на нем, уткнувшись лицом в его шею и душно дыша в нее, а он все еще не мог прийти в себя от того, как бесстрапны, беззастенчивы были ее — и его, его тоже, впервые в жизни! — ласки, как не похожи они были на ласки, которыми скупое, уклончиво и стесненно одаривали друг друга он и Ирина.

Она не удержалась — дрожа и выгибаясь под ним, на нем, рядом, все время требовала сквозь хриплые стоны: «Скажи, что любишь меня, говори, что любишь, говори, говори...», а он и без ее просьб шептал и шептал: «Люблю, люблю, люблю...» — и в этом не было неправды.

— Ты устала? — спросил он.

— Глупый, от этого кто же устает?! Тебе было плохо со мной? Только не ври!

— Такого со мной еще никогда... правда. И я никогда, ни разу не изменял... — запнулся, не смея произнести Ирино имени.

Она закрыла ему рот влажной ладошкой:

— Не надо о ней, грех. — Скатилась с него, легла рядом. — И вообще давай ни о чем не говорить.

— Но она — есть... — не удержался он.

Она долго молчала, потом усмехнулась:

— А меня — нет... — Не дала ему ответить: — Молчи! С меня, ты думаешь, как с гуся вода?.. — И настойчиво, будто это было самым главным: — Я просила, ну, когда мы этим занимались, чтоб ты врал, что любишь?..

— Не помню, не слышал, не до того было.

— Просила,— по привычке сама себе ответила,— дура душой...— Приподнялась на локте, наклонилась над ним, все еще плотный, налившийся, острый ее сосок коснулся его груди.— Потому что я, представь себе, не могу без любви. Знаю, что нет ее, откуда ей взяться, а — не могу, вот и обманываю себя...— И — резко, зло: — Не тебя, а сама себя, себе лапшу на уши вешаю. Не верь! Никогда не верь! — Опять откинулась на спину.— Да и никогда больше у нас с тобой ничего не будет...

— Это я тебе говорил, что люблю...

— Потому что я клянчила, я себя знаю!

— Я сам. И если на то пошло, я-то не врал.

— Найди кого поглупее!

— Я тоже без этого, наверное, не могу.

— На минуточку! Чтоб накачать себя! Или потому, что меня жалко стало...

Ненавижу, когда меня жалеют!

— Не на минутку, а... — Не надо бы ему это говорить, а сказал: — Только навсегда, похоже, этого не бывает...

— Чего захотел!..— Вскочила на колени, села на него верхом, и в глазах ее не было и тени обиды или упрёка.— Но еще минутка-то у нас есть? Тогда корми меня, я со вчерашнего утра не ела, прямо голодный обморок.— Он хотел было встать, пойти на кухню, но она не отпустила его, наклонилась и, прежде чем поцеловать, спросила: — А когда я поем, еще минутка у нас найдется?..

И все — сначала.

Утром он посадил ее в трамвай и глядел ему вслед, пока он не исчез из вида, все еще не отдавая себе отчет в том, что произошло, что на него нашло, не понимал, что же будет дальше, но и знал наперед, что ни забыть того, что произошло, ни уверить себя, будто то, что произошло, не оставит по себе следа и не поколеблет его жизнь, он не сможет, да и не захочет.

Но когда трамвай скрылся за поворотом Яузского бульвара, все встало на прежние свои места — был Логвинов, был Анциферов, были трусость и предательство, а Ольги — как не бывало.

И Маросейку будто подменили — торопливая толпа на тротуарах, очереди у магазинов, плоские, недобрые и готовые к худшему лица.

16

Рассказать Ольге о Логвинове, Анциферове и своем отступничестве он так и не осмелился. Ирине он тоже ничего не скажет, решил он, она и так наверняка все знает из первых рук, да и кто, как не она, мог рекомендовать его Логвинову?! В этом он был совершенно уверен, тем более что после своего возвращения с дачи она, ни о чем его не спрашивая, как-то, казалось ему, странно, будто с ожиданием чего-то, смотрит в его сторону.

И Рэм Викторович, скрепя сердце и постоянно ощущая его свинцовой холодной тяжестью, принял единственное, на его взгляд, и, в итоге мучительных раздумий и расчетов, возможное и безопасное решение: написать потребованную от него Логвиновым записку — записку? не донос ли? — как можно осторожнее, обтекаемее, уходя от прямых инвектив, округло и почти двусмысленно, говоря больше о стихах из романа, чем о самом романе, и ни разу не употребив слов «антисоветский», «безыдейный» или еще каких-либо из тех, которые наверняка от него ждали. И — сидеть тихо, залечь на дно, не напоминать о себе, никуда не соваться со своей запиской, покуда сам Логвинов не вспомнит о ней и не затребует его, Иванова, на правож.

А что будет, если о нем не забудут, прижмут к стенке,— об этом Рэм Викторович старался не думать.

Но Анциферов как в воду глядел: на всевозможных, одно за другим гневной чередой, собраниях и обсуждениях никто уже не говорил о самом романе, автора клеймили не за то, что он его написал, а за то, что передал за границу и получил там Нобелевскую премию, и именно за это требовали беспощадного осуждения и наказания, вплоть до выдворения из страны, — не до Иванова с его запиской уже было: речь шла об оскорбленном достоинстве державы.

Потом был отказ от премии, долгое, в полтора года, умирание в разом обезлюдевшей, опустевшей переделкинской даче, похороны в солнечный до рези в глазах майский полдень, могила под тремя соснами...

Рэм Викторович долго боролся с собою: ехать или не ехать на похороны, и не из одной боязни, что его там заметят и доложат куда надо соглядатаи, которых наверняка будет пруд пруди, и все-таки решил не ехать — не Раскольников же он, чтобы приходиться к двери старухи-процентщицы! — из гложущего, ошутимого почти физически чувства вины и стыда за свое пусть и несостоявшееся, а, никуда не денешься, отступничество.

И хотя Логвинов не звонил, не напоминал о себе и об ожидаемой им записке, о которой, по-видимому, там за ненадобностью действительно забыли, он не стал ее уничтожать — опять же не Гоголь он, сжигающий в камине «Мертвые души», он и сам теперь, казнил себя Рэм Викторович, что-то вроде мертвой души! — а лишь сунул ее поглубже за медицинские, теперь уже никому не нужные, книги покойного Василия Дмитриевича на самой верхней, недоступной полке.

Но еще долго, собственно говоря, до самого того дня, когда он разошелся с Ириной и по взаимному, впрочем, навязанному Ириной, решению съехал с квартиры в Хохловском переулке и окончательно поселился на даче, — еще долго Рэм Викторович, работая за письменным столом в желтом круге лампы, который, однако, уже не отсекал его от всего остального мира за стенами дома, не создавал ощущения уюта, покоя и безопасности, — еще долго Рэм Викторович ловил себя на том, что, потеряв нить мысли, не может оторвать взгляда от угла верхней полки стеллажа, у самого потолка, где за книгами хранилась — зачем? в ожидании чего? в расчете на что? — тощая папка с его запиской.

И долго еще в каждом телефонном звонке подозревал Логвинова.

И — ни слова о том, что произошло, с женой, отчего трещина, пролегла между ними, еще больше увеличивалась и росли раздражение и желание во всем обвинить ее, Ирину. С давешними мечтами о тихой, скромной и достойной жизни настоящего ученого, в покойном кресле с пообтершейся обивкой, под мягким светом торшера, за крепостными стенами книг от пола до потолка — со всем этим приходилось расстаться.

Однако при всем при том жизнь в доме катилась, если посмотреть со стороны, по все той же наезженной, неизменной колее, словно бы ничего и не случилось, все и вся находятся на своих, положенных им местах.

И даже Ольга, которая должна была, казалось, решительно перевернуть вверх тормашками жизнь Рэма Викторовича, — даже Ольга странным, противозачинным образом как бы вписалась в эту его жизнь, стала просто еще одной составляющей ее частью. Хотя, убеждал он себя, если что и было в его нынешней жизни настоящего, неподдельного, чего бы он никому не позволил отнять у себя, была Ольга.

Слова «любовь» Рэм Викторович старался и про себя не произносить — это обязало бы его решиться на какой-нибудь необратимый поступок, уйти из дома, жениться на Ольге, начать все сначала, а покуситься на это Рэм Викторович не находил в себе ни сил, ни воли.

И все же жил он от одной встречи с ней до другой, а между встречами была одна щемящая, холодная пустота, словно туман, сквозь который идешь, не зная куда и зачем, в надежде, что куда-нибудь да выйдешь.

Встречались они у нее, в крохотной, три метра на четыре, комнатке с низким потолком и сиротской обстановкой, которую она снимала в Перове, почти за городом, у тюремного надзирателя из Бутырки, добрейшего и всегда пьяненького дяди Пети и его жены тети Тани — так их звала сама Ольга. В ее каморку приходилось пробираться через их комнату, и Рэм Викторович старался это сделать как можно быстрее и незаметнее, пряча глаза, на ходу молча ставил на стол бутылку водки для хозяина и клал плитку шоколада для хозяйки.

И любовью они вынуждены были заниматься тоже молча, в вечной опаске, как бы не заскрипела под ними панцирная сетка узкой железной койки, и от этого Рэм Викторович испытывал едкое унижение.

Приходя из Бутырки домой, дядя Петя съедал полную кастрюлю постного борща, от которого вся крохотная квартира в барачном доме пропахла капустой и чесноком, и садился играть с тетей Таней до темноты в подкидного дурака. Иногда они заводили — из деликатности, чтобы не слышать, что творится за дочатой хлипкой перегородкой, — старый, скрежещущий при каждом обороте пластинки патефон. Пластинка, собственно, была одна: на одной стороне —

«Едем мы, друзья, в дальние края», на другой — «Комсомольцы, беспокойные сердца», под эту музыку долгие месяцы, пока Ольга не переехала на другую квартиру, и проходила ее и Рэма Викторовича любовь.

Он все больше привязывался к Ольге, безнадежно пытался убедить себя, что, как ни чурайся он этого слова, а любит ее, пусть и по-своему, как умеет, опасно и с оглядкой, но ответа на вопрос: что дальше? — не находил и не видел. И вместе с этой неразрешимостью росло унижительное, неотступное чувство своей нечистоты и вины перед Ириной и дочерью.

Каково же было от всего этого Ольге! — приходило ему в голову, но жалел он при этом не Ольгу, а себя.

И все же они, как бы не понимая или не замечая всей безысходности своего положения, продолжали жить этой невыносимой для всех них жизнью — Рэм Викторович, Ирина, Саша, Ольга. Двужильные мы, что ли?! — взмалчивался Рэм Викторович, но выхода найти не умел.

Еще он ревновал, тайно и бессильно, Ольгу к тем наверняка не просто рисующим с натуры, а и вождедеющим эту натуру прыщавым, с салными длинными волосами и пальцами в разноцветных мелках, юнцам, перед которыми она позировала совершенно голый. И когда однажды она сама заговорила о том, что пора и честь знать, не такая уж она молоденькая, чтобы выставлять свою наготу на всеобщее обозрение, и надо бы переменить профессию, вернуться к той, которой она занималась прежде, до того как стать натурщицей, — машинописи, он не скрыл своей радости и сам же, через бывшего товарища по университету, устроил ее на работу в издательство детской литературы, где она, по ее же словам, могла еще и подрабатывать печатанием «левых» рукописей.

Анциферов не мог простить себе последнего, на скамейке бульвара, разговора с Ивановым. Какого рожна, чего ради он не то что разоткровенничался, а прямо-таки вывернул перед ним душу наизнанку?! Что Иванову до его, Анциферова, жизни, что он в ней может понять? Они — из разного времени, из разных, можно сказать, геологических эпох, он и Иванов. Тому обрубить все концы, распрощаться со своей прежней, такой короткой, по сравнению с его, Анциферова, жизнью и прежними богами — невелик труд и еще меньше раскаяние, да и в чем ему раскаиваться, в каких грехах, желторотому еще сосунку в те времена, которые Анциферов как раз и не мог теперь простить себе, которые сидели в не знающей жалости памяти рыболовным крючком в брюхе подсеченной рыбы?..

И не Иванову бы, так и оставшемуся в душе безусым лейтенантиком, не то наивным до смешного, не то просто кроликом, насмерть замороженным немигающим взглядом удава, — не ему же, который к тому же только что, получаса не прошло, наложил от потного страха полные штаны в кабинете Логвинова, вываливать всего себя, со всеми потрохами? И — зачем? С какой стати?..

Нет, он не врал ни Иванову, ни себе самому насчет своей веры в правильность и справедливость того, что он делал в те давние времена, — вера была, и он никогда не ставил под сомнение то, чем жил и чему служил, это ему и в голову не могло прийти, — и в этом-то и была, как он сейчас понимал, главная его беда, главная глупость, которая потяжелее и непростительнее греха: он-то свято верил, да то, во что он верил, обернулось на поверку замешанной на страхе ложью, и он не видел, не понимал, не задумывался над этим только потому, что не смел, не позволял себе задуматься и увидеть. Ложь и страх. И главное — то был не его личный, отдельный, им самим выношенный и открытый для себя смысл жизни, а — стадный, всеобщий, один на всех и по одному этому — ложный смысл, а значит — и ложная вера, как бы освобождавшая его от личной ответственности за то, во что он верит и что делает именем этой веры. Стадо, и в нем

ты либо безгласная овца, приговоренная к бойне, либо баран с колокольчиком на шее, натасканный на то, чтобы вести на заклание стадо. И разница невелика: баран тоже не по своему разумению, не по своей воле ведет овец на бойню, не он сделал этот выбор, а его поставили впереди стада те, кто натаскал его на эту работу. И рано или поздно не миновать ему подставить горло под тот же нож. Либо — вот как он сейчас — с опозданием в целую, прожитую во лжи и слепоте жизнь прозреть, понять, оторопеть и ужаснуться и не мочь ничего ни изменить в этой своей прошлой жизни, ни забыть ее, ни начать новую с чистого листа: поздно.

И еще мучило его и не давало покоя то, что Иванов, к которому неведомо почему некогда привязался неприкаянной, ноющей от одиночества душою, оказался совсем не таким, каким он себе его представлял, что и в Иванове он тогда, на бульваре, обнаружил ту же слепую, покорную стадность, имя которой — страх.

Страх, страх, страх, на одном страхе все в этой забитой, забытой Богом стране и держится: страх, страх и страх.

Вот почему не надо было, бессмысленно было говорить Иванову то, что он ему сказал, потому что, знал Анциферов, что бы он ему ни сказал, страх в нем сидит сильнее всех доводов и упреков, и он не сомневался, что Иванову никуда не деться и что он, пусть и презирая самого себя, напишет то, чего от него ждут.

Но он чувствовал к Иванову не презрение, а одну жалость и свою — барана-вожака — вину.

И еще пришел Анциферов к выводу, что если уж Иванову его не понять, то где уж понять и простить его внуку, который наверняка ушел от него еще на одну вечность дальше. Не надо ему искать внука, тешить себя иллюзией, что внук выслушает его, услышит и если и не простит, так хоть поймет. Не будет этого, потому что не может быть никогда...

Вот тогда-то он и решил окончательно уйти на пенсию и, как бы принимая на себя добровольно епитимью, доживать свои дни именно в доме ветеранов партии, то есть вернуться навечно в стадо, в котором он и прожил всю жизнь и которому служил верой и правдой: в стадо не ведомых на бойню овец, а — вожаков-баранов, еще более овец ничего иного, как заклания, не заслуживающих.

Да и не откупиться ему от своей печали двусмысленной усмешкой: там, в Переделкине, от дома ветеранов до партийного коммунального кладбища, похожего именно что на окаменевшее стадо, все еще источающее трупный запах бойни, рукой подать, ни тебе забот, ни хлопот, похоронят в лучшем виде, согласнo одним на всех правилам и ритуалу.

Чем невыносимее и тягостнее становилась жизнь в семье, чем неразрешимее представлялось Рэму Викторовичу будущее его отношений с Ольгой, тем настойчивее его тянуло в мастерскую Нечаева, в шум и бестолочь ежевечерних, изрядно подогреваемых водкой посиделок с молодыми художниками, не обремененными, казалось, никакими заботами, кроме интересов их ремесла и бесконечных споров о новом искусстве, для которых мастерская состоявшегося, вопреки неприятию со стороны всесильной державности, крепко стоящего на ногах мэтра была чем-то вроде дискуссионного клуба, не говоря уж — места, где можно было наесться и напиться «на халяву».

Эти все более частые посещения мастерской стали для Рэма Викторовича чем-то вроде того, чем еще недавно были для него дом в Хохловском переулке и золотой круг света настольной лампы в кабинете покойного тестя, ограждавший его от враждебного, насупленного, чреватого вечной тревогой мира за пре-

делами этого круга. Тут, в мастерской, в бесконечных спорах, где все перебивали друг друга и никто никого не слушал и не слышал, а внешний мир, казалось, никак не волен был над их надеждами на будущую несомненную и скорую славу, Рэм Викторович забывался, стращивал с себя неразрешимые вопросы и сложности этого внешнего мира и мог хотя бы на время не думать об Ирине, об Ольге, о том, как с неизбежностью снежной лавины надвигается на него крах всего, что у него есть, чего он добился единственно собственными силами и трудами, к чему так стремился смолоду и что оказалось таким непрочным и зыбким.

И еще — подспудно, подсознательно, не отдавая себе в том отчета, как бы замаливая грех своего недавнего отступничества, он с удвоенной убежденностью и вполне, как он уверял себя, искренней страстью вступался за самых радикальных воителей нового искусства, писал и говорил в их защиту всякий раз, как представлялся случай. И более всего бывал собою доволен, когда в официозной печати читал отповеди на свою слишком крайнюю позицию — это тоже ему казалось некоей искупительной платой за постыдную историю с Пастернаком. Хотя при этом в глубине души, покопайся он в ней, все еще жило воспоминание о «Черном квадрате» и вместе с ним — смутные сомнения в том, что абстрактные, беспредметные, зачастую и откровенно рассчитанные только на эпатаж опусы его подопечных действительно ему нравятся или хотя бы понятны; но это было нечто вроде вериг, которые он сам на себя навесил, чтобы искупить грех.

Об Ольге же ни он с Нечаевым, ни Нечаев с ним никогда не говорили, будто ее вовсе и не было ни сейчас, ни прежде, хотя, конечно же, Нечаев наверняка знал, не мог не знать — слухами земля полнится, да еще в таком узком кругу, как этот их круг, — о нем и Ольге все.

Нечаев, несмотря на то что ему по-прежнему высочайше не дозволено было выставляться, становился все знаменитее, пусть и в том же узком кругу, и доброжелатели, и недруги, а и тех, и других было пруд пруди, признавали его первенствующее место среди непримиримых сокрушителей замшелого, обьевшего до отрыжки гонорами и премиями огосударственного, всегда готового к услугам и мелким пакостям искусства. Его офорты — он сам придумал и наладил специальный станок для тиражирования своих работ и ловко научился ими торговать, — шли нарасхват, особенно среди московских иностранцев, получал весьма солидные предложения из заграницы на оформление различных публичных зданий; даже некоторые отечественные его почитатели из мира естественных наук — «физики», а не «лирики» были в ту пору в моде и позволяли себе то, чего не могли позволить вторые, — добивались, чтобы именно ему доставались заказы на панно, витражи и настенные росписи в возводимых институтах и лабораториях. Дело дошло до того, что не кто иной, как Моссовет поручил ему вылепить и отлить в бронзе барельеф на фризе московского крематория, учреждения вполне, что называется, титульного. А уж когда он получил письмо не то, по его словам, от самого Папы Римского, не то от какого-то кардинала или архиепископа с предложением — даже не просто предложением, а с настоятельной просьбой! — взять на себя все декоративные работы в строящемся новом огромном кафедральном соборе — и не где-нибудь, а в Бразилии, чуть ли не в самом Буэнос-Айресе! — слава его, не говоря уж о самоуверенности, перевалила за все воображимые пределы.

Теперь он относился ко всяческим — скопом — Сикейросам, Рибейро, Пикассо и даже Дали демонстративно свысока и снисходительно, лишь пожимая саркастически плечами при упоминании их имен, а к Рафаэлю или Леонардо — как к равным, более того, как к сотоварищам по одной артели. И монологи его об искусстве, то есть о самом себе, о своем в нем месте и роли, становились все бесконечнее, все громогласнее.

И все же Рэм Викторович продолжал его любить и нуждаться в нем. Впрочем, это была не просто любовь, объяснимая восхищением его талантом и бью-

щей через край жизненной силой, а и некая добровольная подчиненность ему, признание, не без зависти, в нем того, чего в самом Рэме Викторовиче не было, не хватало: уверенности в себе, безбоязненности эту уверенность выказать, способности отстоять свое право на нее. И — никакой робости, ни тени раздвоения личности или сомнений в том, что так, и только так, можно и должно жить.

— А это очень просто,— говорил Нечаев, когда Рэм Викторович, не умея промолчать, заговаривал с ним об этом,— проще пареной репы. Просто надо себе раз и навсегда сказать, что ты — один такой на всем белом свете. Не лучше или умнее или бойчее других, а просто — такой. И что никуда тебе от себя такого не деться. Ты думаешь, я хозяин своему таланту? Да никогда! Я его раб, это он делает со мной все, что хочет, надо только не мешать ему — вот и вся недолга. Не мешать самому себе быть таким, каким уродился, и плевать на то, нравишься ты такой кому-нибудь или не нравишься. Рано или поздно, а — понравись, сквозь зубы, через губу, а придется им тебя признать. Это и есть, если хочешь знать, альфа и омега всякого таланта — не стараться понравиться или заставить всех этих членистоногих признать тебя и, уж во всяком случае, не ждать от них этого, а поставить мордой перед фактом: я — такой и живу так, а не иначе потому, что я — такой. Знаешь, что во мне самое главное? Не талант, этого не у меня одного по самую завязку. Главное — инстинкт независимости. Не чувство, не идея рассудочная, а именно инстинкт на клеточном уровне, на физиологическом, как анализ мочи. А уж над моей мочой никто не властен, над лейкоцитами-тромбоцитами, пейте, какая есть. Может, и мой талант,— добавил он задумчиво,— тоже всего-навсего производное от состава моей мочи. — И заключил: — А на свою мочу я не жалуясь.

Но, естественно, ни разрешения принять заказ от Папы Римского, ни визы на выезд в Буэнос-Айрес Нечаеву никто не собирался давать, так прямо ему и говорили во всех инстанциях, куда бы он ни обращался: живите и пишите, как все, не воображайте о себе слишком много,— что Нечаев переводил как «сидя в говне, не чирикай». И тогда-то — движимый отнюдь не политическим протестом, не одним желанием прославиться в далекой Бразилии и на весь соответственно мир, не гонорара — небывалого в истории монументалистики, как он уверял,— ради, а именно и единственно, настаивал он, все тем же составом мочи, изменить который не мог никто, в том числе и он сам, Нечаев решил уехать насовсем. «Если уж что делать,— острил он,— так по-большому, даже если речь идет о моче».

Рэм Викторович с тоскою думал, что если кого ему и будет недоставать, так это Нечаева. Может быть, даже не одного Нечаева, а вообще мастерской его, его молодых друзей, их шумливости, неистребимой веры в собственное будущее, помимо воли бодрящих его и отвлекающих от мыслей об Ирине, Ольге и вообще о том, как ему поступить и как развязать этот узелок, который на самом деле не развязывать надо, а рубать. А он знал про самого себя, что не тот он человек, который решится, не загадывая ничего наперед, замахнуть топором.

За этими неотвязными мыслями он и не заметил, что Исай Левинсон, прежде непременный завсегдатай мастерской, совершенно перестал в ней появляться, а когда однажды спросил о нем Нечаева, тот многозначительно ухмыльнулся:

— Исайка в глубокое подполье ушел, роет подкоп под Кремль, а не то даже — безумству храбрых поем мы песню — под самую Лубянку. Если, конечно, не сидит уже там на казенном коште. Кстати говоря, он, видишь ли, ударился в православие, крестился, представь себе, как будто этим крайнюю плоть можно обратно нарастить.— Но ничего более путного не мог или не хотел объяснить.

Меж тем собрание картин молодых, опекаемых Рэмом Викторовичем ниспровергателей всего и вся, продолжало умножаться, не хватало для них уже стен в обширной квартире в Хохловском, и Ирина настояла, чтобы он перевез их на

дачу, где, собственно говоря, им и место. Рэму Викторовичу ничего не оставалось, как покориться — его отношения с женой и без этой, как она называла, «мазни» дошли до крайности, он предпочел их не усугублять. К тому же втайне даже от себя, предчувствуя неизбежное, лелеял мысль уйти из опостылевшего ему университета, жить одними гонорарами и переехать в белую, заснеженную тишину дачного житья.

И — как в воду глядел. Впрочем, случилось это не скоро и само собою — ему предложили, и он тут же с радостью согласился перейти из университета, куда должен был являться ежедневно, в Институт искусствознания, где был лишь один «присутственный» день в неделю и где уместнее казался модернистский душок его печатных выступлений, нежели в ошалевшей от страха дать идейного маху «альма матер». Да так он окажется и подальше от недреманой опеки Ирины, ставшей к тому времени ни много ни мало секретарем университетского парткома и никогда не одобрявшей его вольностей. Но до полного освобождения и вольной жизни на даче с потрескивающими и плюющимися золотыми искрами сосновыми поленьями в камине было еще далеко.

Однажды в мастерской Нечаева появилось новое лицо — молодой человек чуть постарше прочих завсегдатаев, лет тридцати, и в отличие от них молчаливый и сдержанный, с пристальными и как бы непроницаемыми, поди угадай, что в них, глазами, напомнившими Рэму Викторовичу с первой же встречи чьи-то другие, знакомые глаза, а вот чьи — никак было не вспомнить, хотя разгадка, казалось Иванову, вот она, руку протяни, а — не давалась.

— Ба-альшой талант! — отрекомендовал Рэму Викторовичу пришельца Нечаев. — Да-алеко пойдет, если ноги ему эти сволочи не перебьют. Тоже, между прочим, монументалист. — Сказал так, будто само это ремесло было непреложным залогом достоинств нового гостя. И как бы снимая все возможные кривотолки: — Весь в меня. То есть со временем станет, если, разумеется, сдюжит.

Весь тот вечер Рэм Викторович нет-нет, а все поглядывал в сторону гостя, ища ответа в памяти. И вдруг будто ожгло: да это же совершенно Анциферова глаза! Та же в них не очень-то и скрываемая тайная усмешка, те же жесткость и выражение собственного, не требующего объяснений и доказательств, превосходства, будто за ним стояла некая одному ему внятная сила. Анциферов, сомнений быть не может — Анциферов!

Рэм Викторович не удержался, протиснулся к нему сквозь толчею, спросил:

— Я хорошо знаю и многим обязан одному человеку, поразительно на вас похожему. Еще со времен войны, вернее, сразу после войны. Ваша фамилия не Анциферов ли?..

— Нет, — неприязненно ответил тот, — совсем даже наоборот. Так что, вернее всего, никакого отношения к вашему фронтовому другу я не имею.

— Если хотите, я вас сведу с ним, — настаивал, сам не понимая, чего он добивается и почему это ему нужно, Рэм Викторович.

— Зачем это мне? Да и ему зачем? — усмехнулся тот, несомненно, анциферовской же усмешкой. И отошел, ничего не добавив, к Нечаеву, который со стаканом водки в руке самоупоенно витийствовал о своем.

(Окончание следует.)



Александр ФУРСОВ

Китайский почерк

Ответ Конфуция

Христа-ребенка вижу на иконе.
Младенец Кришна держит мир в ладони.
«Старик-дитя» — так звали Лао-цзы.
Они все дети — эти мудрецы.
Спрошу Конфуция: «Скажи, седой скиталец,
Так, может, мир не старится, не старец?
Так, может быть, и не наступит осень
И мир, как лес, свою листву не сбросит?
Так, может, мир все время молодеет?
Но свежий хлеб — он все же зачерствеет,
И чистая водица — замутится,
И милая уйдет — не возвратится,
И день себя по капле точит, точит
До ничего, до черноты, до ночи».
Старик Конфуций словно и не слушал,
Но как огнем вдруг обожгло мне душу:
«Сок виноградный бродит и, бродя,
Вином становится. Вино — его дитя».

* * *

Если к Китаю равнодушны,
Вы заметите без усилья:
Крыши у пагод похожи на крылья —
Вот почему они так воздушны!

* * *

Ивовых вблизи озер,
Где пагоды по берегам,
Где на рассвете острый взор
Скользит по пикам ближних гор
И различает горный храм, —
Давно когда-то жил я там.

Мой дом скрывали ветви ив.
В своем отшельничестве я
Был тих и многотерпелив.

Вино варил из диких слив,
Над сутью думал бытия —
Где часть нетленная моя?

И вот вернулся я сюда.
Озерный так же тих залив.
Как зеркало, блестит вода.
Она блестела так тогда,
Когда вино из диких слив
Варил я у прибрежных ив.

Прошли века, а не года.

* * *

Я совсем не знаю китайского языка,
 И произношение мое никуда не годится.
 Но, если сдвинуть века, наверняка
 В те века я мог в Китае родиться.
 Но если сдвину века до корней судеб,
 Если жизнь свою прослежу до истока —
 Я Россией рожден и в ней духом окреп,
 Но в Россию родиться пришел с Востока.
 Я иду по Пекину и все узнаю.
 Еще больше завтра, наверно, узнаю.
 Вспоминаю прошлую жизнь свою,
 Жизнь в Китае свою припоминаю.
 Я потоком людским каждодневно влеком,
 И — спадает завеса, обостряется зренье.
 Почему тот старик мне странно знаком?
 Кем он был мне тогда, в своем прошлом рожденье?
 Все, что было когда-то, оставляет свой след,
 И глубинная память хранит эти меты.
 Почему я смотрю этой девушке вслед?
 Мы одним были чувством когда-то согреты.

* * *

Мальчик на скамейке рядом с нами
 В пиджачишке, который не по росту,
 То дремлет, то, шевеля беззвучно губами,
 Читает, а чтение дается непросто.
 Видно, учится он в сельской школе,
 А в Пекин приехал в гости к кому-то.
 Но его не ждали. И вот поневоле
 На Южном вокзале встречает утро.
 Но отчего мне так его жалко?
 Какая-то в нем беззащитность, робость...
 На Южном вокзале — народу вповалку.
 На Южном вокзале — народу пропасть.
 На Южном, думали, поезд обратный,
 Ночной на Чанчунь, но зря надеялись.
 Глазеют китайцы: им непонятно,
 Что ночью здесь делают два европейца.
 А мы ночуем на Южном: Южный
 Вокзал для людей третьего сорта.
 Пекин и нас встретил не очень радушно,
 Но русский — он человек не гордый.
 Пекин раздавил бы своей громадой,
 Все силы забрал бы своею властью,
 Если б не тайная тихая радость,
 В сердце струящаяся от счастья.

*Подражаю древним
поэтам-философам*

Иероглиф из двух состоит частей.
 Тайну его ты постичь сумей.
 Левая и верхняя — значение.
 Правая и нижняя — звучание.
 ...В чем наше предназначение,
 Рождения смысл и прощания?

В роще бамбуковой шум — возвращаются прачки.
Грустно, когда нету со мной рядом
Той, что весну в складках одежд прячет.

* * *

Ветшает тело, как ветшает платье.
Как по чьему-то высшему заданию,
Все движется, стремится к увяданью.
А почему — могу ли это знать я?
Все увядает. Медленно ли, быстро ль —
Урочный все равно раздастся выстрел.
И опадет листва, цветы увянут,
И деревья так беззащитны станут.
Как ни примерьте жизнь, как ни измерьте —
Все движимо к концу, стремимо к смерти.
Но стать невидимым — исчезнуть это разве?
Быть легким, невесомым — это праздник.
Но отчего люблю твое так тело?
Как грудь в моей ладони тяжелела
Твоя — вдруг вспомню, — как тогда легко мне.
Приди ко мне, собой меня наполни.

Из Вэй Инъю

Осеннею ночью тоскую о вас, мой друг.
Стихи сочиняю — о том, как свежо в горах.
Кедровая шишка упала — чуть слышный звук.
И вовсе неслышно куда-то прошел монах.

* * *

В храме буддийском множество разных божеств.
У божества важен каждый — и маленький — жест.
Жест — это символ, ключ к потайным дверям.
Жест указывает, а открывай их ты сам.

* * *

В парке сегодня пустынно.	На деревянных стержнях —
Только на велосипеде	По кедровой аллее
Продавец райских яблок —	Быстро мелькнет. Как будто
Шариков в сладком сиропе	Розовый легкий веер
	Кто развернет и свернет.

Пишу о старике-жестянице, который работает на углу улиц Хун Чи и Куан Пин

Он листы жестяные
Сворачивает в легкие трубы.
Он грубому миру
Придает мягкость, округлость.
На своем он на месте.
В движеньях — уверенность, четкость.

Жесткость он жести
Превращает в нежность и чуткость.

И вдруг ко мне жестко
Судьба отнесется, как раньше,
Я на перекресток
Приду: «Здравствуй, мудрый жестянщик!»

Восхищаюсь искусством разливания чая

Чайник с длиннющим носиком тоненьким.
Официант-виртуоз
Ловко орудует этой соломинкой —
Все до капли донес.
Смотришь — и будто в нем напряжения
Нету — читает с листа.
Все отработано, в каждом движении —
Сила и простота.
Знает — особое надо внимание
Чаю. И в этом он прав.
Вот в чем секрет благоухания
Обыкновенных трав.

Две яблони

На палочку яблоки нишет старик.
Расплавленным сахаром их заливает.
Две яблони старых — живет он от них.
На рис на насыщенный себе добывает.

Его покупатели — молодежь:
Студенты, курсанты, влюбленные пары.
И ты иногда к нему завернешь —
Слывешь сладкоежкой ты ведь недаром.

Напиток из рисового отвара

В ресторанчике этом перед едой
Вам рисовый подадут отвар —
Напиток необычайно простой,
Но для желудка бесценный дар.
На вкус он почти безвкусный, но
Истинный вкус ведь неощутим.
Вспомню как дорогое вино
Его, когда буду в разлуке с ним.

Пишу после посещения фруктовой лавки

За два юаня в лавке фруктовой
Купил необычный плод.
Вкус у него непривычный, новый.
Сок обильно течет.
Таким и одним насытишься вволю.
Двух и не одолеть.
Завтра купить еще один, что ли,
И после начать худеть?

* * *

Китай просыпается рано
 И трудится неустанно.
 Земли небольшой клочок:
 Точит ключи старичок.
 А рядом жаровня дымится —
 Пожалуйте подкрепиться.
 Чуть дальше рынок фруктовый.
 Ну как не зайти туда снова!
 Сочные груши с юга
 Куплю для школьного друга.
 Хотите узнать свой рост и вес —
 Все для вас сделают прямо здесь.
 Лавки, лавчонки, лотки —
 Денег не береги!
 Много с тебя не возьмут.
 Все очень дешево тут.
 Поторговаться можно,
 Если с деньгами сложно.
 Торгуйся. Китаец уступит не сразу.
 Но если вы знаете их две-три фразы,
 Умело вернёте их — что тут начнется!
 Вокруг вас сразу толпа соберется.
 Будут стоять, обсуждать, восхищаться.
 Торговцу в цене придется ужаться.
 Монаха буддийского статуэтку
 Ты получил за подобную сметку
 В подарок в одной сувенирной лавчонке
 За то, что в китайском ты дока, ученый.

Пишу стихи, сметая пыль

В Чанчуне пыльно. Пыль мелка.	И начинает дуть опять.
И, если дует ветер сильный,	Все дует. Ну когда же штиль?
Пыль покрывает все обильно.	Ну кто же с этой пылью сладит?
И нет спасенья от песка.	Пишу стихи, сметая пыль,
Сегодня вроде бы затишье.	Что оседает на тетради,
Тетрадь открою. Записать	На остывающих словах.
Строку или четверостишие —	Та пыль — тысячелетий прах.

* * *

Я был неизвестным поэтом великой Танской эпохи.
 История не сохранила мои стихотворные строки.
 Но, если вы на китайский стихи мои переведете,
 Вы мысль сумасшедшую эту почувствуете, поймете.
 В Чанчуне, Шэньяне, Пекине я словно родился повторно.
 Две жизни — в Китае, в России — как две строки
стихотворных.
 Века — двадцатый, десятый — в рифме скрестились точной,
 Нитью соединились необычайно прочной.
 Связь во мне стала понятна двух дорогих мне стран:
 Снится — я был поэтом великой эпохи Тан.



Книга Легиона

РОМАН

1

От ощущения странности всего сущего, если уж таковое возникло, человек не волен отмахнуться. Людьюми рациональными оно воспринимается как признак опасности, и осознание того, что это всего лишь реакция психики на неспособность ума адаптироваться ко «вновь открывшимся обстоятельствам», не приносит облегчения.

В нашем случае это неприятное ощущение странности испытывал человек, у которого, казалось бы, должен быть стойкий иммунитет против подобных эмоций, а именно — следователь по особо важным делам районной прокуратуры.

Речь идет о прокуратуре Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга и Маргарите Климовне Софроновой, среди коллег и подследственных известной под прозвищем «Марго». Смутившая ее душевный покой история началась две недели назад с дела для профессионала пустякового, вполне рядового. Некий безработный научный сотрудник покончил счеты с жизнью, вскрыв себе вены, и его самоубийство вообще не попало бы к «важнячке», то есть следователю по особо важным делам, если бы прокурору не пришла блажь зацепиться за одно, по сути, незначительное обстоятельство. Девяносто процентов вскрывающих себе вены пользуются бритвой и только десять процентов — остро отточенным ножом. Начинающие самоубийцы и симулянты делают на запястье один или два поперечных надреза, а затем либо теряют сознание, либо усаживаются поудобнее, чтобы дожидаться смерти с достоинством. Но живучесть организма, как правило, берет свое, кровь сворачивается, рана закупоривается, и суицидная попытка заканчивается неудачей. Грамотные же люди погружают руки в таз с теплой водой, и тогда успех обеспечен. А этот дилетант, даром что научный работник и должен бы знать про теплую воду, взял ножницы и варварски себя разодрал, чем и возбудил подозрительность прокурора. Тем не менее после следствия самоубийство было подтверждено, и Марго подготовила дело к сдаче в архив. И тут, как назло, на другом конце города произошла история, в которой кто-то уже на уровне городской прокуратуры усмотрел возможную связь с последним делом Марго. В результате на нее свалилось еще одно дурацкое дело, которым по справедливости должен был заниматься какой-нибудь следователь в далеком Красногвардейском районе.

Бизнесмен средней руки, в прошлом заведующий магазином, а ныне владелец нескольких кафетериев, ни с того ни с сего убил любовницу, одну из своих буфетчиц, и сделал это примерно таким же варварским методом, какой использовал для самоубийства вышеупомянутый научный работник: распорол ей вены ножом. Затем он скрылся и обнаружился только через неделю в гостинице города Курска, где совершенно нелогично зарегистрировался под собственным

именем, предъявив паспорт, хотя наверняка знал, что находится уже во всероссийском розыске. Когда его пришла брать местная опергруппа, он лежал на гостиничной койке еще теплый, со вскрытыми венами. Попытки реанимации не увенчались успехом. Экспертиза констатировала самоубийство с помощью складного ножа, и это казалось странным, поскольку у него было при себе пистолет, с которым, как выяснилось, он вообще никогда не расставался.

В результате несложных следственных действий Марго установила, что мотивов для самоубийства не было. Бизнесмен отличался устойчивостью психики, был крайне расчетлив и в серьезных делах, и в мелочах. Сколько-нибудь значительных долгов за ним не числилось, с местной мафией он исправно рассчитывался, и никто на него не наезжал. Конфликтов в семье не было. Убийство любовницы тоже выглядело абсурдным: девушка была одинокая и покладистая, никаких претензий к нему не имела, принимая необходимость спать с хозяином как естественную и почетную обязанность.

У Марго это дело вызвало уже не ощущение странности, а крайнее раздражение — она не переносила бессмыслицы. Если бы не подтвержденные следствием факты, можно было бы подумать, что ей кто-то специально морочит голову.

Постепенно подобных дел накопилось более двух десятков, и Марго пыталась их систематизировать. Все случаи разделялись хронологически приблизительно недельными интервалами — от пяти до восьми дней. Географически же девяносто процентов (двадцать один из двадцати трех) локализовались в Петербурге и его окрестностях. Марго пришла к единственно возможному выводу, что имеет дело с изуверской преступной группой (не исключено — сектой), по способам внушения и уровню конспирации превосходящей все, с чем ей ранее доводилось сталкиваться.

Но начальство кисло отнеслось к ее теоретизированиям, не желая вешать на себя целую кучу нераскрытых преступлений, и в дело пошли заключения авторитетных специалистов-психиатров, гласившие, что хотя судебная психиатрия и не знает такого рода эпидемических заболеваний, но и не может их исключить в принципе.

После небольшого спора было достигнуто компромиссное соглашение: все дела отправляются в архив, но предварительно будут введены в память компьютера Марго. Та же участь ожидает и будущие дела подобного рода — любопытно, что прокурор района, как и Марго, не сомневался, что поступление дел не прекратится. Марго может тихонько их подрабатывать, причем обещает пока не высовываться, а начальство обязуется смотреть сквозь пальцы на то, что она будет тратить процентов двадцать (ну ладно уж, в крайнем случае тридцать) рабочего времени на свои изыскания.

Марго для начала решила провести тщательный обыск в квартирах всех жертв (она упорно не соглашалась считать их просто самоубийцами). Но обыск бесполезен, если не знаешь, что ищешь. Письма с угрозами?.. Это было бы идеально, однако оперативники их наверняка бы заметили при осмотре мест происшествия: ведь это первое, после орудия самоубийства, что ищут в таких случаях. Обнаружить прямые свидетельства связи между жертвами и насильниками она не рассчитывала, но надеялась найти повторяющиеся обстоятельства — посещение одних и тех же собраний, членство в клубах и обществах, поездки в одни и те же места, наконец общих знакомых или хотя бы корреспондентов по переписке.

Пока шла канитель с обысками, случилось еще три самоубийства, и на эти свежие случаи Марго выезжала лично и была вознаграждена скромным успехом.

Один и тот же телефонный номер обнаружился у двух разных людей — у молодого банковского служащего и футбольного тренера. В записной книжке банковского юнца встречались исключительно женские имена — по-видимому, это была специализированная «амурная» книжка. Имя «Наташа» значилось девять раз (как же он их различал, успела удивиться Марго), «Лола» была в един-

ственном экземпляре. Тот же набор цифр, без имени и иных пояснений, содержала полустертая карандашная запись на полях рекламного проспекта «Ади-дас», найденного у тренера. Зацепка, конечно, ничтожная, но ценная в силу единственности, и Марго начала разматывать эту ниточку с максимальной бережностью.

Телефон принадлежал некой Ларисе Паулс, двадцати шести лет от роду, незамужней, с высшим образованием. Род занятий — предприниматель, акционер и член совета директоров солидного страхового общества.

Получив почти без усилий санкцию прокурора, что уже было определенным успехом, Марго установила за ней наблюдение. Но, увы, результаты его не вписывались в рабочую версию Марго. Девица проживала одна в шикарной трехкомнатной квартире на Петроградской стороне и разъезжала в красной БМВ, не стесняясь нарушать правила дорожного движения. День она проводила в офисе, причем, как удалось установить Марго, в делах отличалась прижимистостью, а ужинала чаще всего в ресторанах, чуть не каждый день с разными мужчинами, которых затем увозила к себе домой и оставляла на ночь. При этом время от времени она выставляла своих партнеров на улицу, иногда — почти сразу по приезде, а иногда — и посреди ночи.

Марго еще с детского дома недолюбливала людей зажиточных и респектабельных, а уж эту шалаву она просто возненавидела. Вообще к потаскухам она относилась терпимо — чего там, дело житейское, и все мужики сволочи. А проституткам и вовсе сочувствовала, даже порой в их пользу слегка подтасовывая следственные факты. Но эту... Единственным обстоятельством, говорящим в ее пользу, было то, что она брала на ночь всегда одного и только одного мужика — это можно было посчитать за достоинство, ввиду отсутствия иных добродетелей.

Обреченная на вынужденное бездействие, Марго, как принято выражаться в соответствующей среде, подкапывала материал на Ларису Паулс (в частной жизни именовавшуюся Лолой или Лолитой). Дело двигалось медленно — приходилось в каждой мелочи строго придерживаться законности, иначе с этой потаскухой и ее семейкой неприятностей не оберешься. Папаша — в прошлом комсомольский вожак и видный член партии, делегат двух съездов — теперь настоящая акула капитализма. Фактический владелец машиностроительного завода, двух страховых обществ, тянет свои загребушие руки теперь и к банку, у которого малость пошатнулись дела. А в телевизионных интервью по старой привычке все еще бубнит о благе народа. Мамаша, кроме игры в преферанс, ничем не интересуется, даже тем, что ее муж, старый хрен, на виду у всех заводит любовниц. Был еще брат, от первого брака отца, видный ученый, работал в Институте генетики — так он уже полтора года как умер. Марго туда специально сходил, вызнать что-нибудь про него — говорят, был рыхлый и вялый, прямо зомби какой-то, умер в сорок лет, а выглядел на шестьдесят. В Институт приходил раз в месяц, на Ученый совет, сидел, молчал, спал на ходу — и притом был окружен общим почтением. Да уж, наука — вещь непростая, что к чему, сразу не разберешься. Для Марго главное, что с сестрой он лет десять контактов не имел.

Самоубийства шли своим чередом, с регулярностью сводок дорожно-транспортных происшествий. У Марго накопилось уже больше сорока папок.

Единственной путеводной нитью оставалась Лариса Паулс, и Марго оберегала эту ниточку, как росточек редкостного растения. Когда в список самоубийц попал приезжий лох, которого Паулс заклеила в ресторане, привезла к себе домой и сразу же дала от ворот поворот, Марго получила санкцию на постоянное прослушивание телефона и скрытую камеру.

Теперь жизнь Марго стала значительно интереснее. По части интимной в ее послужном списке значились неуютные амуры наспех в студенческом общежитии, однократное неудачное замужество, затем нудная связь с прицелом любой ценой родить ребенка, увы, безрезультатная, и, наконец, длительный вялотекущий роман с женатым сотрудником прокуратуры, где алкоголя было больше,

чем секса. Поэтому она от изумления раскрывала рот, глядя, что вытворяла эта телка с мужчинами.

Лола любила вкусно поесть и совершенно не беспокоилась, как ее гастрономические наклонности скажутся на фигуре. Сложения она была плотного, как говорится, при формах, но назвать ее толстухой не приходило в голову никому. Бешеная сексуальная энергия и специфический нерв какой-то темной активности исправно сжигали любой избыток калорий. Еда для нее была занятием чувственным, и процесс поглощения ею пищи смотрелся со стороны как откровенная до неприличия сексуальная процедура. Почти каждый попавший к ней в постель мужчина обязательно докладывал, в качестве запоздалого объяснения в любви, что безумно ее возжелал, наблюдая, как она ест.

Дома, в своей мультиспальной кровати, застеленной ярко-красными простынями, чувствуя себя полностью хозяйкой положения, она импровизировала маленькие постельные сценарии, сочетавшие два ее любимых занятия, секс и еду.

Но время от времени она совершала поступки, не вписывающиеся в естественную для нее модель поведения. В любую минуту — едва войдя в дверь или уже в постели — она могла внезапно проникнуться страхом и отвращением к партнеру и немедленно выставить его из дома. В поведении Лолы определенно присутствовали некоторая непредсказуемость и нервозность, что никак не вязалось с рациональностью и уравновешенностью ее натуры.

Решив, что пора взглянуть на Паулс своими глазами, а не через объектив видеокамеры, Марго просто заявила в кафе, где Лола назначила свидание какому-то типу.

Паулс явилась точно, секунда в секунду, плюхнулась в кресло и закинула ногу на ногу, предоставив взорам присутствующих мужчин в меру полные бедра, окруженные серебристым сиянием колготок. Не дожидаясь заказа, официант принес ей несколько крохотных тарталеток с неведомо какими малогабаритными лакомствами, поглощением коих Лола немедленно занялась. Внезапно она прервала свое занятие и по очереди внимательно оглядела всех сидящих в кафе мужчин (и только мужчин, отметила про себя Марго), но это был не оценивающий взгляд самки, а взгляд настороженный, подозрительный. Затем Лола вернулась к опустошению тарталеток с полной самоотдачей и вскоре стала центром внимания и мужчин, и женщин, с той разницей, что женщины подглядывали исподтишка.

Да, здесь было на что посмотреть. Это не выглядело как поедание пищи, а скорее как слияние с нею — Лола ее обольщала, заманивала в себя. Мужчин зрелище возбуждало до крайности, казалось, все они без исключения изнемогают от желания быть поглощенными этой теплой манящей полостью, ее оранжево-красным влажно трепещущим нутром, которое назвать просто ртом язык бы не повернулся.

«Тип» опоздал на пятнадцать минут, и Лола прочитала ему нотацию высоким ломающимся голосом с интонациями обиженного ребенка. Он ерзал в кресле, не зная, куда девать руки, но Марго почувствовала, что это — всего лишь ласковый вариант выволочки, а когда понадобится, в этом детском голоске появится режущая сталь.

Марго не стала дожидаться дальнейшего развития событий, ей стало ясно: Паулс совершенно нормальна, но чем-то обеспокоена, кого-то или чего-то боится, причем не знает, откуда и в каком виде ждать опасности.

Вскоре Марго получила возможность сделать ход в своей игре, и причиной тому стал очередной самоубийца, можно сказать, юбилейный — пятидесятый по счету. Бывший космонавт, удачливо и энергично внедрявшийся в рекламный бизнес, он столкнулся с Паулс на экономическом форуме регионального масштаба.

Поведение Лолиты за год, пока она пребывала под незримой опекой Марго, сильно изменилось. Она шарахалась от мужчин, едва успев свести знакомст-

во, и в результате все чаще, иной раз по три ночи подряд, спала в своей необъятной постели в одиночестве.

Познакомившись с космонавтом, она, как обычно, поужинала с ним в ресторане, а затем, в нарушение регламента, не отфутболила его и не повезла к себе домой, а отправилась с ним в его гостиничный номер. На следующий день парочка переселилась в квартиру Паулс, и они прожили вместе больше недели — такого постоянного у девчонки Марго ранее не наблюдала. Марго даже было подумала: неужто у этой паршивки жизнь как-то наладится?

Но, увы, неизбежное — неизбежно. Сцена расставания произошла ночью и получилась тяжелой. Он вернулся в свой номер в гостиницу и следующий день начал с того, что купил билет на самолет, отлетающий в Новосибирск через двое суток. Потом совершил три поездки по городу по своим коммерческим делам. Вечером отправился в гостиничный ресторан, откуда привел к себе в номер двух девиц, и они втроем резвились всю ночь, слегка беспокоя шумом respectable супружескую пару в соседнем номере. Далее он несколько часов отсыпался, после чего спустился в ресторан и пообедал, по свидетельству официанта, основательно и со вкусом. Затем вернулся в номер и вскрыл себе вены ножом.

Марго отлично понимала, что космонавт покончил с собой отнюдь не из-за отказа Паулс в постельных забавах, но ведь девчонка могла этого и не знать. А если и знала, то все равно — отчего бы следователю не поиграть в версию самоубийства на почве несчастной любви? О статье «Доведение до самоубийства», понятно, не могло быть и речи, но Паулс так или иначе была на крючке, в том смысле, что теперь и сотня самых лучших адвокатов была бессильна избавить ее от общения с Марго.

Марго позвонила ей в офис, стараясь, чтобы голос звучал устало и скучно:

— Вас беспокоит следователь, который занимается делом Громова. Вы с ним, кажется, были знакомы? — Марго нарочно построила фразы так, чтобы избежать раздражающих слух обычных людей словосочетаний «следователь прокуратуры» и «по особо важным делам».

— Да... знакомы.

— Мне нужно с вами поговорить.

— Пожалуйста, в любое время.— В речи Паулс не было никакого намека на ершистость или испуг, а скорее дежурная любезность делового человека.— Вы хотите, чтобы я приехала в прокуратуру?

Ага, значит, она отлично знала, какая инстанция ведет дела о самоубийствах.

— Нет, я думаю, обойдемся без протокола. Да и вам,— Марго позволила себе доверительно усмехнуться,— вероятно, удобнее нейтральная территория.— Она назвала кафетерий, доступный ее кошельку, но и достаточно престижный для Паулс.

Марго начала разговор в деловитом ключе.

— Мне представили подробный отчет обо всех действиях Громова с момента прибытия в Петербург. Все следственные факты однозначно доказывают самоубийство. Но мотивы? Вы же понимаете,— Марго понизила голос, придав ему чуть заметный оттенок интимности,— это не тот случай, когда алкаш повесился на чердаке... Человек известный, хоть что-то написать надо бы, а у нас — никакой версии, полный завал. У вас есть хоть какая-нибудь догадка, почему он мог это сделать?

— Ни малейшей.

— Вы не замечали в нем нервозности, подавленности, скрытого страха?

— Нет. Психологически он был в отличной форме...— Лицо Лолиты на секунду смягчилось.— Да и физически тоже,— добавила она без тени улыбки.

Марго неожиданно подумала, что ее с Паулс сближает, быть может, даже роднит, полное отсутствие у обеих чувства юмора, но она тотчас отогнала эту ненужную мысль.

— Еще один вопрос, Лариса Генриховна. Вопрос деликатный, если не хотите, можете не отвечать. Вы с Громовым практически не расставались почти десять дней. А последние двое суток его жизни не встречались ни разу. Вы посощались?

— Не совсем, ссорой это не назовешь... Постоите-ка, а откуда вам все это известно?

— Да как же, — Марго скорчила умильную физиономию, — на вас все обращали внимание. Гостиничная обслуга, официанты — все в один голос твердят: «Такая чудесная пара, посмотришь — душа радуется».

— Надо же... а я думала, нет до нас никому дела. — Лолита подозрительно нахмурилась. — И вы что же, у каждого самоубийцы жизнь так препарируете?

— Разумеется, нет, Лариса Генриховна. Но в том и загвоздка, что сейчас речь не о «каждом самоубийце». Когда в деле замешана космонавтика, может сунуть нос ФСБ, а то и ФСК, они люди дотошные и непредсказуемые. Вот я и подстраховываюсь.

Удовлетворенная ответом, Лолита коротко кивнула:

— Постараюсь быть точной. Это было не ссорой, а расставанием. По моей инициативе: он мне стал физически неприятен. Со мной так бывает, и это непреодолимо. Я ему объяснила, он понял и даже не рассердился, воспринял это как дело житейское и, конечно, безо всякой трагедии. Так что, никакой связи между самоубийством и нашими отношениями нет.

— Ну что же, Лариса Генриховна, спасибо. — Мысленно добавив привычную фразу: «На сегодня достаточно», Марго достала из сумки блокнот. — Вот мой телефон, если узнаете еще что-нибудь, позвоните.

Марго на долю секунды замешкалась, прикидывая, следует ли прощаться с Паулс за руку, но, к ее удивлению, та протянула руку первая. Учитывая разницу в возрасте и явно отменное воспитание Паулс, это означало одно: ей хотелось обменяться рукопожатием с Марго. Но проделала она это как-то странно: сначала прикоснулась к ней осторожно, словно готовая отдернуть руку, — так ведут себя люди, касаясь оголенного провода и не зная, под током он или нет, — и только убедившись в отсутствии напряжения, вложила свою ладонь в руку Марго. От нее исходило приятное обволакивающее тепло, и отпускать ее не хотелось — не зря, видно, к ней так льнут мужики.

На следующий день Марго пришла к прокурору с повинной: дело, мол, развалилось, не успев начаться, версия Марго основана на случайных совпадениях. Она осторожно дала понять, что только прозорливость и осмотрительность прокурора спасли прокуратуру и ее, Марго, лично, от большого конфуза, и потому ворчание прокурора по поводу потерянного времени и средств было формальным. Наблюдение за Паулс и прослушивание немедленно прекратить, все телефонные записи и видеопленки уничтожить.

— Но самоубийц совсем не забрасывай, материал-то подкапливай... мало ли что, — на прощанье напутствовал ее прокурор голосом, лишенным энтузиазма.

Марго полностью погрузилась в однообразную рутинную работу, и временами ей казалось, что с прекращением дела Паулс она потеряла что-то очень важное. Самоубийства шли своим чередом, три за последующие две недели, и Марго их расследовала добросовестно, но без интереса — с Паулс они связаны не были.

Настало жаркое лето, пора отпусков, и приятель Марго, отправив жену и детей на дачу, жил теперь фактически у нее. Проведя день на работе, где почти не обращали внимания друг на друга, они вечера просиживали за бутылкой у телевизора и, если не слишком напивались, перед сном занимались любовью. Все это стало казаться Марго убогим и скучным, хотя раньше вполне устраивало. Она пыталась как-то приукрасить застолье и модернизировать постельные удовольствия, сделать свою частную жизнь хоть капельку интереснее, но ее сожитель, человек уже в возрасте, привыкший принимать однообразие как естест-

венную норму бытия, ее старания не одобрял и не поддерживал, и она на них вскоре махнула рукой.

Поэтому в начале июля, когда список самоубийц пополнил охранник страховой компании Паулс, Марго даже обрадовалась. Лола позвонила сама.

— Я за вами заеду. В шесть, пойдет?

Лола машину вела молча, и Марго чувствовала, как она напряжена. Ведь надо же — девчонке явно не по себе, а выглядит все равно, как картинка из модного журнала. Порода такая...

— Послушай,— начала было разговор Лола и сделала паузу, нахально проскакивая перекресток на красный сигнал светофора,— давай будем на «ты». Поехали к нам на фазенду, в смысле на дачу. Там у нас хорошо, пусто, папаша в Германии. Маленько оттянемся, отдохнем, чего здесь в духоте париться?

Первой реакцией Марго было — жестко отказаться. Но, собственно, почему? Лола теперь не подследственная и скорее всего ею не будет. И вообще, действительно, отчего немного не оттянуться? Марго кивнула.

На даче первым делом искупались в прохладном озере, на обеих это подействовало благотворно, и, вернувшись в дом, Лола включила электрический камин, подкатила к нему кресла и поставила на журнальный столик коньяк и кофеварку, явно создавая условия для душевного общения.

— Хочу тебе кое-что рассказать,— деловито разлил по рюмкам коньяк, Лола с ногами забралась в кресло,— только не надейся услышать, как говорится, чистосердечное признание. Кровавых злодеяний за мной, увы, не числится.

— Это, милочка, я давно поняла,— усмехнулась Марго,— иначе бы здесь с тобой коньяки не распивала.

— То, о чем пойдет речь, тебе покажется в лучшем случае странным, поэтому учти заранее, у меня с психикой все в порядке... ни мнительностью, ни избытком воображения никогда не страдала. Голова у меня работает, как компьютер, даже в пьяном виде я способна анализировать свои ощущения.

Марго почтила эту преамбулу молчанием и глотком коньяка.

— Речь пойдет о моем сводном брате.

— Который умер чуть ли не два года назад?

— Да. Но я с твоего позволения начну издалека. Иначе ничего объяснить не смогу, наберись терпения.

— Я давно набралась терпения. Валяй.

— У него было дурацкое имя — Легион. Мое мне тоже не по нраву, но Легион — это уж слишком... оригинально. А я долго и понятия не имела, что у меня есть брат. Папаша своей бывшей семье какие-то бабки отстегивал, но дома никогда их не поминал даже вскользь. И вдруг начались за столом разговоры: Легион — то, да Легион — се... Мне это уже само по себе не понравилось, да и моей матери тоже. Оказалось вдруг, что мой братец — молодой гениальный ученый. Мне тогда было тринадцать, ходила в седьмой класс и училась так, что хуже некуда. Всех отличников, ясное дело, ненавидела. А этот... гениальный... выходило, что он отличник в какой-то сверхстепени. А папаша мне все нанимал репетиторов, вот однажды и говорит: теперь вместо занюханых учителей с тобой будет заниматься ученый с мировым именем. Ладно, говорю. Не хотелось, конечно, но с папашей спорить было невыгодно. И вот, стало быть, я к нему заявила со своими школьными учебниками и тетрадочками. Если заочно я успела его невзлюбить, то, увидев живьем, по-настоящему возненавидела, прямо с порога. Он мне внушал ужас и отвращение. Когда он наклонялся, чтобы показать ошибку в примере или задачке, мне казалось, в меня проникает что-то мерзкое, скользкое, подчиняет себе и сейчас я начну превращаться в сгусток вонючей слизи. А его, как назло, на меня потянуло, и он стал приставать, с каждым разом все активнее, даже изнасиловать попытался. Я от страха и объяснить-то ему не могла, что он мне противен, только молча отталкивала и кусалась. И дело было не в том, что он приходился мне братом, это бы меня не смутило. Я тогда таскалась со всеми

подряд, прямо ужас какая была похотливая,— простодушно пояснила Лола, и Марго вторично отметила про себя, что у нее с чувством юмора полный завал.— И не подумай,— невозмутимо продолжила Лола,— что у него был вид нетоварный или что-то еще в этом роде. Наоборот, одежда с иголки, и сам спортивный, холеный, на руках каждый ноготь в кондиции, с виду — европеец и денди, а внутри кошмарная гадость. Как ни смешно, папашин замысел оправдался, хотя и косвенным, странным образом. Я поняла, что единственный способ избавиться от контактов с братцем — начать хорошо учиться. Маленько поднатужилась и вылезла в отличницы. Папаша ходил счастливый и пел дифирамбы преподавательскому таланту сыночка, а я втихомолку посмеивалась... Так или иначе я от него отделалась и никогда больше не видела. Папаша продолжал поддерживать отношения и приглашал иногда его к нам домой на обед, но я ловчилась устраивать свои дела так, чтобы с ним не встречаться. Но это не означало, что он оставил меня в покое...— Оборвав речь на полуслове, Лола задумалась.— Первый неприятный сигнал я получила лет через десять. К тому времени я уже успела позабыть о своих детских неприятностях, быть может, и перестала бы так упорно избегать встречи с братцем, но он последние годы жизни болел, сидел сиднем дома и у нас не появлялся. Я тогда закончила экономический факультет, получила диплом с отличием, так отец ухитрился и красный диплом задним числом поставить в заслугу братцу, и меня это почему-то задело. Но папаша и мной был доволен, взял меня в свою страховую компанию, а вскоре сделал крупным акционером и ввел в правление. И еще купил мне квартиру, чтобы я без помех жила личной жизнью. Правда, при этом потребовал, чтобы я без его одобрения не выходила замуж, поскольку замужество — дело уже не личное, а семейное. Одним словом, я имела все, что хотела, и могла делать, что вздумается. К великому удовольствию папаша, в бизнесе я быстро освоилась и заняла приличное положение уже не только из-за его денег... Да тебе это, наверное, и так известно.— Она скосила глаза на Марго, и та подтверждающе кивнула.— А личной жизнью жила в свое удовольствие. Мужиков часто меняла и ни одному на шею себе садиться не позволяла. Ничего не обещала дольше чем на день-два вперед и любые претензии по этой части пресекала мгновенно, сразу же полный расчет. И был у меня один очень удобный партнер. Позвоно: если свободен, явится, нет — извини, занят, а сам никогда не набивался. Спортсмен-профессионал, каротека уж или кунфука, не знаю, в общем, по части восточного мордобоя. Дурак дураком, а в постели — что надо. И вот однажды я ему позвонила — с удовольствием, говорит, и немедленно припылил. Разговоры разговаривать мы не практиковали, да, собственно, и говорить-то с ним было не о чем, стало быть, сразу оказались в постели. И вдруг — как ведро дерьма мне на голову вылили, ужас и омерзение — запрдельные. И главное, ощущение знакомое, будто мой гениальный братец здесь, со мной, а я сейчас умру от страха и отвращения. Я его оттолкнула и стала ругаться. Вижу, он на братца ничуть не похож, но гадкие ощущения не проходят, и я все равно в шоке. У парня, конечно, глаза квадратные. Так и так, говорю, извини, это мой старинный дефект внезапно сказался. Считай, что теперь я вроде как и не женщина, и сделай одолжение, не сердись и уходи поскорее. Он оделся, вежливо попрощался и укатил в своей тачке — все-таки эти восточные махалова кое-какую выдержку в людях воспитывают. Мне, только он ушел, полегчало, но такая тоска накатила, что заревела даже, а со мной это не часто случается. И заметь, повторяю, к тому моменту я его, братца-то, десять лет не видела и давно уж о нем не вспоминала.

Возникла долгая пауза, и Марго решила подбодрить рассказчицу:

— Я заметила, ты стараешься не произносить его имя — Легион. Это не случайно?

— Нет, конечно. Это идиотское имя вызвало у меня неприязнь еще до знакомства с ним. Я и тогда избегала его произносить. А сейчас к тому же я боюсь его приманить, накликать, что ли. Может быть, это мое суеверие, а может, и нет. Ведь речь не идет о чем-то понятном и естественном.— Она опять замолчала.

Лола явно была готова замкнуться в себе, по-видимому, чувствуя, насколько дико звучит ее рассказ для такого рационального человека, как Марго.

— Я обратилась к психиатру. К хорошему психиатру за хорошие деньги, понятное дело, сугубо конфиденциально. Он меня всячески тестировал, в том числе под гипнозом. А после заявил, что я совершенно здорова и все это безобразия не является порождением моей психики. Что это, безусловно, вторжение извне в мое сознание, либо в сознание моих партнеров, либо в то и другое одновременно. Вторжение очень мощного экстрасенса, по сути дела, то, что в просторечии именуется магией. Поэтому решение моих проблем не в компетенции психиатрии. Скорее всего есть два пути. Первый — прибегнуть к помощи более сильной магии, но он лично в такие вещи не особенно верит и знает только, что они опасны для психики. Второй путь более простой и реальный: найти этого мага, то есть экстрасенса, и договориться с ним, к примеру, попросту откупиться... Дальше ты можешь просчитать мои действия. Я решила найти моего проклятого братца и выяснить, какого дьявола ему от меня надо. Но тут началось такое, от чего у меня чуть крыша не съехала... отчаянный бред, даже рассказывать язык не поворачивается...

— Да уж валяй, что теперь делать! — Марго в качестве моральной поддержки налила обеим по внушительной порции коньяка.

— Я стала ему звонить. К телефону поочередно подходили две какие-то женщины, которые посылали меня подальше, одна вежливо, а другая невежливо. Наконец, он взял трубку сам, я узнала голос, но его речь была совершенно бессмысленной. Впечатление полной невменяемости. По-моему, он не понял, с кем говорит, но слово «приходите» я из него все-таки выдавила. Я не сомневалась, что его мегеры попытаются меня спустить с лестницы, и взяла с собой телохранителя. Так по пути из него вдруг поперла эта самая мерзость, и он начал лапать меня прямо в машине. Я чуть не задохнулась от злости и омерзения, кое-как изловчилась фукнуть ему в рожу из баллончика и выкинуть на улицу. Поехала одна, но ни на звонки, ни на стук в дверь не открывали. Так ни с чем и уехала. Пришлось на него плюнуть, потому что на следующий день я улетала в Америку... Тоже была веселая история... А когда вернулась, позвонил папаша и сообщил, что мой гениальный братец скончался, что похороны через день, и приличия требуют, чтобы я там поприсутствовала. С любовью и удовольствием, ответила я и расхоталась, но папаша, к счастью, сразу повесил трубку. Я была такая счастливая! И решила отпраздновать, по-своему. Я ведь к этому времени шаркалась от каждого встречного и потому в смысле личной жизни сидела на голодной диете. А как раз накануне ко мне в офис приезжал по делам человек из Германии — очень кондиционный мужчина, этакая белокурая бестия. И заодно пробовал клеиться, по-немецки, по-ихнему — и нахально, и вежливо одновременно. И я прямо с утра звоню в гостиницу, извините, герр Рихтер, мне одно место в немецком переводе нашего соглашения кажется неточным. Он сейчас же приехал, ну я корчу из себя дурочку, а он снисходительно объясняет: здесь, мол, пассивный причастный оборот, в современном деловом языке так принято, и никаких разночтений быть не может. Ах, говорю, герр Рихтер, вы меня так выручили! И я настолько вам благодарна, что приглашаю вас отпраздновать мой день рождения. Заявились мы в ресторан, хоть у него голова и немецкая, уже сообразил, что к чему, кладет руку мне на колено и говорит: как же вы, фройлен Паулс, сумели преуспеть в бизнесе, когда вам исполняется явно не более двадцати лет? Ошибаетесь, отвечаю, и кладу свою ладошку на его руку, мне намного меньше, я сегодня заново родилась! К десерту он мои колени успел обследовать до самого живота, и я говорю: пора ехать. Ну, думаю, герр Рихтер, придется тебе поработать. И представь себе, через минуту в машине, внезапно, как дубиной из-за угла — то же самое проклятое ощущение, что не кто иной, как мой братец, меня за грудь лапает. Ощущение омерзительно достоверное и ужас невыносимый. У меня чуть истерика не случилась. И еще не понятно, что с немцем делать. Ему же по-про-

стому не скажешь, как нашему: извини, Фриц, ты мне вдруг опротивел, так что не держи зла и вали на родину!

— И как же ты выкрутилась? — с чисто женским любопытством поинтересовалась Марго.

— Пришлось импровизировать, — улыбнулась Лола, и Марго подумала, что за все время знакомства она лишь второй раз видит ее улыбку. А улыбка хорошая, открытая. — Теперь, говорю, поедem в бизнес-клуб. Мой папа, мол, устраивает прием по случаю моего дня рождения, а мне хочется тебя познакомить с родителями. Там будет пресса, и телевидение, и весьма важные персоны, так что я буду тебя представлять не совсем как жениха, а просто как друга. У него морда вытянулась, свои руки сразу убрал, ай-ай-ай, говорит, что же ты заранее не сказала, я бы время иначе распределил, а сейчас, ничего не поделаешь, должны быть деловые звонки из Германии. И мигом слинял. А меня стошнило, натурально наизнанку вывернуло. Фриц звонит на другой день, и я...

— Ладно, черт с ним, с немцем. А с тобой-то что дальше было? — бесцеремонно перебила Марго.

— Пошла на похороны, поглядеть на братца в гробу. Надеялась, хоть это поможет. Но, увы, ничего подобного. Он по-прежнему меня доставал, все чаще и чаще. Житья никакого не стало... Я сходила опять к психиатру, к другой знаменитости, в Германии. И ответ был тот же самый: это не входит в его компетенцию.

— Итак, тебя преследует человек, умерший почти два года назад, и это не входит в компетенцию психиатрии, — задумчиво подвела итог Марго.

— Когда и после его смерти я от него не избавилась, стала отслеживать и сопоставлять. Даже записи начала вести. За год набралось около сотни случаев. Я не знала, как быть. Ведь и посоветоваться не с кем, разве что с психиатром, так даже те отрещиваются. Обращаться к магам и колдунам? Тогда окончательно крыша съедет, да и боюсь я их, как чумы. И я приняла единственно разумное с моей точки зрения решение: ограничить свой круг общения теми, к кому он доступа не имеет. А с новыми людьми сближаться осторожно, устраивать каждому нечто вроде испытательного срока или карантина, что ли. Конечно, это означало изменение образа жизни, но я и на это пошла. В общем, существование стало более сносным, как-никак избавилась от постоянного страха. И тут начались эти самоубийства. У меня совсем опустились руки. Отношения ко мне они не имеют, я уверена. Просто источник один и тот же, который меня преследует, но кому это объяснишь? Хорошо, хоть ты поняла, с этим мне повезло.

— Что я тебе скажу? Знаю, рядом с тобой уголовного дела нет. Следствие прекращено за отсутствием состава преступления. Сколько бы самоубийств ни последовало, ты в категорию подозреваемых не попадаешь. Я эти самоубийства коплю, и только, — так мне начальством велено. Даже если из них со временем кто-то попробует состряпать дело, твоя возможная роль в нем — только свидетель. И насчет твоего брата-покойника — его в прокуратуру не вызовешь, не в гробу же ему приезжать! — Марго закончила свою речь вполне милицейской шуткой, даже ей самой показавшейся грубоватой.

— Хорошо. А не могу ли я предложить тебе и дальше копать это дело? Как частному детективу, с соответствующей достойной оплатой?

— Я следователь прокуратуры. И брать халтуру на стороне не имею права. А было бы, что копать, то копала бы и по должности. Тут в пору звать шамана, с бубном да погремушками.

— С шаманом повременим. — Лола без раздражения вернула разговор в деловое русло. — Разве ты не можешь как частное лицо и юрист немного... скажем так, присмотреть за мной? Чтобы в случае чего был разумный свидетель. Или вовремя что присоветовать. Опять же за приличный гонорар, разумеется.

— Экая ты, однако, настырная! Впрочем, это уже ближе к реальности. Присмотреть — оно можно, хотя, конечно, из следователя свидетель плохой. А вот с гонорами пока повременим. Факт передачи денег иной раз все равно, что

пуля в затылок. Так что это отложим, авось, за тобой не засохнет. Для начала давай вот что сделаем. Ты беседы свои с психиатрами наверняка на диктофончик записывала. Они знали об этом?

— Знали.

— Сделай с них распечатки в трех экземплярах. Пометь дату и время. И организуй нотариусов, чтоб заверили дату и подписи. Одну копию положи в свой банковский сейф, вторую храни, где хочешь, а третью передашь мне.

2

Сидя в полупустом вагоне электрички и мысленно подводя итоги этой короткой загородной поездки, Марго, в общем, осталась довольна собой. Ничего лишнего не обещала, не отвергла заранее возможный заработок, что расценила как маленькую победу над собственной строптивостью, и в значительной мере удовлетворила свое любопытство.

Дома она, как обычно, скоротала остатки вечера за телевизионным сериалом и скромным ужином, подкрепленным несколькими рюмками водки. А потом, уже собираясь ко сну, после душа, в ванной, не успев даже обтереться полотенцем, принялась рассматривать себя в зеркале, что за нею до сих пор не водилось. Ведь совсем не уродина, если разрисоваться, как надо, можно и за шлюху сойти, а мужики не обращают внимания. Вроде бы все на месте и грудь в порядке. Худошава, конечно, вон ключицы торчат, но и это другим-то женщинам не мешает. А что возраст под сорок — так еще же не сорок... да и вообще... к Лолке, небось, и за сорок будут липнуть, что мухи... если до сорока доживет. Стоп, с чего это ей пришло в голову?.. Если смерть вокруг нее топчется всё да топчется, то когда-нибудь, рано ли, поздно, и на нее наступит. Да и черт с ней, с Лолкой, о себе бы подумать... В чем же все-таки дело... выражение лица? Да, пожалуй... отчужденное, настороженное — это определенно отпугивает. Детдомовское наследство... Она попробовала небрежно улыбнуться, и ничего не вышло: на губах улыбка, а глаза все равно угрюмые. Забавно все-таки: если у тебя нос не такой, можно пластическую операцию сделать. А выражение глаз — какой хирург сможет подправить?

Время шло, Лола с месяц уже не давала о себе знать, и Марго тем не менее обнаружила, что никак не может выкинуть ее из головы. Укладывая заключения психиатров Паулс почему-то в сейф, а не на полку шкафа, где хранились дела самоубийц, Марго не вполне логично пришла к заключению, что ей следует проветриться и отдохнуть. Впрочем, мысль была своевременная, ибо по графику отпуск Марго начинался через неделю, в конце июля, и выбор, куда поехать, не отличался обширностью.

Родственников у Марго было мало — порода, что ли, такая, не живучая и не плодовая. Отношения она поддерживала только с двоюродным дядькой, который был не намного старше ее, и его сыном, то есть своим троюродным братом, к коему испытывала материнские чувства, за неимением других объектов их приложения.

Дядька Платон, которого еще со студенческих лет она называла Платошей, в наше смутное время воплощал в себе качества, с точки зрения Марго, достойные уважения. Окончив Медицинский институт, он по распределению вместе с женой-однокурсницей уехал в забытую Богом сельскую больницу Вологодской области, где и проработал почти двадцать лет. Он ни разу не делал попыток перебраться в более престижное место, хотя имел репутацию талантливого и грамотного врача. Жена по истечении положенных трех лет рассталась с обязательной работой, а заодно и с мужем, перебралась в Москву и обзавелась новой семьей. Их сына Олега она держала сперва при себе, но с появлением маленькой сестры он постепенно прибил к отцу и среднюю школу закончил уже у него,

причем с золотой медалью. Мальчика, начиная с восьмилетнего возраста, отличало поразительно устойчивое, прямо маниакальное пристрастие к морю, кораблям и морским сражениям. И, хотя отец не любил ничего военного, он не препятствовал поступлению сына в Военно-морское училище. У Марго будущая профессия родственника, которого она в душе почему-то считала не троюродным братом, а племянником, вызывала умиление. Она считала, что при нынешнем бедственном положении армии и флота офицерами стремятся стать только благородные люди. А само слово «курсант» высекало в ее воображении расплывчатые представления о праздничных школьных балах, о первых прогулках под руку вдоль тенистых бульваров и робких поцелуях в тени цветущих акаций, фокусируя ее ностальгию по красивой и беззаботной юности, которой у нее никогда не было. Племянника, впрочем, она называла чаще не курсантом, а гардемаринном, отталкиваясь от полюбившегося ей телевизионного сериала.

Марго еще в поезде решила выкинуть из головы и Лолку, и связанную с ней живодерню, но уже на третий день не выдержала и выложила Платону от начала до конца всю историю. Более того, она поняла, что это было одной из главных целей ее поездки. Значит, все-таки эта Паулс крепко засела у нее в голове.

Почувствовав не праздную заинтересованность Марго, Платон высказался осторожно и прагматично. Да, под гипнозом человек способен совершить что угодно. Известны также вполне доказанные случаи гипноза или внушения на расстоянии, правда, не такой интенсивности, но это в конце концов разница лишь количественная, не меняющая сути явления. В данном случае речь идет либо о гипнотизере феноменальной силы, либо о научном злом гении, придумавшем устройство для усиления и трансляции на расстоянии этих не исследованных пока излучений. Такую возможность принципиально нельзя отвергать. Но при любых обстоятельствах за всем этим стоят люди, один или несколько, которых можно найти и пресечь их деятельность.

— Но все-таки,— заупрямилась Марго,— если мы имеем дело с однообразным систематическим проявлением, можно ли отличить природное явление от человеческой воли?

— Только по наличию обратной связи. Природное явление не будет реагировать на твои действия, а человек отреагирует.

Через несколько дней Олег должен был отправиться в учебное плавание, и порешили на том, что Платон отправится его проводить, а Марго с недельку проживет в деревне одна.

Марго с усердием копалась в огороде и хлопотала по дому, в меру способностей наводя в нем уют. В условленное время Платон не появился, но Марго поначалу не беспокоилась: рейс могли задержать. Но, безрезультатно прождав и вторую неделю, она из местного отделения милиции позвонила к себе домой — трубку никто не брал. Тогда она препоручила дом заботам соседей и отправилась в Петербург.

Дверь ее квартиры только после второго, настойчивого звонка открыл человек, которого она сперва не узнала,— это был Платон, только постаревший лет на пятнадцать, седой, небритый и пьяный.

Марго мгновенно догадалась, что случилось несчастье.

Платон с сыном прожили спокойно несколько дней, ходили в кино, посещали музеи и один раз прокатились за город, в Петергоф, поглядеть на фонтаны. Раза два на Олега накатывали беспричинное беспокойство и возбуждение, но Платон посчитал это предотъездным волнением. Накануне отплытия курсантам было предписано прибыть на борт судна к двадцати ноль-ноль, и в три часа дня, пока отец сооружал дома некое подобие прощального обеда, Олег вышел купить какие-то мелочи, вроде расчески и зубной пасты. Полчаса было более чем достаточно, и когда он к четырем не вернулся, Платон настолько встревожился, что выглядывал несколько раз в окно и на лестницу, и, как только поз-

волили кулинарные обстоятельства, в половине пятого выключил духовку и пошел искать сына.

Далеко ходить не пришлось: внизу у подъезда уже суетилась милиция и стояла «скорая помощь». Мальчика отвезли в реанимацию, но врачи ничего не смогли сделать.

Орудие самоубийства, складной нож со многими лезвиями, лежало на подоконнике, и Марго машинально отметила его присутствие здесь как недопустимый промах милиции.

Несмотря на свою угрюмую отрешенность, Платон перехватил ее взгляд:

— Немецкий... это я ему подарил... представь себе, я и подарил... он любил перочинные ножи и всегда их терял... а вот этот не потерял... этот почему-то не потерял... лучше бы он его потерял...

Марго чувствовала свою вину в происшедшем. Располагая достаточно зловещей информацией, она не отнеслась к ней серьезно. И вот ее легкомыслие обернулось страшной бедой. Она не верила, что это случайность. ОНО вычислило, нашло квартиру Марго. Значит, ОНО — умное. Лола ведь ни разу у нее не была. Следовательно, ОНО идентифицировало личность Марго и ее жилье. Профессиональная подозрительность подсказала Марго выяснить, кто мог иметь доступ к записной книжке Лолы. У Марго вдруг возникла отчаянная, жгучая ненависть к Паулс, звериное желание зарезать ее вот этим самым ножом. Она молча налила водки Платону и себе.

— Вот тебе и ответ,— после паузы медленно и глухо произнес он, с тупой сосредоточенностью глядя внутрь фужера,— вот она, обратная связь... да уж, вот такая обратная связь...

Марго решила составить подробный график каждого из шести дней, прожитых Платоном и Олегом в Петербурге. Платон беспрестанно возвращался к событиям этих дней, и ей требовалось лишь изредка задавать наводящие вопросы, уточнять время тех или иных событий и незаметно для него делать записи в блокноте. Ответив на очередной пустяковый вопрос о времени киносеанса, он произнес бесцветным голосом:

— Если ты пытаешься вычислить, мог ли Олег вступить в контакт с твоей подопечной, то не мог. Даже по телефону. Трубку всегда брал я, и голоса были только мужские.

— Все равно мне нужен подробный график вашего времяпровождения. Когда буду допрашивать Паулс, заставлю и ее расписать свои занятия за эти шесть дней. Вдруг обнаружатся совпадения, да и мало ли что...

— Понимаю,— он медленно и тяжело кивнул,— ладно, бери авторучку...

Однажды, проснувшись, Марго не обнаружила Платона ни на кухне, ни вообще в квартире. В панике она вылетела на улицу и осмотрела всевозможные закутки в окрестностях — нигде его не было.

Тогда она вернулась домой и подвергла квартиру тщательному обследованию. Ее записная книжка, лежащая на телефонном столике, сейчас была раскрыта на странице с номером Паулс. Она не раздумывая набрала номер.

Трубку долго не брали, а сняв, прежде чем ответить, выдержали паузу.

— Слушаю.— Марго не сразу поняла, что показавшийся ей незнакомым хрипловатый, сдавленный голос принадлежал Лоле, только предельно злой и напуганной. И похоже, она не в себе.

— Лола, это Марго.

— Что вы мне врите! Отвяжитесь! — Та явно готова была бросить трубку.

— Не дури, Лола! Я — Маргарита Софронова, следователь прокуратуры. Мне нужно с тобой поговорить.

Последняя реплика оказалась магической и возымела отрезвляющее действие.

— Слава Богу, это действительно ты. Он сказал, что ты далеко.

— Кто «он»?

— Человек, назвавшийся твоим родственником. Приезжай сейчас же!.. Пожалуйста.

Когда Марго добралась до Паулс, Платон уже пришел в себя, но был очень слаб и полулежал на диване в гостиной, а Лола сидела в кресле в противоположном углу комнаты, вся напряженная, и смотрела на него, как кошка на бульдога. Вся левая рука Платона, от короткого рукава футболки до кисти, была залита йодом и выше запястья неумело забинтована. В верхней части лба набухла шишка.

Лола говорила вяло, иногда запинаясь и обращаясь исключительно к Марго, будто Платон был неодушевленным предметом.

— Как только он вошел, я пожалела, что впустила его. Небритый, помятый, пьяный, глаза безумные. Уставился на меня и молчит. Я, естественно, спрашиваю, что он должен мне сообщить. А он опять молчит. И вдруг такую понес околесицу... воспроизвести не берусь...

— И все-таки? — жестко подстегнула ее Марго.

— Примерно так: ну что теперь скажешь? Или больше не надо? Не надо, наверное. А если тебе той же монетой? Так надо или не надо?.. И дальше в таком же духе. Я говорю: уходите немедленно, милицию вызову. А он вроде как и не слышит. И вдруг выбросил вперед руку... так резко и точно, для пьяного даже странно... и схватил меня за плечо, будто клещами... наверняка синяки остались... Тут же достает из кармана нож перочинный и так ловко, одной рукой, лезвие открывает. Я, чтоб его отвлечь, говорю: вы что же, этой смешной игрушкой меня зарезать хотите? А он звереть начал. Я попробовала нож у него выбить, не вышло... держит удивительно цепко...

— Он хирург, — пожал плечами Марго.

— Я стала дергаться, и на мне разорвалась блузка. Лифчиков я не ношу, стало быть, грудь — целиком напоказ, и он на нее глазееет. Но держит меня за плечо по-прежнему крепко. А я уже к этому времени основательно сдрейфила. Так чего же вы, говорю, хотите: переспать со мной или зарезать? Черт с ним; думаю, стерплю как-нибудь, а тем временем соображу, как выкрутиться. И вдруг у него лицо застыло, глаза не видят, как пленкой подернулись, меня отпустил, да и вообще перестал замечать, отвернулся в сторону и начал этим проклятым ножом кромсать себе руку. А у меня — жуткий страх и отвращение, до спазм в горле, будто сразу весь воздух заменили чем-то другим. Ну, в общем, то самое. А из него кровь на ковер капает. Я начала орать несусветное что-то: прекратите и уходите! Так он просто не слышит. Схватила первое, что под руку подвернулось, и треснула его по башке.

— И что же это было? — с любопытством спросила Марго.

— Теннисная ракетка.

— Ладно, — объявила Марго, — спасибо тебе за ласку, я его увожу... Теперь слушай. Я займусь этим делом всерьез. Все, что сейчас рассказала, ты по свежачку запиши. И еще. Распиши мне за шесть суток, с десятого по пятнадцатое, где ты бывала. Без беллетристики, только время и место. Но постарайся не пропустить ничего, даже если куда на десять минут заезжала. Хочу понять, как ОНО мою квартиру накрыло. И вообще будь внимательна. Видишь, как ОНО действует: бьет вроде как вслепую, но иногда попадает.

По пути домой, в такси, Марго спросила:

— Тебе нечего к ее рассказу добавить?

— Нечего.

— То-то ты молчал, как немой.

— А что мне еще оставалось? Я и так, мягко говоря, ей вечер испортил.

— Да уж, сегодня ты отличился... Ничего, стерпит. Ей не привыкать, судьба такая. Зато мы пронаблюдали, как эта штука работает. Вот уж воистину: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

— Как знать... есть вещи, которых лучше вообще не видеть.

— Пока не начнешь следствие.— Она сама удивилась резкости своей интонации, но смягчить впечатление не пыталась, и разговор оборвался.

И только уже на лестнице, остановившись передохнуть на площадке между этажами, он заговорил снова:

— Один маленький штрих. Я, конечно, виноват перед ней. Но тем не менее: она мне отчетливо неприятна.

— Это в каком же смысле? — спросила она скептическим тоном.

— В биологическом. Где-то внутри нее, в самой глубине, есть нечто инопланетное, какая-то чуждая молекула, что ли... и, возможно, опасная. Причем она сама наверняка об этом не знает.

Марго полностью сосредоточилась на том, чтобы не дать заметить Платону, какое удовольствие доставило ей его заявление — словно приятная, теплая волна распространилась по всему телу. Мужики все подряд на Лолку бросаются, что голодные псы на кусок мяса, а вот он — из другого теста.

Когда он заснул, перед тем как выключить свет, она собрала и вынесла из комнаты все колющие и режущие предметы, ворча под нос:

— Профессия... ничего не поделаешь.

Проснувшись она от ощущения, что в доме творится что-то неладное. Уже начинался рассвет, и в комнате было серо. Она прислушалась — из гостиной доносились невнятные звуки, не то сопение, не то тихий хрип, и какое-то шуршание.

Платон лежал на спине, неловко и странно выгнув туловище, и слегка вздрагивал. Глаза были открыты, но виднелись только белки, казавшиеся огромными, в уголке плотно сжатого рта пузырилась слюна. Марго имела об эпилепсии весьма смутные представления, почерпнутые в основном из кинофильмов и любовных романов. Она знала, что больного не следует перемещать, что в рот нужно вставить ложку, дабы он не откусил себе язык и не задохнулся, а когда конвульсии кончатся — тепло укрыть, ибо он будет мерзнуть.

Насколько ей было известно, Платон никогда ранее эпилепсией не страдал, да и другие родственники тоже. Ergo, внезапный припадок, следовало увязывать со вчерашними событиями. И тут ей пришла в голову неприятная аналогия. Как ей удалось в свое время выяснить в Институте генетики, покойный брат Лолы, Легион Паулс, был эпилептиком. Скорее всего случайное совпадение. Но ведь все это треклятое дело, в котором она постепенно и незаметно увязла по уши, было основано на мерзких совпадениях и туманных фантазиях, здесь было некого схватить за руку и вообще не было ничего конкретного, кроме жутких конечных результатов.

Через полчаса приступ закончился. Марго поразились: еще никогда она не видела такого безмятежного покоя в лице Платона. Несколько раз она замечала, что его губы слегка шевелятся, и, склонившись к нему, попыталась понять еле слышный шепот. Ей удалось разобрать лишь несколько отдельных, не связанных между собой слов, но она сразу насторожилась, ибо одно из них было «Легион», причем оно прозвучало почему-то как «Легио». Кроме того, были слова «обретешь», «тебе обещаю» и «превзошедших и знающих». Неужели покойный брат Лолы действительно имел отношение ко всему этому безобразию? На Марго тяжело навалилось предчувствие кошмара, и ей удалось отогнать его, только закурив сигарету.

На следующий день Платон предстал перед ней совсем новым человеком, и она не знала, радоваться ей или печалиться.

Он поднялся значительно раньше Марго и, хотя она обычно спала достаточно чутко, сумел, не разбудив ее, не только улизнуть из дома, но и через час с лишком вернуться. Проснувшись и направляясь в ванную, Марго увидела в гостиной почти незнакомого человека — подстриженного, выбритого, отглаженного, с корректным, но замкнутым выражением лица.

Во время завтрака он поддерживал разговор с Марго, сохраняя при этом определенную отрешенность и не прерывая, по-видимому, внутреннего потока мыслей; одновременно, как удалось ей подметить, он успевал отслеживать даже мельчайшие события в окружающем мире, от скрипа тормозов на улице до чьих-то шагов на лестнице, приглушенных обитой войлоком дверью.

— У тебя был припадок эпилепсии,— нейтральным тоном, будто о пустяке, сообщила Марго,— на рассвете.

— Как ни странно, помню начало. Помню, что успел осознать это...— Он на секунду задумался.— Будет повторяться, раз началось: я проинструктирую тебя после... впрочем, ты и так хорошо справилась.— Он кивнул на лежащую в мойке деревянную ложку со следами зубов.

— Ты полагаешь, слово «легио» попало в твой бред не случайно?

— Не полагаю, а уверен. После эпилептических припадков многие люди получают сведения, о которых до того и понятия не имели. Не забудь, что полуграмотный Магомет диктовал суры Корана сразу после приступов эпилепсии. Происходит подключение к высшим источникам информации. То же самое, кстати, случается, хотя и редко, при некоторых других заболеваниях или просто при травмах черепа. Все ясновидящие обязательно проходят через нечто подобное.

— Ты что, веришь в ясновидение? — с ужасом спросила Марго и отшатнулась от стола, будто перед ней поставили тарелку с живыми жабами и скорпионами.— Это же сплошное шарлатанство!

— Не всегда. Есть люди, выдержавшие многократную проверку. Да та же Ванга, к примеру. Ты слышала, чтобы хоть кто-нибудь ставил под сомнение ее результаты?

— Действительно... а я об этом и не подумала... как странно...

— Когда мы говорим о проникновении одного сознания в другое — это условность. Сознание — в мозгу, а один мозг с другим напрямую вступать в связь не может. Это, считай, доказано. Проникновение идет на уровне подсознания. А это — сообщающиеся сосуды, то есть проникновение всегда взаимно. Если некто вторгся в мое подсознание так, что из него в мозг выхлестнул приказ вскрыть себе вены, значит, в моем подсознании теперь имеются сведения об этом субъекте, и не меньшие, чем у него обо мне. Но вот получить их не просто. Доступ к собственному подсознанию для нас жестко заблокирован, ради нашей же безопасности. Значит, вопрос в том, как добыть из моего подсознания хоть какие-то сведения об этой чужой воле, которая смогла, невзирая на существующие естественные запреты, приказать мне убить себя. Как это сделать, пока не знаю. Скорее всего гипноз.

Сеанс состоялся на следующий день.

— Расслабьтесь,— сказал гипнотизер и сделал в воздухе вялый жест раскрытой ладонью.

Никакой реакции не последовало, и на его лице отразилось удивление вместе с любопытством.

— Хорошо... Сосчитаем до десяти... Один... два... три... четыре...

После счета «три» Платон обмяк в кресле, и его голова откинулась назад.

— Отлично.— Гипнотизер подошел поближе.— Проверка: вы находитесь в состоянии гипноза. Вы осознаете это?

— Осознаю,— непривычным, глухим голосом выдохнул Платон.

— Теперь немного положительных эмоций. Вы сидите в саду. Светит солнце, и поют птицы.

На лице Платона появилась идиотически блаженная мимика: он подставлял лицо несуществующему солнцу и слушал щебетание несуществующих птиц. Марго стало неловко и обидно за него. Но ведь он пошел на это сознательно...

Ничего не понимая в гипнозе, Марго тем не менее почувствовала, что присутствует при работе высококлассного спеца. Это ее удивило: она привыкла к тому, что всегда было «или — или». Или показушник, или специалист. А тут и то, и другое сразу. Да, вот они, новые времена...

Гипнотизер сделал знак рукой, чтобы она подошла, и показал жестом, что пора включить диктофон, который она держала наготове.

— Ваши мысли, как никогда, ясны. Что вы чувствуете?

— Мои мысли, как никогда, ясны. Мне холодно.

— Мы накрываем вас теплым одеялом.

— Спасибо, теперь хорошо. Удивительно хорошо.

— Что еще вы чувствуете?

— Беспредельное знание. Полную власть над миром.

— Хорошо. Дайте вашим мыслям устояться... Что вас теперь занимает?

— Некто. Он приказал мне убить себя.

— Это конкретный человек?

— Не знаю. Это воля. Это некто. Я намерен последовать за ним.

— Куда?

— В его сущность. Внутрь.

— В этом нельзя заходить далеко. Это очень опасно.

— Я знаю, что это опасно. Я не намерен заходить далеко.

Он начал дышать чаще, и его безмятежность исчезла. В лице появились настороженность, беспокойство. Вместо коротких и ясных фраз его речь стала сбивчивой, иногда превращаясь в неразборчивое бормотание.

— Открываю... открываю тебе... сущность всех вещей... она в тебе... я — твоя сущность... Легио Прима...

На лице Платона попеременно сменялись выражения интереса, разочарования, удовольствия, страха.

— Он родился в год розового свечения... но почему же... не понимаю... он отворит врата... он призывает тебя...

Внезапно его глаза округлились и побелели, как при сильной боли.

— Это жутко... нет, нет... невыносимо...

Его лицо застыло в непонятном отчаянном усилии, руки и ноги стали конвульсивно вздрагивать — Марго показалось, у него начинается эпилептический приступ.

Гипнотизер, отошедший было к столу, подбежал к Платону, растеряв по пути всю свою вальяжность. Но заговорил очень спокойно, хотя и с сильной напряженностью в голосе, — он, по-видимому, действительно был профессионалом высокого класса.

— Возвращаемся... медленно возвращаемся... сосчитаем до десяти... один... два... три... четыре...

Лицо Платона расслабилось, приобрело осмысленное выражение, и он открыл глаза.

— Уф! — с облегчением выдохнул гипнотизер и, не смущаясь присутствием Марго, вытер рукавом своего элегантно халата капли пота со лба.

Платон выглядел вполне нормально, разве что был необычно бледен.

— Я не советую вам повторять подобные эксперименты, они могут плохо кончиться. Ваш мозг потерял контроль над вашим сознанием, я еле успел вас вытащить. Кто-нибудь другой мог и не справиться, учтите на будущее.

— Что значит «плохо кончиться»? Что вы имеете в виду?

— Необратимые изменения в психике. Как после ЛСД... или некоторых других препаратов.

— Гм.— Платон осторожно встал, придерживаясь за спинку кресла.— Я полагаю, сеанс окончен?

Дома они подвели итоги поездки. Гордиться особенно было нечем. Что им удалось выяснить? Они имеют дело с неким разумным и агрессивным влиянием,

способным паразитировать в чужом сознании и обладающим потребностью и властью время от времени заставлять людей убивать себя варварским способом. Это им было и так известно, разве что не было сформулировано достаточно четко. Второе: с этим кровожадным свинством каким-то образом связан Легион Паулс, покойный брат Лолы. Это тоже было известно, хотя до сегодняшнего дня казалось заведомым абсурдом. И, наконец, третье: это плотоядное нечто имело претензии не то духовного, не то религиозного характера.

Так или иначе покойного генетика следовало копнуть поглубже. Марго взялась изучить во всех подробностях жизнь Легиона, а Платон — его научные труды.

Материал был на удивление скудным. Биографическая канва поражала прямолинейной банальностью, напоминая комсомольские карьеры старого доброго времени, хотя он в комсомоле никогда не состоял: школа — университет — аспирантура — кандидатская диссертация — Институт генетики — докторская диссертация. Необычной была только ранняя смерть, в возрасте немногим больше сорока лет. Причины смерти — гармональные нарушения и распад иммунной системы. И это при том, что он вел правильный образ жизни, хорошо питался, занимался спортом, и лечили его светила. Марго пробились к одному из них, и, не сразу поняв, о ком его спрашивают, профессор недовольно распушил и без того мохнатые седые брови:

— Это самый неприятный и неприятный пациент в моей жизни. Он производил впечатление дебила, хотя мне сказали, что он известный ученый.

В молодости постоянных любовниц у него не было, а последние несколько лет жизни он, условно выражаясь, дружил с двумя дамами примерно его же возраста. По свидетельству соседей, они закупали для него продукты, вели хозяйство и оставались у него ночевать, иногда вместе, а иногда поочередно. Марго нашла их следы — одна умерла от рака, а другая пребывала в психиатрической лечебнице, будучи совершенно невменяемой. Да, как видно, общение с Легионом никому не обходилось дешево... Мать его давно умерла, оставался отец, но тот находился где-то за границей...

Несмотря на суматошный характер жизни, Марго удалось упорядочить быт: днем они перекусывали кое-как, но время «семейных обедов» — восемь вечера — соблюдалось неукоснительно, и Платон не рисковал опаздывать, хотя иногда и ворчал по этому поводу.

В быту он был совершенно нормален — покладист, терпим и внимателен, алкоголь употреблял в умеренных дозах, и отличала его только одна странность: он почти не спал. По ночам он обычно сидел у стола и перелистывал свои записи либо дремал, подперев подбородок руками.

Однажды, выходя из ванной и направляясь в постель, она поленилась застегнуть нижние пуговицы халатика. Полы его слегка разошлись, и, минуя прихожую, она с изумлением перехватила короткий, но жадный, вполне мужской взгляд Платона. Господи, да что он там мог увидеть — узкую полоску бледной кожи живота и бедра? Что это могло значить, тем более для врача? И вот надо же...

Это пустяковое происшествие заставило Марго долго ворочаться в постели. На подобные жадные взгляды у нее глаз был наметанный. Она привыкла их ловить на себе, посещая своих подопечных в следственном изоляторе, и никогда на них не злилась за это — что поделаешь, законы природы, они для всех одинаковы. Но Платон?.. Она никогда, даже в порядке мимолетной фантазии, не думала о нем как о потенциальном любовнике.

На другой день мысли ее невольно возвращались к этому случаю, и, подержавшись еще сутки, она, испытывая огромную внутреннюю неловкость, тем не менее уже умышленно, повторила эксперимент с халатиком, причем в более открытом варианте. Результат убедительно подтвердился. Она влетела в свою комнату, чувствуя жар в лице и раздражение по отношению к себе самой. Него-

же ей с ним в такие игры играть... непристойно как-то... да она ведь в конце концов не стерва какая-нибудь...

Она вернулась решительно в коридор и остановилась в дверях:

— Слушай, иди спать сюда. Мне тоже невесело в одиночку с боку на бок переворачиваться.

В ответ он просто кивнул.

Последующие дни она пыталась понять, что же с ними происходит. Их взаимное влечение было сильным, но в нем был странный оттенок необходимости и даже неизбежности. Почему у них все так получается? Ведь ни он, ни она не похожи на юнцов, одуревших от американских боевиков, персонажи которых, вместо того чтобы любить друг друга, «занимаются сексом». И ведь Платон ей не безразличен — сохранился и пиетет к нему, и простая человеческая привязанность, и даже нежность, только своеобразная, суровая, что ли. Она за него кому угодно перегрызет горло... Вот, вот оно. В этом все дело. Она, наконец, поняла — будто с глаз слетела повязка. Они вместе объявили войну чему-то опасному, неизвестному, страшному. И то, что они разделили постель,— просто часть подготовки к войне, наподобие всяких там айкидо и у-шу. Боевой секс — абсурдное словосочетание и тем не менее — данность. Марго сделалось не по себе: было в этом что-то извращенное, японское, самурайское, а может, и хуже. И вообще... Господи, если только подготовка так начинается, то какой же будет сама война? Ей стало страшно.

Пораженная внезапной догадкой, она так и застряла посреди кухни с чашкой кофе в руках. Ее постельная связь с Платоном была необходимым звеном в цепи событий. Она еженощно подтверждала самодостаточность их двоих как боевой единицы. Стимулировала агрессию и непримиримость. Укрепляла решимость идти до конца. Подавляла страх. Концентрировала энергию, не позволяя растрачивать ее на стороне. Гарантировала от дезертирства — теперь ни он, ни она не могли заявить, что умывают руки. Страхovala от проникновения к ним третьих лиц. Все было словно спроектировано, и притом наиточнейшим образом. Повернуть назад уже невозможно, и Марго было страшно. Но это уже не имело значения.

Совсем спокойно, почти отстраненно, она задумалась о себе. Как сильно она изменилась за год... совсем другой человек. Год назад такие мысли показались бы ей абсурдом. Тогда она твердо знала, что связь между явлениями может быть только причинно-следственной, все же остальное было метафизикой, то есть чепухой и досужим вымыслом. А теперь она насмотрелась, как работает эта треклятая метафизика... выдергивает людей из жизни, как ржавые гвозди клещами.

Платон наконец покончил с изысканиями в Институте генетики, для облегчения коих сам себе придумал легенду, будто он — журналист, пишущий заказную книжку о Паулсе.

Легион в Институт въехал на белом коне, после аспирантуры, уже на втором году защитив кандидатскую диссертацию. Через два с небольшим года последовала докторская, написанная играючи, без ущерба для плановой научной тематики. Вспоминали о нем с восхищением, вплоть до употребления слова «гений», с нескрываемой завистью, но без особой симпатии. Его доклады на секторе переносили в конференц-зал, потому что обычная аудитория всех желающих не вмещала. В Институте друзей не имел и вообще на бытовом уровне ни с кем не общался, но по научной тематике готов был разговаривать с любым желающим. Как ни странно, этой возможностью почти не пользовались — говорить с ним о науке было не просто. Бывший аспирант Легиона, ныне ученый с именем, сказал Платону: «Я его трудов не читал и не читаю. Не люблю себя лишний раз дураком чувствовать». Относительно того, чем занимался Легион,— проще было сказать, чем он не занимался. Он успел отметиться почти во всех разделах генетики. Но главное его детище — теория клонирования.

Когда Легиону исполнилось тридцать три года, он считался самой яркой и стремительно восходящей звездой российской науки — с этим не спорили даже наиболее угрюмые и замшелые зубры Академии. И вдруг началось необъяснимое и страшное угасание новой звезды.

Сначала он замолчал на ученых советах. Просто сидел и был похож на выключенный компьютер. Печатные работы выходили все реже и сделались по средственнымими.

Особенно непонятным было то, почему в течение более чем семи лет его не попытались не то что уволить, но даже сместить с должности заведующего лабораторией. Это при том, что все видели, как он превращается в некую биомассу, теряя свойства не только ученого, но и просто мыслящего существа.

3

Малогобаритная квартирка Марго стала менять свой вид. Один компьютер разместился на кухне, другой — в спальне. На стене появился крупномасштабный план Петербурга, где Платон отмечал кнопками с красными головками места самоубийств.

— Не квартира, а партизанский штаб какой-то, — проворчала Марго, и в ее голосе Платону послышалась противоречивая смесь одобрения и неудовольствия.

Красные кнопки на плане разместились неравномерно: чем дальше от северо-восточной части города, тем их было меньше. По мере приближения к Охте они сгущались, образуя севернее Красногвардейской площади сплошное багровое пятно.

Результат был наглядный и бесспорный, но она чувствовала легкое разочарование: покойный Легион жил совсем в другой части города, на Васильевском острове.

Платон выделил на плане района зону площадью около половины квадратного километра, которую следовало считать эпицентром кровавого безобразия, и они решили ее досконально обследовать. Въехав на выделенной им Лолой машине в самый центр «зоны» — тут точнехонько торчала жилая многоэтажка, — они ступили на опасную местность осторожно, как на минное поле. Им казалось, сам воздух насыщен здесь смертью и за ними наблюдают сотни если не глаз, то электронных следящих устройств. Но вскоре они убедились, что вокруг них — обычный микрорайон, замусоренный и пыльный, живущий обычной жизнью.

На оконтуренной территории оказались два цеха металлообрабатывающего завода и ведущая к ним железнодорожная ветка, автомастерские, склады с колючей проволокой поверх ограды, котлован строящегося здания и несколько десятков жилых домов, в которых, соответственно, обитали десятки тысяч человек.

Нельзя ничего найти, когда не известно, что надо искать. На обратном пути, в машине, Платон со смущенным смешком сознался, что все время поглядывал на крыши в поисках передающей антенны необычного вида. Марго же просматривала на столбах и стенах все объявления, особенно рукописные, в надежде на сведения о сборищах каких-либо сект или религиозных церемониях.

На следующий день она выяснила, что в данном микрорайоне нет не только лабораторий, но и вообще ничего, имеющего отношение к миру науки, даже кооперативных жилых домов научных учреждений.

А на стол к ней легла новая папка с делом очередного самоубийцы: вечером вскрыл себе вены подсобный рабочий в том самом кафе, где Марго и Платон обедали. Какое дикое совпадение...

Вечером Платон ошарашил Марго неожиданным вопросом:

— А если человек не погиб? Если ему помешали, как мне, например, — Платон чуть заметно усмехнулся, — дело все равно попадет к тебе?

— Нет... Вообще никакого дела не будет,— ответила она с удивлением и ошарашенно замолчала.

— Как же можно найти таких людей? — продолжал он рассуждать с полной невозмутимостью.— Кому-то вызовут «скорую», кто-то попадет в «травму», кто-то — в реанимацию, а если повезет, можно угодить и в психушку.

Значительная часть нужной им информации нашлась в компьютерах больниц и «скорой помощи». Препятствий им никто не чинил — следовательно в таких местах фигура столь же привычная, как и медперсонал.

Повозиться пришлось все же изрядно. Многие записи выводили на ложный след. Врачи часто записывали на ходу и далеко не всегда уточняли, каким именно образом пострадавший вскрыл себе вены. Иногда цепочка записей приводила к безуспешной попытке реанимации, и фамилия пациента закономерно обнаруживалась в заголовках папок в кабинете Марго. Окончательный «урожай» составил девять человек. Все они были живы и, как выяснилось позднее, суицидных попыток повторять не пытались — то есть эта смерть, промахнувшись однажды, не посягала на свою жертву вторично. Марго удалось выяснить, что всех их теперь объединяла общая болезнь — эпилепсия. Необходимо было получить хоть какую-то информацию от неудачливых самоубийц, которых они на своем рабочем жаргоне именовали для краткости «эпилептиками».

К сожалению, обоим было понятно, что официального сумасшедшего звать на допрос невозможно.

В ожидании результатов усилий начальства Марго решила ознакомиться с прошлым поэта и драматурга Философьева, давнего обитателя «Скворечника», то есть психлечебницы имени Скворцова-Степанова. Она знала, что после покушений на самоубийство людей в психушках долго не держат, если они, конечно, не заговариваются и не повторяют суицидных опытов. А этот здесь уже больше года — значит, за ним нечто интересное в прошлом, и следовало копнуть его послужной список. Позвонив в Союз писателей, она выяснила, что он считается известным поэтом, а вот как драматурга его там не знают. Марго повезло: она сразу же нашла бывшую любовницу поэта, которой он столько попортил крови, что та обрадовалась интересу прокуратуры к его персоне и охотно выкладывала все, что о нем знала.

Он приехал в Петербург — тогда еще Ленинград — из провинции, поступил в Театральный институт, проучился три семестра на театроведческом отделении и был отчислен за академическую неуспешность. Чтобы как-то оправдать свое безделье, начал писать стихи и пьесы. Стихи не печатали, пьесы не ставили. Он, естественно, объяснял это тем, что его произведения противоречат официальной идеологии.

— На самом деле никакой идеологией у него и не пахло.— Рассказчица скривила рот, словно съела кусок лимона.— Просто стихи были дерьмовые.

— Но ведь он в конце концов стал известным поэтом? — осторожно ввернула Марго.

— «Известный поэт» никогда не означало «хороший поэт»! — раздраженно фыркнула дама.— Вот такая ирония судьбы: поэт никудышный, но стал известным, а драматург — ничего, но нигде не ставился, кроме самодеятельных театров... Впрочем, к чему это я? А, как он стал известным?.. Это было так странно... Однако до этого еще далеко... Знаете, лучше я по порядку, а то совсем запутаюсь.

Марго согласно кивнула, хотя уже начала дуреть от многословия и беспричинной нервозности рассказчицы.

— Понимаете, с какого-то времени его стали донимать демоны. Они строили козни в нематериальных сферах, а на земле воплощались в редакторов журналов и режиссеров петербургских театров, мешавших реализации его творчества. Однажды он решил навести порядок в мире. Он тогда жил у меня, а свою комнатенку использовал, как говорится, для случайных связей. И вот он наку-

пил свечей, чуть не сотню, зажег, постелил на стол крахмальную скатерть и расставил тарелки по числу главных демонов. Приманил демонов на эти сияющие тарелки и, когда они уютно на них расселись, поджег по углам кучи мусора и тряпья. Дождавшись, когда как следует разгорится, сказал краткую речь демонам, в смысле: «Пришел вам конец», разделся догола, поскольку бесы умеют прятаться в складках одежды, и спустился на улицу по водосточной трубе: благо всего лишь третий этаж. После этого вызвал пожарную команду, с таким расчетом, чтобы демоны успели сгореть, но соседи не пострадали. А уже пожарные, застав его на улице — дело было в ноябре — в голом виде, вызвали «скорую». Попал в «Скворечник», провел там полгода, получил инвалидность. Так что он у них старожил. Вот такая история...

— Но все-таки как он стал известным поэтом?

— О, как же я забыла! Это фантастика! Он шатался по улицам, бормотал под нос свои стихи и иногда читал их у знакомых в квартирах — там, где это ему позволялось. И тут, ни с того ни с сего, редакторы наших толстых журналов — а ведь это такие люди, чтобы муху с собственного носа согнать, и то рукой шевелить не любят — засуетились, стали звонить по разным телефонам и спрашивать, как найти поэта Философьева. Наговорили ему лестных слов, и пошло — публикация за публикацией, а потом появились и книжки. Он стал меняться: сделался важным, угрюмым, задумчивым, и после к тому же началась эпилепсия. Но у тогда с ним уже не якшалась.

— Спасибо, вы очень интересно все рассказали. — Марго приготовилась встать, но всерьез опасалась, что ее будет покачивать. Она была готова повесть, что человека можно заговорить насмерть.

— Если что, забегай, — с удручившей Марго бодростью уже в дверях напутствовала ее хозяйка и, едва успев захлопнуть дверь, тотчас открыла снова. — Эй, стой-ка! Если будешь иметь с ним дело, учти: он хитрый, как... как не знаю кто. Он гений вранья.

Телефонные рычаги начальства Марго сделали свое дело, и она была допущена в психушку. Марго сразу сообразила, кто из четверых в палате Философьев. Он сидел по-турецки на койке и что-то вещал, а остальные слушали со вниманием, пожалуй, даже с подобострастием.

После взаимных представлений Марго был предложен единственный стул, а врачаха непринужденно уселась на койку, явно вознамерившись присутствовать при беседе.

Пока Марго прикидывала, как ее выпроводить, драматург сам проявил инициативу:

— Я думаю, наша гостья будет чувствовать себя естественнее, если мы будем беседовать вдвоем. — Глаза его светились умом и грустью, а голос звучал виновато и непреклонно сразу.

Ничего себе, больной, не без злорадства мысленно усмехнулась Марго.

Врачиха обменялась с ним коротким взглядом, молча поднялась и ушла. Можно было подумать, она опасалась, как бы он не выболтал чего лишнего. Их отношения явно не укладывались в стандартную схему пациент — доктор.

— Сегодня удачный день. Я ждал встречи с вами, но не надеялся, что это случится именно сегодня. Это — Знак. Я очень рад, что мы с вами наконец встретились.

— Вы хотите сказать, что знали о моем существовании? — спросила Марго задумчиво и вполголоса, чтобы не разрушить доверительного характера беседы.

— Конечно. Я не знал, как вы выглядите, и вашего имени, но не сомневался: вы должны появиться. Именно сейчас, когда мы в преддверии важнейших перемен в мире, мне так необходимы союзники, и вы среди них — главнейший. Вы об этом еще не догадываетесь, но вам уготована важная роль в грядущих событиях.

— И какая же роль меня ожидает? — удивилась Марго, окончательно потерявшая нить его рассуждений.

— Вам это может показаться странным, а на самом деле — закономерно, и со временем вы поймете, что так и должно быть — очищение мира, его обновление начнется с петербургских театров. Все будет названо своими именами, все расставлено по местам, и мои пьесы будут идти по всему городу. Зло будет посрамлено навсегда, и анонимное ныне добро, — он понизил голос, — обретет наконец свое истинное имя, Легион... Легио Прима...

Ощущение скуки мигом исчезло, Марго почувствовала, как участился пульс.

— Вы сказали: Легион? Но что это значит — Легион? Простите меня, но я думала... в Древнем Риме... это что-то вроде дивизии.

— Да, конечно.— Он улыбнулся добро и снисходительно.— Это действительно так, воинское подразделение. Но Легион — еще и символ бесчисленности и имя Бога истинного, он примет в себя людей, как море — ручейки воды. Каждый человек будет каплей в океане, именуемом Легион. И всем будет светло.

— Надо же, а я ничего не знала! — искренне удивилась Марго.— Вы хоть раз его видели?

— Как можно увидеть Бога истинного? — Он улыбнулся еще ласковее.— Смертному не вынести этого. Но это будет, после Преображения. Всеобщего Преображения. Мы увидим его.

— Боже, как интересно! Никогда не думала, что такое возможно. Невероятно, и все-таки хочется во все это верить. Но он является вам? Говорит с вами? Сам или через кого-то? Во сне или днем?

Должно быть, она перегнула палку, задав серию слишком прямых вопросов. Он насупился, лицо стало таким, будто он на рынке и следит, как ему отсчитывают сдачу. Впрочем, она тут же заметила, что он поглядывает в сторону двери, и тоже скосила глаза — там возникла фигура заведующей отделением.

— Надеюсь, у вас все? Откуда бы вы ни пришли, здесь лечебное учреждение.

Прошло почти две недели, пока «впускной» день в «Скворечнике» совпал с выходным днем бдительной врачихи Философьева. Помня, что он курит, она приготовила ему подношение в виде блока «Мальборо» и отправилась на свидание.

Они встретились на больничном дворе, и он сразу понес несусветное. Марго не придумала ничего лучше, как уронить принесенный блок сигарет и вскрикнуть негромко «Ой!». Помедлив, он присел, чтобы поднять сигареты, и Марго, наконец, смогла хоть что-то сказать:

— Это вам.

И, не дав ему снова захватить инициативу, без паузы продолжила:

— Вы говорите интересные вещи, хотя я не все поняла. И главное, не совсем ясно, какую роль в этом может сыграть Легион?

Оглядевшись по сторонам с хитрой, чуть вороватой, и одновременно благостойной улыбкой, он приложил кончик пальца к губам:

— Сия тайна велика есть. Еще не настало время.— Он интимно понизил голос.— Это самое сокровенное, и мы ведь пока недостаточно знаем друг друга.— Он бесцеремонно и плотно положил ладонь на левую грудь Марго. Убедившись, что она не склонна к резким движениям, добавил: — Для начала скажу: Легион — Сын Человеческий. Истинный Сын Человеческий и истинное дитя Вселенского Поля Животворящего.

— Ладно. Попробуем узнать друг друга получше. — Своей ладонью она накрыла его руку, подтверждая заключение сделки, и только после этого отстранилась.

— Ты наверняка понимаешь, — он перешел непринужденно на «ты» и заговорил уже совсем свойским тоном, — что в преддверии грядущих событий мне находиться здесь неуместно.

В следующий «впускной» день Платон принес в портфеле цивильную одежду для поэта. Тот переоделся в уборной и покинул больницу через проходную, держа Платона под руку и оживленно с ним болтая. Марго наблюдала эту сцену, ошиваясь около вахтерши, чтобы в случае чего ее отвлечь. Но все и так прошло гладко.

Они с Платоном решили содержать поэта в снятой ими квартире в «зоне», причем по крайней мере первые несколько суток около него должен находиться неотлучно кто-нибудь из них двоих.

В общении с поэтом Марго труднее всего давалось одно: переносить непрерывный поток болтовни, разумной по форме и бессмысленной по содержанию. Марго была просто не в состоянии анализировать на ходу бредятину, которую нес Философьев, и Платон с завидным терпением часами прослушивал диктофонные записи.

Марго перестала расспрашивать поэта о Легионе, любой прямой вопрос будил в нем шизофреническую подозрительность, и он тотчас замыкался. Она положила на его природную болтливость и не ошиблась.

Постепенно удалось воссоздать приблизительную модель его вероучения. Оно гласило, что истинный Мессия и есть Легион. Он — богочеловек, Сын Человеческий и одновременно — Бог-сын, но не Бога-отца, а Вселенского Поля Животворящего. Иисусу Христу, в зависимости от настроения, поэт отводил разные роли. Вариант первый: Христос — просто святой, один из пророков, чье явление было генеральной репетицией пришествия Легиона. Вариант второй: Христос был предварительным, опять же по выражению поэта, — репетиционным воплощением Легиона. И, наконец, третий: Христос — лжемессия, самозванец. Независимо ни от чего люди сейчас не могут уже поклоняться бородатому персонажу в сандалиях. Вселенная стремительно расширяется и развивается, и Бог, будучи Информационной сущностью Вселенной, развивается тоже. Человек, создавший искусственный интеллект, вышедший в космос, превзошедший науки, нуждается в покровительстве Бога, совместимого с компьютерной реальностью и геной инженерией. Этот Бог — Легион, Бог дерзновенных, Бог чело-векобогов, Бог превзошедших и знающих.

Положение самого Философьева следующее: он возлюбленный, первозванный апостол Легиона. Недаром же имя его — Петр, и ему суждено стать краеугольным камнем новой церкви, Церкви Легиона. Как возник Легион? Это божественная тайна. Сначала он был человеком, но давно уже стал Богом. Как поэт с ним общается? Легион иногда по своей божественной воле входит в его сознание, очищает его душу и просвещает разум. Истинный Бог сам посещает человека, и для этого нет нужды часами простаивать на коленях перед иконами. Но в силу своего особого положения он, поэт Философьев, может и по собственной воле призывать Легиона и даже задавать ему вопросы.

Легион посещает и других людей, живет в них, а они это чувствуют, но многие не знают даже его имени. Впрочем, скоро уже будут знать. Или иначе: пока что Легион присутствует в сознании людей анонимно, но уже близок час, когда каждый будет в полной мере ощущать присутствие Бога и произносить его имя. Тема предстоящей в скором времени не то легализации, не то инаугурации Легиона постоянно возникала в речах Философьева.

За неделю сожителства с поэтом Марго совершенно вымоталась. Рассудив, что он уже выболтал о Легионе достаточно, Марго подумывала, не пора ли вернуть его на духовную родину, то есть в психушку, — и чуть не совершила ошибку.

В пятницу ночью, под утро, у него случился эпилептический припадок. Он заговорил негромко и отрешенно, и его речь разительно отличалась от всего, что она слышала раньше. Будь поэт в сознании, его разум наверняка расценил бы эту речь как кощунственную.

«В бытии Легиона имелась определенная двойственность, которую его сверхсознание воспринимало болезненно, как потенциальную угрозу существованию».

«Непонятные, но и неодолимые силы заставляли его время от времени совершать точечные инвазии, то есть воплощаться на короткое время в элементарные мыслящие единицы».

«При очередном воплощении в свой субинтеллект Легион констатировал, что две тысячи лет назад вселенский процессор Поля Животворящего функционировал идеально».

«Как всякая сущность высокого уровня, Легион всегда стремился к совершенству».

«Этот кошмар был бесконечным, ибо Легион уже заглянул туда, где времени не существовало, но его воля, хотя и пульсируя, все еще действовала».

Ночью она проснулась, почувствовав поблизости какое-то шевеление. Приоткрыв осторожно глаза, она увидела, что Философьев, сложив на подоконнике в кучу ее и свою одежду, перебирает ее и внимательно рассматривает, словно ищет что-то мелкое, наподобие насекомых.

Потом он бросил валять дурака и заснул, Марго тоже перестала бороться со сном. А утром она его не обнаружила в квартире. Замок был заперт, ключ на месте, а дверь в лоджию оказалась открытой. Но самая пикантная подробность заключалась в том, что вся одежда Философьева, включая трусы и носки, осталась дома. Стало быть, он обнаружил бесов не только везде в доме, но и в складках одежды и воспользовался единственным возможным способом от них избавиться.

Он где-то проболтался четыре дня и только на пятый объявился в своей родной психушке.

Марго писала следственное заключение по делу о вполне заурядном убийстве во время вооруженного ограбления, когда ей принесли и положили на стол две новые папки. Мельком глянув на них и убедившись, что речь идет о двух очередных самоубийствах, она рассеянно отложила их в сторону — и тут же на себя разозлилась. Число самоубийц скоро дойдет до сотни, они же с Платоном топчутся на месте. И сама она дошла до того, что смотрит на эти все-таки убийства как на нечто неприятное, но неизбежное и чуть ли не естественное. Она ощутила короткий укол страха и вдруг поняла, что страх в ней давно уже поселился, а она загнала его в глубину сознания.

Вечером она выплеснула свое раздражение на Платона. Если он не может предложить ничего конкретного, пусть хотя бы объяснит, чем он занят целыми днями.

— Если ты помнишь, — начал Платон лекторским тоном, — в диктофонных записях, сделанных после припадков эпилепсии, присутствует непонятное слово «гаах». Это не междометие и не случайный возглас, поскольку оно встречается у разных людей. В общедоступных словарях и энциклопедиях слово «гаах» не обнаружилось, но я проявил дотошность и в старом издании Британской энциклопедии, более чем столетней давности, нашел идентичное слово, с несколько другим написанием — «гаввах», через дабл-ю... Это редчайший случай, чтобы из Британской энциклопедии исключали слово. Вероятно, обнаружили ненадежность или непроверяемость источника. Британская энциклопедия всегда гордилась точностью и конкретностью. Я стал искать источники. На Востоке алхимия многократно подвергалась запретам, и сведений о ней мало. Но отдельные отрывки из древних рукописей сохранились и были опубликованы, а кое-что проникло в трактаты европейских алхимиков. Я нашел два упоминания о «гаах», и оба — весьма туманные. «Гаах» — это эманация, дающая возможность видеть сквозь непрозрачные предметы и получать знания, недоступные обыкновенному человеку. «Гаах» связана с человеческими жертвоприношениями, ее когда-то использовали жрецы кровожадных культов, запрещенных еще в древности. Иметь дело с «гаах» крайне опасно, и на голову пользователя рано или поздно обрушиваются умопомрачительные несчастья.

В Институте Востока мне кое в чем помогли. Во-первых, лингвистические данные. Язык часто хранит сведения о том, что сами люди давно забыли. Слово «гаах» встречается в культовых текстах Древнего Вавилона и еще Финикии и в зависимости от контекста переводится как «сила крови» или «знание крови». Так вот, в древнем мире, в частности, в Финикии, существовали секты, жрецы которых использовали в ритуалах энергию «гаах». С ее помощью они заставляли говорить мертвых, а также вступали в общение с подземными богами, которые передавали им удивительные знания и дар предвидения. Прямых описаний обрядов нет, но по косвенным указаниям в текстах эффект «гаах» был ограничен во времени истечением крови жертвы. Вспомни, например, «Одиссею». Когда Одиссей отправляется ко входу в Аид, чтобы услышать пророчества старца Тиресия, тот обретает дар провидения, только отдав жертвенной крови: «Но отойди же от ямы, свой меч отложи отточенный, чтобы мне крови напиться и всю тебе правду поведать». Душа Тиресия получает дар прозрения с помощью крови, да и к другим мертвым, которые толпятся за спиной Тиресия, память и способность общаться возвращаются только тогда, когда они получают доступ к жертвенной крови... Подобные сюжеты встречаются в фольклоре на всех континентах. Да хоть наши самые обыкновенные вурдалаки. Кто такой вурдалак? Покойник, пьющий кровь живых людей. А зачем ему это? Чтобы вернуть себе память. Мотивация тяги к свежей крови всюду одна: отдав ее, покойник восстанавливает свою память, а стало быть, и личность — что по сути одно и то же. Кровь — многоуровневая динамическая структура, чем больше ее изучают, тем сложнее она оказывается. Это не просто физиологическая жидкость, переносящая кислород и убивающая бактерии. Кровь, например, содержит полную информацию об организме: в принципе по одной капле крови можно восстановить человека. И она же — главный накопитель энергии. Практически вся биологическая энергия человека находится именно в крови. Куда же девается энергия при ее истечении? Скорее всего во всех этих легендах, к которым ты относишься столь скептически, речь идет именно об энергетическом заряде крови.

А теперь взглянем на дело совсем с другой стороны. В поступках каждого сумасшедшего и любого преступника, какими бы абсурдными они ни казались, обязательно присутствует своя логика. Значит, если мы говорим о Легионе, то эти, называя вещи своими именами, убийства, сопровождаемые обильным истечением крови, зачем-то ему нужны.

— Ты говоришь о нем так, будто он реальный человек,— пробормотала Марго произвольно употребив местоимение мужского рода и тем самым, по сути, тоже признав его реальность.

— Человек, не человек — не знаю, но действующее лицо — определено. В конце концов мы имеем дело с фактами, а факты — штука упрямая, как говорил один из классиков философии.

— Хорошо,— покорно согласилась Марго,— будем говорить о Легионе.

— Если тебе психологически будет легче, станем считать слово «Легион» названием условным, обозначающим нечто, в чем нам предстоит разбираться. Перечислим известные нам свойства этого «нечто». Первое: он, или оно, периодически убивает людей одним и тем же способом, обуславливающим обильное истечение крови. Зачем он это делает — оставим пока знак вопроса. Второе: это нечто каким-то образом связано с конкретным, физически умершим человеком. Третье: он, или оно, обладает волей и разумом, хотя и действует со своей специфической логикой, нам пока непонятной. Четвертое: оно способно неведомым для нас образом вселяться в сознание почти любого человека, подменять его разум и диктовать ему любые действия, вплоть до самоуничтожения. Одно из последствий таких вторжений — эпилепсия. И, наконец, пятое: оно способно внушать убеждение в собственном всезнании, всемогуществе и благодати, или, проще говоря, претендует в сознании людей на положение божества. Кажется, ничего не забыл?.. Ага, центр его активности почему-то на Охте... Итак:

объективно существует нечто, обладающее вышесказанными свойствами. И мы с тобой, стало быть, хотим это нечто обезвредить... Ты чему улыбаешься?

— Звучит смешно. Как можно ЭТО обезвредить? Если оно такое, как ты говоришь... нематериальное... что ему можно сделать? Все равно, что воевать со снегопадом.

— Во-первых, к твоему сведению, со снегопадом воевать можно. И вполне успешно. А во-вторых, давай лучше поищем его слабые места. Главное — он не всемогущ и не всеведущ, иначе давно бы нас вычислил и уничтожил. Второе слабое место — его двойственность. С одной стороны, он своим апологетам внушает, что он сплошное благо. И одновременно кое-кого убивает. Как совместить это? С учетом того, что мы знаем о «гаах», логично предположить, что убийства — вынужденные, единственное для него средство поддержать свою жизнеспособность. И заметь, на Земле крови льется и без него предостаточно; значит, для него важны убийства, организованные им самим, и притом совершенно определенным образом... Кроме того, чисто гипотетически я могу наметить третье слабое место: противоречие между претензией на всеблагодность и необходимостью убивать должно порождать у всякой мыслящей и чувствующей структуры жестокие комплексы. Он должен болезненно реагировать на любые негативные или хотя бы критические мнения по своему адресу... Волевой импульс Легиона, предписывающий человеку самоуничтожение, транслируется каким-то образом. Стало быть, в принципе, его можно заблокировать или подавить по-мехами. Другое дело, что пока мы не знаем, как это сделать практически.

— То-то и оно... Я как-то Лолке присоветовала нанять шамана с бубном. Вот и нам, видно, пришла пора звать шамана.

— Именно так мы и поступим: пригласим профессионального шамана. Для охоты на сумасшедшего медведя нужна безумная собака.

4

В списке телепатов, раздобытом Платоном, значилось пять фамилий. Лишь поздним вечером, после одиннадцати, удалось дозвониться одному из них, с благозвучной фамилией Гурдыбов. В ответ на извинения по поводу столь позднего звонка сонный голос баритонального тембра изрек:

— Все в порядке, я только что встал.

— Может, лучше позвонить завтра утром? — деликатно предложил Платон.

— Ночь — главное время суток. На сон ее расходуют только убогие люди.

По указанному адресу они нашли сильно обветшалый дом, на фасаде которого, несмотря на темное время суток, светилось лишь несколько окон, что придавало ему нежилой вид. На лестнице было темно, и пришлось позвонить наугад в одну из дверей. В проеме возникла кряжистая усатая женщина с бульдожьей челюстью.

— Извините, если ошиблись. Мы ищем двадцать девятую квартиру.

Угрюмое выражение на ее лице неожиданно сменила умильная улыбка.

— Так вы к Володечке, к колдуну? Это вам на пятый этаж. Наверху не спешите, осторожненько ноги ставьте, там одной ступенечки не хватает... Да уж ладно, постойте, я фонарик возьму, посвечу.

— Так что, он и вправду колдун? — рассеянно спросила Марго, в слабом свете пляшущего луча выискивая взглядом дыру между ступеньками.

— А как же, колдун и есть. Тут у нас была ведьма на втором этаже, никому житья не давала, так Володечка ее усмирил.

— И как же он ее усмирил?

— А просто. Встретил на лестнице и спрашивает: «Ну сколько это будет еще продолжаться?» Голос строгий такой, а сам он стал расширяться, так что от перил до стенки все место занял, ей-то, дуре, и не пройти. Тут она как захнычет,

извини, мол, больше не буду, и все ему кланяется. А потом говорит: «Ты уж прости меня, глупую, что сразу тебя не признала, я вот только сейчас поняла, что ты — Люцифер». А он и ни капельки не смягчился. «Ну, смотри у меня», — говорит. И ушел.

«Володечка» оказался экземпляром столь странным, что, как показалось Марго, не только у нее, но и у Платона возникли сомнения, можно ли иметь с ним дело. Покатые плечи, короткая конусообразная шея, совершенно круглые желтые глаза и манера резко захлопывать рот, будто он только что проглотил какую-то мелкую живность и боится ее упустить, делали его похожим на гигантского грызуна-мутанта. И неведомо как возникало впечатление, что его тело обладает непомерной пугающей тяжестью. В довершение всего этого одет он был в женский жакет большого размера. Возраст его нельзя было угадать даже приблизительно. Не меньше двадцати пяти и не больше пятидесяти, решила Марго. Его способ перемещения трудно было назвать ходьбой, он словно перетекал из одной конфигурации в другую, наподобие огромной амебы, и это плавное движение завораживало. Угнездившись на стуле, он с безразличием пронаблюдал, как посетители разместились на деревянной скамье у стены. При этом успел дважды проглотить воображаемое насекомое.

— Хотите чаю? — спросил он, берясь за стакан с бурой жидкостью.

— Нет, спасибо, — быстро сказала Марго. Она успела заметить, что чай заварен в чугунной сковородке, стоящей посередине стола.

— Чай с живой праной можно сварить только в сковороде, — пояснил он равнодушно.

— Нам сказали, что вы сможете справиться со стоящей перед нами задачей...

— Я могу все.

— Тем лучше. Ситуация такая: нам известно, что некий сильный... чрезвычайно сильный телепат время от времени приказывает отдельным людям совершить самоубийство... вскрыть себе вены. И они это делают... Вам это не кажется... скажем так, нереальным?

— Не кажется. Дело обычное.

— Нам нужно перехватить и запеленговать этот сигнал. То есть отметить точное время и направление, с которого он поступает. Вам это под силу?

— Я же сказал: мне все под силу. — Он приоткрыл рот, тут же захлопнул его и безразлично уставился в стену своими круглыми звериными глазками.

Вот истукан, мысленно выругалась Марго.

Володечка перевел взгляд на нее, будто лишь сейчас заметил, и изрек:

— Кому адресованы эти сообщения, вы не знаете.

— Не знаем, — подтвердила она.

— И времени выхода на связь тоже не знаете.

— Именно так.

— Значит, надо сидеть и ждать, — глубокомысленно заключил он и умолк, глядя вдаль и как будто ожидая озарения свыше. — Пять долларов в час и по десять за каждый сигнал.

Очутившись в «зоне» на Охте, Володечка ни восторга, ни интереса не выказал.

— Беспокойное место. Шумно, — изрек он недовольно.

— То есть как «шумно»? — поразилась Марго: ей казалось, кругом полная тишина.

— Астральный шум сильный. Ментальный шум тоже. И вообще... везде так и шныряют.

— Кто шныряет?

— Лярвы.

— Что такое лярвы? — заинтересовался Платон.

— Блевотина человека в астрале.

— Перестаньте валять дурака! Отвечайте толком! И пользуйтесь, пожалуйста, пристойными словами.

— Я-то пристойными пользуюсь,— флегматично огрызнулся Володечка,— а вот вы... задаете глупые вопросы да еще злитесь, вот в астральном поле и появляются новые лярвы. Вы их и выпускаете. А они сами собой не пропадают, значит, загрязняете астрал... Злоба, страх, раздражение, обиды всякие — каждый раз возникают лярвы. Здесь их и так полно... место такое.

Он уселся у стола, выпрямив свое веретенообразное туловище и слегка запрокинув голову, словно высматривал что-то в одном ему видной дали. Он так и сидел неподвижно, столбом, словно гигантский суслик, караулящий свою норку, до пяти утра, и за это время не сделал ни одной пометки на лежащем перед ним листке бумаги.

— Неужели не было ничего интересного? — спросил Платон, стараясь превеличенным удивлением скрыть проснувшуюся в нем подозрительность.

— Что интересное? Шум? Вам это не интересно.— Он вдруг по-детски лукаво скосил глаза: — А вы помните, что каждый сигнал стоит десятку?

В последующие несколько ночей Володечка не менял своего поведения, он отсиживал свои пятичасовые смены неподвижно, с терпением стерегущего добычу животного, и неизменно отказывался от кофе и бутербродов, так что в конце концов Платон перестал что-либо ему предлагать.

В первый раз телепат пошевелился во время шестого дежурства в час тридцать ночи. Как удалось подглядеть Платону из коридора, он довольно долго что-то старательно рисовал. На листе бумаги были жирно нарисованы три стрелки, с некоторым разнобоем указывающие примерно одно направление, южное. Также имелась запись корявыми печатными буквами: «Приказ разрезать свои руки и вены тоже так чтоб сильно текла кровь очень сильный приказ даже мне хочитца это зделать но не буду». В дополнение ко всем добродетелям Володечка был еще и неграмотным.

Через день Марго получила соответствующее дело, по порядку уже сто четвертое.

Володечка зафиксировал еще один сигнал. На этот раз запись гласила: «Приказание себя убить сильнее чем впрошлый раз откуда идет не знаю идет со всех сторон мне сичас не нравитца это дело потому что хочитца убить себя». Отдельно, внизу листа, имелась любопытнейшая приписка: «Все время попадайтца слово легион мне нравитца это слово».

Ни Марго, ни Платон больше не сомневались: с помощью телепатов можно перехватывать импульсы, инициирующие самоубийства.

Линия, проведенная в направлении, указанном телепатам, вела к обнесенной забором территории складов. О солидности владельцев территории свидетельствовали не только ее размеры, приблизительно с футбольное поле, но и прежде всего забор — высокий, сплошной, в две доски, увенчанный наверху метровой паутиной колючей проволоки на консолях. На переднем плане, сразу за проходной и воротами, виднелись четыре эллинга — серебристые, длинные, с выступающими полукольцами ребер, они напоминали гигантских гусениц, улгшихся рядом отдохнуть.

Территория принадлежала концерну РАП, что расшифровывалось, как Российское авиационное приборостроение. Это был один из осколков, и отнюдь не мелких, бывшего советского оборонного комплекса. Узнать о концерне не удалось практически ничего, кроме того, что они владеют десятками объектов во всех концах страны общей стоимостью более четырех миллиардов долларов. Подобно тому как в термитнике поддерживается температура и состав воздуха каменноугольного леса, точно такие, какими они были сто миллионов лет назад, на предприятиях концерна сохранялся уклад ушедшего в прошлое режима, защищенный от контакта с внешним миром барьерами повышенной секретности, отлаженным механизмом слежки за поведением и настроением сотрудников и

специфической системой оплаты труда, ставящей во главу угла лояльность по отношению к фирме и личную преданность начальству.

Марго дважды встретила в «зоне» Володечку-телепата. К ее удивлению, он, как и она сама, шлялся по улицам без видимой цели. Марго в качестве топтуна была полным дилетантом, и мало-мальски внимательный человек мгновенно бы ее разоблачил, но Володечка, к счастью, был настолько занят процессами в астральном и ментальном мирах, что убогая реальность его не занимала.

В мыслях Марго появление Володечки в «зоне» само собой увязалось с его же текстом: «Все время попадайтца слово легион мне нравитца это слово». Это ее почему-то настораживало.

Через несколько дней Марго получила папку с делом о самоубийстве гражданина Гурдыбова Владимира, не работающего, не женатого, закончившего свой земной путь в возрасте тридцати четырех лет.

— Скорее всего подвернулся под руку в качестве биологического сырья, — мрачно откомментировал Платон.

Долго осмысливать гибель Володечки Марго не довелось, позвонила Паулс, и пришлось немедленно отправиться к ней.

Марго не смогла вникнуть во все детали, но общий смысл сводился к тому, что фирма Паулс перекупила у другой компании более шестидесяти процентов риска по страховке объектов РАПа в Петербурге и теперь Лола имела право, и даже была обязана, провести инспекцию объектов страхования. И ни много ни мало намеревалась на Охтинский склад запустить Марго и Платона под видом инспекторов.

— Страховые компании — такая же сила, как и банки. Страхователь имеет право на полную информацию о предмете страховки. Нашей работе никогда не мешают, это обходится слишком дорого. — Лола настроилась на благодушный лад. — Во время второй мировой войны немецкие подводные лодки торпедировали американские транспорты сразу по выходе из портов, будто заранее знали час и минуту отплытия. Оказалось, немецкие компании перекупали часть риска у американского Ллойда и, соответственно, получали право на информацию о рейсе. Время отплытия передавалось по кабелю в Германию за двое суток до выхода корабля. Самое любопытное: когда ФБР докопалось, в чем дело, эту практику удалось прекратить далеко не сразу, и какое-то время суда продолжали тонуть. Ни одно судно в мире не может выйти из порта без страховки, а на страховые компании оказать давление очень трудно. Даже правительству.

В назначенный срок Марго и Платон получили удостоверения внештатных инспекторов страхового общества «Ковчег».

Платон был неподражаем. Он с такой настырностью лез во все мелочи, то требуя акты об испытаниях системы пожаротушения, то промеряя рулеткой проемы аварийных выходов или расстояния между нагромождениями складированной аппаратуры, что Марго стала задаваться вопросом: а не забыл ли он, за чем, собственно, сюда пришел?

Наконец, был осмотрен последний, четвертый эллинг, и Марго облегченно вздохнула, но администратор у самого выхода вдруг как-то незаметно и ловко завел их в стеклянный вольер, где, словно редкостное животное, обычно обитал сменный начальник охраны объекта. Сейчас там его не было, а взамен почему-то обнаружился накрытый стол, с водкой, коньяком и недурными закусками.

Не спеша осмотревшись, Платон объявил с полной невозмутимостью:

— К этому помещению претензий не имеем. Давайте продолжим осмотр.

— Но это все! Больше ничего нет.

— А вон там что?!

— Подсобные помещения, — бодро отрапортовал администратор.

— Вы, наверное, шутите? Капитальные трехэтажные строения — какие же это подсобки? И к тому же там люди. Вон, видите? И свет почти во всех окнах.

Администратор совсем потерял лицо:

— Умоляю, не надо! Вы меня режете! Да вы зайдите туда. — Он боязливо покосился на ближайшее здание. — Хоть на первый этаж, в вестибюль. И увидите сами — ничего там особенного.

Платон бесцеремонно открывал все двери подряд. Сначала они попали в биологическую лабораторию. Она занимала весь первый этаж и, как все в этом здании, была крайне странной. Приятно поражали обилие света и удивительно чистый воздух.

Платон на ходу оглядывал обычные предметы лабораторного обихода — клетки с мышами и крысами, стойки с пробирками, микроскопы, бинокляры, томографы, электронные микроскопы, термостаты, компьютеры. Была и не знакомая ему аппаратура, о назначении которой он не мог даже приблизительно догадаться.

Второй этаж занимали химики. Но ничего, кроме банального факта, что они работают с органическими соединениями, установить не удалось. Приметив к концу обхода в одном из последних помещений письменный стол с разложенными на нем бумагами, Платон второй раз за сегодняшний день произнес идиотскую фразу:

— По вашему этажу акт подписываем.

Бесцеремонно усевшись за стол, он разложил на нем свои бланки и, расписываясь, успел все-таки заглянуть в научные бумажки — они в большинстве пестрели не понятными ему схемами и формулами, но кое-где красовались подзабытые со студенческих времен и все же опознаваемые цепочки белковых молекул... Значит, биохимия.

Третий этаж населяли физики и электронщики. Вид у них был такой, будто они не на службе, а занимаются исследованиями из чистой любознательности.

Начальник лаборатории, рассеянный и флегматичный, оглядев посетителя, задумчиво пожевал губами:

— Я сейчас малость занят... Вы пока сами... походите кругом, посмотрите... Если что понадобится, мой кабинет вон там. — Он вяло махнул рукой в конец коридора, куда неспешно и удалился.

— Маргарита Климовна, — Платон неожиданно заговорил начальственным тоном, — вы пройдитесь по правому крылу здания, я возьму на себя левое. Так мы с вами скорее управимся.

Оказавшийся перед выбором администратор, естественно, сел на хвост Платону, и Марго была предоставлена полная свобода. Она, конечно, не могла извлечь ничего полезного из разглядывания диковинных для нее аппаратуры и оборудования, но ей удалось найти человека, расположенного к общению. Молодой парень защитил кандидатскую диссертацию, и вот: его бывший профессор пригласил в эту лабораторию. О такой обстановке он не мог даже мечтать! Тему исследований он выбрал сам, может заказывать любое оборудование, так что он совершенно счастлив. Недавно на него вдруг, ни с того ни с сего, накатила блажь создать излучатель поляризованных импульсов бета-кси-поля. И его никто не попрекнул напрасной тратой времени и средств.

В атмосфере следующего здания, начиная с вестибюля, ощущалось нечто застывшее, что побуждало ходить по возможности тихо и понижать голос, как в музее или на кладбище. Из живых существ на первом этаже обнаружилась только буфетчица; при виде посетителей она поднялась со своего параболического стула и заняла место у стойки с казенной, но достаточно гостеприимной улыбкой. Опытный взгляд Платона отметил, что позади нее на полках красовались спиртные напитки исключительно высокого качества.

Подметив его любопытство, администратор сделал последнюю вялую попытку остановить вторжение:

— Буфет бесплатный для научных сотрудников... и для вас тоже.

Видя, что эти варвары направляются в коридор, явно нацеливаясь открывать все двери подряд, администратор прошептал с благоговением:

— Будьте осторожны. Здесь кабинеты начальства.

Не обращая на него внимания, Платон сделал шаг внутрь кабинета и увидел то, что категорически не вязалось со всем предыдущим: старинные шкафы, диван и кресла, золотые корешки книг и раскрытый рояль; никаких компьютеров, экзотики и параболических форм. Людей не было.

— Здесь жилое помещение,— равнодушно констатировал он, отступая в коридор.

Администратор догнал его лишь на лестнице, на площадке третьего этажа, и попытался преградить путь к двери.

— Здесь конференц-зал. Посторонним сюда нельзя! — агрессивно объявил он, растеряв остатки первоначальной елейности.

— Стихийные бедствия не отличают начальников от подчиненных.— Усвоив, что тут избегают шума, Платон старался говорить как можно громче.— Откройте, пожалуйста, дверь. Единственное, чего вы добьетесь,— в эту дверь войдем не мы вдвоем, а целая группа экспертов, вместе с вашим начальством.

На пороге из темной пустоты материализовался человек средних лет в темно-сером хорошо пошитом костюме и совершенно непримечательной внешности, кроме одной мелочи: он был очень спокоен, избыточно, сверх всякой меры спокоен.

— В чем дело, Хлопин?

— Это страховые инспектора.— На администратора жалко было смотреть, он съезжился, как бродяжка перед омоновцем.— Я им говорю, сюда нельзя, а они все равно требуют...

— Это их работа. Извинитесь перед ними и не мешайте.— Владелец спокойного голоса исчез в сумраке раньше, чем кончил говорить.

Марго и Платон смогли еще раз удивиться. Судя по выражению лица администратора, он попал сюда тоже впервые и был поражен не меньше гостей.

В зале как будто ничего не было, кроме огромного, непомерно длинного стола и девяти кресел — одного с торца, противоположного входу, и восьми, установленных по четыре вдоль длинных сторон. Выходило, целый зал предназначался всего для девяти человек — по крайней мере для девяти человек, имеющих исключительное право сидеть во время своих таинственных соборий. Несмотря на дикость и претенциозность интерьера, в нем присутствовала своеобразная мрачная эстетика, завораживающая зрителя.

Чтобы не потерять лица, Платон громко спросил:

— Запасной выход имеется?

— Н-не знаю...— Администратор сник окончательно.— Наверное, имеется.

— Ладно, поверим на слово,— снисходительно проворчал Платон.— Акт подписываем.

5

Платон продолжал якшаться с людьми, которых Марго уже не могла считать сплошь шарлатанами, но по-прежнему недолюбливала. Правда, он утверждал, что теперь ищет в этой среде уже не специалиста по перехвату Легионовых мерзких приказов, а его потенциального уничтожителя, образно говоря — киллера.

Появление нового персонажа Платон предварил кратким сообщением. «Ликвидатора» зовут Юрий Антонович Фугасов, он выпускник географического факультета Педагогического института, окончил аспирантуру, но диссертацию не защитил. Занимается исследованиями биоэнергетики и биополей. Опубликовал несколько десятков статей и заметок. В официальной, академической, науке не приобрел не то что авторитета, но даже элементарного уважения. Его

опыты считаются некорректными, а выводы — спекулятивными. Но среди биоэнергетиков к его достижениям относятся с пиететом, при том что его самого терпеть не могут из-за сварливого характера и мелкой непорядочности. Ему семьдесят с чем-то лет, но он весьма энергичен.

Марго приготовилась увидеть монстра, но по внешнему виду Фугасов оказался не слишком экзотическим явлением. Лицо его было малоподвижно, и на нем красовалась либо застывшая самодовольная улыбка, либо не менее самодовольная многозначительная серьезность. Говорил он громко, на одной ноте, правильными отрывистыми фразами, и, сказав нечто остроумное с собственной точки зрения, издавал очень странный смех, состоящий из отдельных повторяющихся покашливаний. Он оказался еще и пьяницей и, как только выставленный Платоном графин с водкой опустел, бесцеремонно потребовал продолжения. Он быстро пьянел и вскоре начал нести чушь.

На следующий день они посетили его лабораторию. Это был некий гибрид оранжереи и радиомастерской. Вперемежку с растениями в полном беспорядке располагались какие-то электронные аппараты, приборы, приборчики, везде валялись разбросанные радиодетали, на подоконнике дымился разогретый паяльник, источающий запах плавленной канифоли. Среди темно-зеленой листвы, словно дикий зверь в джунглях, разгуливал Фугасов. Они как-то сразу стали называть его Фугасом.

Марго показалось, что Фугас не заметил их вторжения, но он, продолжая стоять к ним спиной, произнес монотонным, механическим голосом:

— О вашем приходе мне сообщили приборы. Они зафиксировали появление новых биополей.— Он, наконец, соизволил повернуться к гостям лицом и стал похож на актера, ожидающего на просцениуме аплодисментов.— Они и сейчас на вас реагируют.— Неуклюже сложив пополам свое грузное туловище, он поглядел на стрелки смонтированных на панели приборов, в которых Платон признал обыкновенные миллиамперметры.— Вы находитесь в слишком активном эмоциональном состоянии. Это еще не агрессия, но определенная готовность к агрессии. Вы, наверное, чем-то раздражены?

— Это и есть... прибор... который вы имели в виду? — изумился Платон.

Присмотревшись получше, Платон разглядел на каждом растении по несколько опоясывающих стебли крохотных темных колечек, от которых тянулись тонкие проводки.

Через шесть дней Фугас вручил Платону двойной лист из школьной тетради, аккуратно разграфленный карандашом по линейке. Над столбцами размещались надписи: № п/п, дата, часы, минуты, секунды, №№ приборов, интенсивность сигнала. Около последнего заголовка имелся значок сноски, и внизу листа круглым бисерным почерком было выведено: «Интенсивность указана в процентах от максимума шкалы соответствующего прибора». Всего в списке было сорок восемь номеров.

— Это пока еще пристрелка,— с важностью доложил Фугас,— а вы теперь должны мне сказать, какие из этих сигналов представляют для вас интерес.

Время единственного самоубийства, случившегося за прошедшую неделю, совпало с часами и минутами, указанными в списке Фугаса.

Прошло еще десять дней, и Марго с Платоном получили еще один, столь же педантично оформленный список. На этот раз он содержал девять номеров, из которых два соответствовали происшедшим самоубийствам.

— Как видите, кольцо сужается,— напыжился самодовольно Фугас.— И не нужно ни магов, ни телепатов.

— Да, прогресс налицо,— согласился Платон, и Марго тоже кивнула.— Насколько я понимаю, вам удастся постепенно выделить группу растений, реагирующих исключительно на нужные импульсы?

— Ха, вы мыслите в верном направлении. Но это только полдела. Окончательный ключ к опознаванию сигнала будет состоять из перечня приборов, ре-

агирующих на него, с указанием степени реакции, и перечня приборов, не реагирующих. Надеюсь вы поняли? Отсутствие реакции — такой же значимый признак, как и сама реакция. Вот, например, я уже установил, что водоросли не откликаются на то, что вы ищете... Так что злодейство вашего Легиона исключительно сухопутное.— Частым и энергичным покашливанием он изобразил активное веселье.

— Простите, но мне, как говорится, послышалось престранное слово...

— Какое слово? Я ничего такого не говорил. Странными словами, с вашего позволения, я не пользуюсь.

Этот мимолетный эпизод обеспокоил и Марго, и Платона — ведь Володечка-телепат незадолго до своей смерти столкнулся с такой же шуткой подсознания.

А еще через неделю на листке, с педантичностью тупицы-отличника разграфленном до самого низа, были заполнены всего две строки. В одной из них было указано время очередного самоубийства.

Однажды они обнаружили входную дверь Фугаса открытой нараспашку. Из комнаты вырывался необычно яркий свет.

— ...я ведь уже говорил, что работаю не один. Мне помогают так называемые «компетентные органы»,— раздалось покашливание Фугаса.— Но вы не беспокойтесь. Когда «день икс» приблизится, я вам сообщу.

В проеме показалась спина человека с громоздкой видеокамерой на плече. Сомнений быть не могло: Фугас устроил пресс-конференцию.

— Но, насколько я понял, ваши возможности намного шире, чем нейтрализация мелкой сошки, какого-то там Легиона,— вмешался рокочущий баритон.— Получается, в вашей власти погасить все агрессивные всплески эмоций? Вы можете прекратить убийства, грабежи и вообще всякое насилие, это так?

— Да, конечно. Но это дело будущего,— простодушно подтвердил Фугас, не понимая, что над ним в открытую издеваются.

— Ну довольно! — Марго схватила Платона за рукав и энергично потянула за собой к выходу.— Нам не хватает только, чтобы наши физиономии красовались завтра в газетах! — со злостью добавила она уже на улице.

В течение нескольких дней Платон скупал в ларьках все газеты без исключения и тщательно их просматривал. К счастью, пресс-конференция Фугаса не имела серьезного резонанса. В одной из заметок, в числе смешных выдумок чудака, упоминалось о следователе прокуратуры Софроновой, по словам Фугасова, будто бы обратившейся к нему за помощью.

— Пустяки! — отмахнулась Марго.— Вряд ли мое начальство сует нос в такие газеты. Я больше опасаясь реакции Легиона на эту историю.

Но время шло, и до стола прокурора маленькая газетная вырезка, неведомо какими путями, в конце концов добралась.

— Сумасшедший, он и есть сумасшедший,— пожалала Марго плечами. — Мне рекомендовали его как специалиста по всякой там телепатии, а он оказался психом.

— Ну ладно, проехали.— Прокурор благодушно смахнул со стола заметку в мусорную корзину.— Да вот еще что... Ты Легиона-то особенно не разрабатывай. Я тебе что велел? Самоубийства копить. Вот ты и копи.

На Марго этот разговор произвел неприятное, более того жуткое впечатление. Остерегаться теперь приходилось практически всех, разве что не самих себя. Для контроля над выходками Фугаса Платон решил ангажировать еще одного телепата.

Костоедова Елизавета Петровна оказалась миниатюрным и миловидным, очень юным созданием с карими глазами и добрым собачьим взглядом. Она

встретила их приветливо и, еще не выяснив, кто они и зачем пришли, предложила чай из диких трав собственного сбора. Она выглядела человеком абсолютно нормальным, и, только внимательно взглядевшись в ее слишком близко к переносице посаженные глаза, Марго уловила в их глубине нечто настораживающее — не то чтобы безумие, а скорее готовность к безумию.

Платон без всякого предварительного прощупывания коротко изложил, зачем они к ней явились. Он при этом не стал скрывать, что предлагаемая работа таит в себе определенную опасность. Ее это не испугало, и смерть Володечки не вызвала у нее удивления.

— Он сам шел к этому,— обронила она равнодушно,— он жил нечисто.

Оказалось, она вынуждена зарабатывать в качестве экстрасенса-целителя, и деньги ей нужны для поездки в Америку, в школу неошаманизма.

— Если вся загвоздка в деньгах, то мы скомпенсируем все ваши затраты,— успокоил ее Платон.

Лиза согласилась охотно и даже заметно повеселела.

— А что такое неошаманизм? — поинтересовался Платон.

— Есть один человек, его зовут О'Брайен. Он возродил шаманизм на основе современных знаний. Применяет новейшие средства — психоделическую музыку, цветные стробоскопы... я не знаю всего.

— А я-то думала, шаман всегда с бубном,— удивилась Марго.

— Суть шаманизма не в бубне, а в путешествии в параллельные миры, влияющие на события нашего мира. Бубен обтягивался шкурой трехгодовалого теленка оленя, он, как и стрела, был символическим транспортным средством, на котором совершалось путешествие в верхние миры. Так что это — всего лишь символ, помогавший совершить пространственный переход. Зная это, современный шаман в бубне не нуждается, у него есть другие средства...

Настроение у Марго было кислое и вовсе не из-за шаманки — от нее остались в конечном итоге положительные эмоции. Портила Марго настроение необходимость искать некоего электронного гения, компьютерного пакостника, отбывающего где-то в лагерях заслуженное наказание. Фугас был отчаянно надежен, и теперь, найдя для него телепатическую дублершу, нужно было искать дублера электронного.

Она хорошо помнила омерзение, которое у нее вызывал во время следствия человек с крысиной мордочкой, намотавший свой срок не как честный бандюган с ножом в подворотне, а в чистенькой лаборатории, сидя за компьютером в пиджаке и при галстуке. Но сейчас она отчетливо понимала: для войны с Легионом нужен именно он, и никто другой.

В понедельник утром позвонил Фугас и сообщил, что «виртуальный осиновый кол» готов.

Аппарат был громоздким, занимал целый стол в его лаборатории и чем-то напоминал первый радиопередатчик Александра Попова.

Слегка поломавшись, Фугас объявил, что его аппарат способен формировать мощные биоэнергетические импульсы, подавляющие или отменяющие все другие импульсы такой же природы. Для иллюстрации он нажал одну из клавиш на панели управления, и на щите на мгновение вспыхнула яркая красная лампочка.

— Это вроде охоты: утка летит, вы стреляете.— Он сдержанно кашлянул, предлагая оценить остроумное сравнение.

Лизу поселили в «явочную» квартиру в «зоне», об этом Фугас, естественно, ничего не знал.

Потянулись дни напряженного ожидания, утомительные и нервные для всех, кроме Фугаса. Он пил водку, требуя усиленного пайка в связи с выходом «на боевое дежурство», ни на секунду не терял своей идиотической жизнерадостности и непрерывно, когда не спал, изводил Платона тяжеловесным остро-

умием и разглагольствованиями о собственной гениальности. Спал он, к сожалению, мало.

Ждать пришлось почти неделю, пока наконец в четыре тридцать две ночи не раздались звонки трех «приборов» Фугаса, и он, раздувшись от важности, нажал клавишу генератора, который помигал лампочками и, по утверждению своего создателя, выплеснул в астральное или какое-то другое неведомое пространство мощный импульс, призванный заблокировать все другие мыслимые и немыслимые сигналы родственной ему природы.

На деле же узнать, сработала или нет «глушилка» Фугаса, предстояло только завтра, по тому, состоялось ночью или не состоялось очередное самоубийство.

В пять восемнадцать, через сорок шесть минут после первого сигнала, звонки Фугасовых приборов опять заработали.

— Все, господин Легион, игра сыграна! — радостно бубнил Фугас. — Заказывайте себе виртуальный гроб! — Он долго смеялся, то есть покашливал, на всякие лады повторяя: — Да, да, виртуальный гроб, господин Легион!

В пять двадцать восемь звонки и сигнальные лампочки приборов ожили в третий раз за сегодняшний день.

— Шах и мат! — объявил Фугас, нажимая клавишу. — Я добил его! И вы, почтеннейший Фома, наконец уверовали?

— Примите поздравления, — не очень жизнерадостно выдал из себя Платон. — Насчет того, что вы добились его, пока сомневаюсь, но он определенно на вашу аппаратуру реагирует. Это уже кое-что.

— «Кое-что»! — возмущенно передразнил Фугас. — Это не «кое-что», а победа! Выигрыш всухую!

Звонок сотового телефона избавил Платона от необходимости комментировать бахвальство Фугаса.

— Приезжай как можно скорее! — лаконично попросила Марго, и в трубке раздались короткие гудки.

На «явочной» квартире он обнаружил Лизу, бледную и неподвижную, лежащую на диванчике; около нее суетилась Марго, пытаясь заставить ее выпить воды.

— Это неопасно. Но ты сделала правильно, что вызвала меня, — снисходительно заметил Платон и добавил со скептической интонацией: — Опасаюсь, что для шаманской профессии она слишком впечатлительна.

Вскоре Лиза зашевелилась и открыла глаза.

— Боюсь, что разочарую вас. Мои впечатления очень скудные. В первый раз было то, что вам уже известно со слов... других людей. Но все-таки попробую описать. Это был совершенно внезапный импульс, предлагающий совершить самоубийство, вскрыв себе вены ножницами или ножом. Он был адресован не мне. Если бы мне, я бы не устояла. Вдруг на меня обрушилось еще что-то, вроде кошмарного шума, только не звукового, вы понимаете. Этот шум был отвратителен и причинял боль, он мучительно бил по нервам, но в нем потонуло все — и первый сигнал, и вообще все мое сознание... А во второй раз было ощущение жуткого, чудовищного насилия, я чувствовала, что превращаюсь из человека в вещество, в плазму... Ну а третий сигнал... бр-р... как будто сразу ко всем нервам приложили раскаленные утюги... мне казалось, я взорвалась, распалась на атомы. В общем, впечатления червяка, которого расклеивает курица.

К двум часам дня Марго поехала в прокуратуру. Еще ни разу она не подходила к своему рабочему столу с таким нетерпением и волнением.

В числе ожидавших ее документов дел о самоубийствах не было. На случай ошибки она навела в канцелярии справки — нет, такие дела не поступали. Тогда она обзвонила станции «скорой помощи» — за ночь произошло два самоубийства, но оба с помощью больших доз снотворного, а случаев вскрытия вен не было.

Следующие несколько дней у Марго были суматошными. Устоявшийся ритм криминальной жизни города нарушился, преступность перехлестнула при-

вычные рамки, и прокуратура была завалена неожиданными и срочными делами. Количество квартирных ограблений за неделю возросло вдвое, грабежей на улице — тоже. Подсочило число убийств, в основном за счет бессмысленных, то есть нераскрываемых, и изнасилований. Статистика угонов автомобилей и дорожно-транспортных происшествий, равно как и кабацких потасовок с увечьями, никого уже не беспокоила. Самоубийства участились более чем втрое, но случаев вскрытия вен «по-Легионовски» среди них не было.

Легион бездействовал. И только в ночь с двенадцатого на тринадцатый день, ровно в два, замигали лампочки на приборах Фугаса, запищали зуммеры и зазвенели звонки.

Платон и Марго, избравшие в этот вечер местом ночлега ее квартирку, уже спали, когда зазвонил телефон, и Марго, стараясь не давать воли раздражению, потянулась к трубке.

Это была Лиза.

— Мне снятся кошмары.

Забросив Марго к шаманке, Платон помчался к Фугасу.

Следующая атака Легиона последовала через час, в три, секунда в секунду. Интенсивность импульса не увеличилась, и Лиза приняла его без вреда для себя, как и час назад, четко распознав оба сигнала.

За минуту до четырех и Марго, и Лиза сидели, нахохлившись, и, следя за секунднoй стрелкой, Лиза даже непроизвольно втянула голову в плечи, как кошка, на которую замахнулись палкой.

Удар последовал точно в ожидаемую секунду, и Марго показалось, что она его тоже почувствовала, хотя это была только работа воображения. А лицо Лизы сморщилось как от зубной боли, и она приложила пальцы к вискам, но через несколько секунд болезненное выражение сменилось удивлением:

— Был только один сигнал... второго, который шум, не было.

«Глушилка» Фугаса не включалась. Марго выждала десять минут, и только тогда набрала номер Платона. Он не отвечал. Марго выехала к Фугасу.

Дом Фугаса горел, и пожарные лестницы тянулись к верхним его этажам. Внизу суетились пожарные и милиция, метались полуодетые люди, санитары «скорой помощи» кого-то, отчаянно кричащего, силой укладывали на носилки. Пытаться проникнуть внутрь было бессмысленно: на центральной лестнице, которая вела к мансарде Фугаса, со звоном лопались стекла, и сквозь горящие рамы хлестало бледное пламя.

Марго стала расспрашивать зевак. Впечатления у всех были почти одинаковые. В четвертом часу их разбудил звук сильного взрыва, и беспокойство за свои машины заставило их наспех одеться и выбраться на улицу. Верхняя часть дома была разрушена, полыхало пламя, пожар быстро распространялся. Один из свидетелей утверждал нечто странное: поскольку из его окна хорошо просматривался и дом, который сейчас горит, и запаркованная под ним его собственная машина, он, услышав взрыв и еще не успев одеться, глянул вниз и увидел отъезжающий на большой скорости милицейский автомобиль.

«Восьмерку» Платона она нашла в двух кварталах от Фугасова дома, в тупиковом кривом переулке. Машина стояла косо, одним колесом на поребрике, двигатель не заглух, работал, дверца была приоткрыта, из нее свешивалась нога водителя. За рулем сидел Платон, вернее, не сидел, а полулежал без сознания.

Машину она вела кое-как, Платон только начал ее учить, чуть не насильно, а она-то, дура, еще отлынивала. Прав у нее, естественно, не было, и тем не менее она с некоторым злорадством подумала, что не завидует тому гаишнику, который попытает ее остановить.

Еще издали она разглядела пожарные лестницы и суету милиции у своего дома и тотчас стала разворачиваться. Она знала, что пожар начался со взрыва в ее квартире. И подумала: странно, что именно сегодня на нее нашла блажь, ухо-

дя, оставить свет в квартире. Говорят, бывают вещие сны... а это тогда — вещая блажь.

Марго сейчас доверяла только двум людям: Паулс и Лизе. Но к Лолке тоже нельзя — она под прицелом... Оставалась шаманка.

Она открыла, когда Марго еще не успела отпустить кнопку звонка, словно ждала ее прямо у двери, и они, сбегав вниз, к машине, вдвоем кое-как затащили Платона на Лизин третий этаж.

6

Платон проспал целый день и пришел в сознание только вечером. Марго и Лиза надеялись узнать от него, что же именно произошло ночью, но он мог рассказать только, каким образом остался в живых. Спас его от смерти Фугас, перед тем как самому отправиться в мир иной. Водка кончилась, и, вняв просьбам Фугаса, Платон оделся, вышел на лестницу и успел спуститься на целый марш, когда в лаборатории произошел взрыв. Вероятно, он так и остался бы лежать на лестнице черного хода горящего здания, если бы взрыв не повредил трубы водопроводной сети. Он очнулся от того, что на него сверху лилась холодная вода, а лицо обдавало жаром вырывающихся из двери лаборатории языков пламени.

Когда он, держась за стенку, выбрался на улицу, уже появились пожарные. Один из них отвел его в сторону, по счастью, в том направлении, где он оставил машину, усадил в снежную кучу и приказал ждать «скорой помощи». Сидя в сугробе, он уговаривал себя не терять сознания и по отчетливому убеждению, что в больницу попадать нельзя, при появлении «скорой» нашел в себе силы преодолеть несколько метров, отделявшие его от машины, отпереть дверцу, забраться в кресло и через некоторое время завести двигатель. Больше он ничего не помнил.

Взрывы и пожары в Петербурге были новостью номер один на всех каналах. В ночь с пятницы на субботу неизвестные лица обстреляли из гранатомета два дома. По лаборатории известного ученого-биоэнергетика Фугасова был произведен один выстрел, и по квартире следователя прокуратуры по особо важным делам Софроновой — два. Обе акции в целом расценивались как вылазка мафии против правоохранительных органов, хотя способа пристегнуть к ним биоэнергетика репортеры пока не нашли. Скандальной «изюминкой», обострявшей общий интерес к событию, было то, что в обоих случаях нашлись свидетели, видевшие людей в омоновской форме и отъезжающую милицейскую машину.

В специальном репортаже Марго довелось наблюдать опознание собственного трупа. В кадре появилась старуха с седыми нечесаными космами, склонившаяся над месивом из обгоревших тряпок, а затем показали крупным планом лицо, испачканное сажей, и оскалившийся в злорадной ухмылке беззубый рот:

— Да, это она... важнячка...— Она затрясла плечами и энергично притопнула ногой.

Наиболее обстоятельный материал поместила «Криминальная хроника», под заголовком «Легион идет в атаку». Все сводилось к тому, что в Петербурге вот уже два года действует некая мрачная криминальная группа, нечто среднее между сектой и бандой. До сих пор их «визитной карточкой» были систематические изуверские убийства, замаскированные под самоубийства. Название банды — Легион — несомненно, свидетельствует о ее многочисленности. Организация отличается высоким уровнем конспирации и военной дисциплиной, и ни один из бандитов до сих пор не пойман. Следствие же по столь масштабной преступной деятельности было поручено — курам на смех — одному-единственному следователю, Маргарите Софроновой. Не располагая возможностями для се-

рзезного расследования, она вынуждена была связаться с телепатами и биоэнергетиками.

Через два дня в газетах появилась новая скандальная информация. Оба налета совершили настоящие омонovsky на своей служебной машине. В ту злосчастную ночь они производили обыск и изъятие незаконно хранимого оружия в квартире некоего частного лица. К трем часам все закончилось. Незадачливый владделец арсенала и его приятель, оказавшие вооруженное сопротивление, были отправлены в морг, а все четыре участника оперативной группы, живые и невредимые, доложив об успешном завершении операции, поехали сдавать конфискованное оружие, в том числе два гранатомета. И все четверо утверждают, что с этого момента и до половины шестого утра, когда их задержали, они ничего не помнят, словно находились в обмороке. «Очнувшись» они в пять утра, на Васильевском острове, вдалеке от своего места назначения, не понимая, как сюда попали. Сообщалось также, что у всех четверых случаются припадки эпилепсии, коей ни один из них ранее не болел.

— Несчастные ребята, замордуют их до смерти, а им признаваться-то не в чем.— Марго с хмурым видом отложила газету.— Разве что эти господа в серых костюмах додумаются до сеансов гипноза...

Из-за ночных взрывов и шумихи вокруг них самоубийствами «по-Легионовски» — именно так их стала именовать пресса — заинтересовалась Генеральная прокуратура, и в Петербурге объявился ее сотрудник. Он устроил выволочку начальнику Марго, районному прокурору, обвинив его в преступной бездеятельности и чуть ли не в саботаже, и приказал передать все материалы о самоубийствах уже сформированной следственной бригаде ФСБ. И начальник Марго, теперь уже бывший, вытряхнул из ее стола, сейфа и шкафов все, имеющее отношение к самоубийствам, до последней бумажки, но, вместо того чтобы передать их столичным сыщикам, тщательно все уничтожил, а затем вскрыл себе вены.

Марго одолевали сомнения. Может быть, они с Платоном не ведают, что творят? И в результате их деятельности из бутылки будет выпущен джинн такой чудовищной мощи и злобности, что все ныне существующие беды покажутся пустяком?

Настало время решить окончательно, следует ли Марго восстать из мертвых и явиться в прокуратуру с подходящей «легендой» о причинах временного отсутствия либо продолжать числиться в покойниках. И Платон, и Паулс считали наилучшим второй, захоронный вариант.

Ей оставалось направить всю энергию на поиски компьютерного преступника, своего бывшего подследственного.

Звали его Станислав Гусецкий. Трусоватые глубоко посаженные глазки, наглая ухмылка и гаденькие черные усики сразу же внушили Марго отвращение, и только спустя некоторое время она поняла, что за этой фатоватой внешностью скрываются феноменальные умственные способности. Он работал в коммерческом банке с сомнительной репутацией и, будучи уникальным специалистом по взлому чужих компьютерных сетей, занимался преступной деятельностью, не отходя от своего служебного компьютера. Потерпевшей стороной были несколько крупных концернов и банков, в том числе даже Центральный. Вскоре Марго с удивлением выяснила, что люди, заработавшие на этой афере не один миллион долларов и ухитрившиеся не попасть под следствие, платили одному из важнейших исполнителей, притом самому квалифицированному, в общем-то, по сути, гроши. На вопрос, почему он соглашался на это, Гусецкий заявил с гнусной доверительной улыбкой:

— Я же не профессионал, а любитель. Я просто развлекался.

Склонность к мелким пакостям в нем проявилась рано. После седьмого класса в нем выявилась основательная одаренность к шахматам, и его приняли в детскую шахматную школу, где, по сути, готовили будущих профессионалов. Там он получил прозвище «Гаденьш», которое прилипло к нему на всю жизнь.

Он на него не обижался, зная, что неоднократный чемпион мира, величайший шахматист всех времен и народов Карпухин когда-то имел такое же прозвище. Но в отличие от него Гусецкий шахматной карьеры не сделал: он в своем юном возрасте развел в школе такие интриги, что был изгнан, и не вынес из нее ничего, кроме клочки.

Далее он поступил на механико-математический факультет Университета и уже в студенческие годы славился способностью втравливать людей в ссоры и скандалы. Он всегда точно знал, с учетом заведомой к себе антипатии, кому и что надо сказать, чтобы вызвать столкновение интересов. Причем делал он это без всякой для себя выгоды, можно сказать, пакостил бескорыстно.

Он окончил Университет специалистом по математическому обеспечению вычислительных машин и получил распределение в Казань, в Русско-болгарский институт по адаптации американских компьютерных программ. Для него это было такой же удачей, как для навозного жука, несомого буйным ветром, угодить прямо в лепешку коровьего дерьма. Болгария, единственная из социалистических стран, имела статус слаборазвитой страны, и американцы по какой-то международной разнарядке поставляли туда компьютеры и пакеты управленческих программ, запрещенные к экспорту в Советский Союз. Программы прямиком переправлялись в Казань, где наши ученые в меру своих знаний и способностей пытались их потрошить и приспособлять к социалистической действительности. Все это происходило при Андропове, последнем из советских начальников, бредивших глобальной революцией и разрушением всемирного царства капитала. И немалая роль в будущей победе над империализмом отводилась компьютерным вирусам. Требовалось создать столь прилипчивые и разрушительные вирусы, чтобы в один прекрасный день, будучи запущенными в мировую компьютерную сеть, они по крайней мере на время парализовали бы финансовую, экономическую и военно-техническую жизнь всех развитых стран.

У Гаденьша открылся талант к вирусотворчеству, и из множества людей, время от времени в разных концах света проклинавших внезапно взбесившиеся компьютеры, ни один не знал, что обязан своими несчастьями всего лишь невзрачному усатому человечку, внешностью напоминающему не то голодного ко-та, не то сытого таракана.

Но талантам его не суждено было расцвести в полной мере: мировой капитализм оставил в покое, а вот вирусный институт разогнали. Казань стала татарской столицей, и Гаденьш вернулся на родину, в Петербург, где и нашел прибежище в маленькой фирме, выпускавшей специфические приборы, всевозможные «жучки» и прочую электронную пакость.

Гусецкий уже полтора месяца был в бегах. Милиция, ясное дело, никуда о беглых не сообщает, это будет считаться недостатком в работе. А он сам потом явится — куда ему деться — и положит капитану на лапу.

Марго принялась методично разыскивать бывших поделщиков Гаденьша, из тех, кто шел в ногу с прогрессом и сделал компьютеры инструментом криминального бизнеса. Задача оказалась не слишком сложной. Марго пришлось пообщаться всего с тремя не симпатичными ей людьми, чтобы познакомиться с дамой, у которой на нелегальном положении жил Гаденьш. Он охотно согласился на встречу с Марго, отлично понимая, что ее ни капельки не занимает его побег с «химии» и ей нужно что-то другое. Ссориться же с этой «важничкой», как он знал по прежнему опыту, было куда как невыгодно.

Договориться с Гаденьшем оказалось несложно — его слабостью было немое любопытство, и когда Марго сообщила, что его ожидает работа «редкостная» и даже «небывалая», он не устоял. От своей сожительницы он отказался с легкостью. Не считая нужным даже с ней попрощаться, он съехал с квартиры в ее отсутствие, оставив на столе лаконичную записку: «Меняю хату, пока».

Уловив, что место, где его поселили, в домашнем лексиконе его нанимателей именуется «зоной», он радостно пошутил:

— Ну, начальница, с тобой, как ни крути, все одно попадаешь на зону.

Платон счел его удачной находкой. Его не раздражали ни дурные манеры, ни вульгарный жаргон, ни наглое самодовольство Гаденыша. Платон понял, почему Марго искала этого человека со столь фанатичным упрямством — они оба чувствовали, что для победы над Легионом нужен пакостник, уникальный, невиданный, Пакостник с большой буквы, а Гаденыш именно таковым и являлся.

Внимательно изучив фотоснимки Фугасовой установки и диктофонные записи скудных пояснений Фугаса о принципах работы его аппаратуры, Гаденыш, как показалось Платону, пришел в задумчивое состояние.

— И ты говоришь, ему было семьдесят лет? — Он изволил, наконец, обратить внимание на вопросительный взгляд Платона. — Как же такой идиот смог так долго прожить? Удивительно... Дурак дураком, а кончил, как викинг, в огне...

На шестнадцатый день заточения на «явочной» квартире он представил свое первое творение. Это был прибор величиной с телефонный аппарат, заключенный в металлический кожух и снабженный выдвижной антенной.

— Что это? — спросила Марго.

— Генератор со специальным спектром частот.

— Но ведь в состав установки входили какие-то водоросли или что-то похожее, — осторожно вставил Платон.

— Водоросли он с тем же успехом мог запихнуть себе в задницу.

— Но если водоросли ни при чем, то как же его прибор работал?

— Неужели ты думаешь, что я могу объяснить это твоим ментовским мозгом? — презрительно усмехнулся Гаденыш. — Как эта штука работает, не знает никто — ни я, ни ты, разве что сам Легион. Я тебе одно гарантирую: никаких биоволн или биоизлучений от его изделий не исходило. — Он небрежно поворошил на столе фотоснимки. — Они излучали только электромагнитные колебания, по простому — радиоволны. Это был радиопередатчик, только со специальным набором частот и хитрой их модуляцией. Откуда он их взял, от своих растений, или Господь его надоумил, или Легион вразумил — не знаю. А уж эти радиочастоты выбивают биологические излучения то ли из самого Легиона, то ли из жертвы, то ли из обоих сразу — не знаю. Проще, такие радиопередатчики называются электромагнитными бомбами, — чуть обиженно пояснил Гаденыш.

Осознав масштаб Легиона, Гаденыш азартно, даже с упоением, изобретал для него всевозможные пакости.

— Вирус бы в него запустить, что ли... — обронил он однажды мечтательно.

— Да как же в него запустить вирус? — удивилась Марго. — Он ведь не компьютер, ему в дисковод зараженную дискету не вставишь.

— Во всякую систему, где циркулирует информация, можно запустить вирус. Нужно только подсунуть данные, которые система наверняка схавает. Любую информацию, которая касается его самого, Легион не будет блокировать, а станет ее обрабатывать.

— И ты надеешься, что при его-то сверхинтеллекте он прозевает вирус? К тому же я не понимаю, как этот вирус может выглядеть.

— Что ты не понимаешь, это нормально. Ты и простейший компьютерный вирус вряд ли себе представляешь. А прозевает, не прозевает — не знаю. Главное, он не сможет его нейтрализовать на вводе: их у него множество. Это обычные головы, обычных людей, с обычными бараньими мозгами.

— А им ты его, твой вирус, каким образом предложишь?

— Любым. Какие-то тексты запустим в Интернет, причем сделаем так, чтобы они потом сами собой выскакивали на экранах пользователей. Что-то — по телевидению, в виде рекламы, что-то — в газетных и радиообъявлениях. К

примеру, «Новая водка “Легион”» или «Потерялся кобель по кличке Легион». Каждый текст сам по себе безобиден, но при их совмещении в определенном порядке обнаружатся зашифрованные паразитарные команды, способные прилипнуть к любым программам. То есть вирусы загружаются «спящими» и могут активизироваться только при обработке больших файлов... Существующие антивирусные программы их не обнаружат, об этом он позаботится, и пользователи на первых порах их вообще не почувствуют. Постепенно активизируясь, вирусы сформируют кодовые комбинации цифр, или букв, или слов, включая ключевое слово «Легион», которые периодически будут появляться на экранах и в распечатках компьютеров, никак, впрочем, не вредя пользователю. Таким образом вирусы в массовом порядке начнут мигрировать из компьютеров в головы людей, на ходу трансформируясь в «мозговые» вирусы. В мозгах людей должны сформироваться своеобразные информационные «тромбы», каковые и так имеются у любого человека, но эти будут специализированы нужным образом. Большинство людей их вообще не заметит, и никто уж не придаст значения тому, что, сталкиваясь с определенными сочетаниями цифр, букв или слов, человек на долю секунды будет выпадать из мыслительного процесса, а затем с удивлением вспоминать: «О чем же это я думал?» В конце концов нечто подобное с каждым происходит хотя бы один раз на день. Но как только данный конкретный мозг должен будет занять свое место в мыслящей цепочке Легиона, эффект информационных «тромбов» будет взрывной: человек сможет совершить действия, прямо противоположные тем, которых потребует участие в гигантском разуме Легиона. Суммарный эффект должен привести если не к полному разрушению, то к серьезным сбоям в функционировании «этой проклятой империи мысли».

Марго и Платон невольно переглянулись — такой академической речи от Гаденьша они еще не слышали.

Пришла пора заняться утомительной черной работой — размещением сотен излучателей в разных концах города. Вечерами, налазавшись по грязным лестницам и промерзнув на сквозняках, все трое поневоле садились пить водку.

Тем временем Лола подготовила помещение для штаб-квартиры — пять комнат, оставленных, как офис средней руки. Располагалась новая база на Петроградской стороне, в двух шагах от собственного жилья Паулс.

— Да, размах у тебя есть, не мелочишься, — похвалила ее Марго во время предварительного осмотра.

Когда перевозка аппаратуры и личных вещей была уже закончена, Марго осталась в «явочной» квартире одна, чтобы не спеша собрать мелочи.

Она не столько опасалась забыть что-либо нужное, сколько хотела оставить квартиру стерильной, так, чтобы нельзя было определить, кто и чем здесь занимался. Тщательно вымела обе комнатенки и кухню, проверила полки, шкафы и ящики столов. Закрывая заслонку мусоропровода, она услышала, как на ее этаже остановился лифт. Платон должен был уже вернуться, Марго вошла в квартиру, ожидая его увидеть. Но вместо Платона перед ней предстал небритый оборванец, в котором она с трудом признала поэта Философьева. Он молча уставился на нее тусклым взглядом наркомана.

— Ну что, опять сбежал из психушки? — спросила она, чтобы как-то прервать утомительное молчание.

— Я пришел вразумить тебя. Легион благ.

— Тебе нельзя в таком виде болтаться по городу.

— Повторяй за мной: Легион благ.

— Перестань нести чушь! — раздражилась Марго. — Сукин сын твой Легион.

— Ты кощунствуешь против Него. Это наказуемо, — скучным голосом произнес поэт и, вытащив из кармана кухонный нож, бросился на Марго.

Двигался он неуклюже, и Марго без труда выбила из его руки нож и броском через бедро уложила на пол.

— Кто это? — послышался от двери спокойный голос Платона.

— Петербургский поэт Философьев... Но, похоже, я малость перестаралась. Слушай, Петр, хватит валять дурака, вставай.

Поэт послушно встал.

— Ты выглядишь хуже бомжа. Давай мы тебя отвезем в «Скворечник».

— Нет, нет! — В его глазах возник неподдельный страх. — Отпусти меня. Я боюсь врачей. — Он показал пальцем на Платона.

— Тебе есть куда пойти?

— Я пойду домой. На вас обоих кишат бесы.

— Покажи ключ от дома.

Философьев покорно достал из кармана связку ключей и слегка побренчал ими.

— Ладно... не дури больше.

К вечеру размещение на новом месте завершилось. Решили отпраздновать новоселье, и так получилось, что стол был накрыт как раз к полуночи. Пока Платон откупоривал шампанское, Гаденьш доверил Лоле включить следящую аппаратуру. На панелях индикаторов загорелись зеленые лампочки, на одном мониторе высветились данные о готовности излучателей к работе, а на втором повисла надпись: «Зафиксировано сигналов — 0».

Лолита была бледна, неспокойна и все время поеживалась как от холода, хотя в доме было тепло, даже жарко.

— Как странно: война началась, а кругом все тихо, бесшумно... Но от этого только страшнее. Я кожей чувствую, как весь мир наливается какой-то жутью.

Тишина нарушилась на третий день после объявления войны Легиону. В десять утра загудели зуммеры системы слежения, тотчас заверещал звуковой сигнал блока управления излучателями, вслед за ними поочередно пискнули оба рабочих компьютера, оповещая, что получена новая информация, и дежурные приборы в течение нескольких секунд перемигивались красными и желтыми лампочками, сверх постоянно мерцающих зеленых. Затем вся аппаратура успокоилась. На следящем компьютере, которому было предписано вести отсчет импульсов, появилась строка: «Зафиксировано сигналов — 1», и характеристики сигнала, а на втором, управляющем излучателями, высветилась надпись: «Подавлено сигналов — 1», и под ней номер излучателя, продолжительность и мощность подавляющего импульса.

Следующий импульс был запеленгован через полтора часа, затем через сорок минут, потом через восемь минут, еще два — с промежутком всего лишь в семнадцать секунд. Все они были подавлены, и атака Легиона захлебнулась.

Все ожидали, станет ли Легион уничтожать излучатели. Управляющий ими компьютер вскоре сообщил, что номера первый и второй выведены из строя.

— Раскурочили, суки, — обиженно констатировал Гаденьш.

Через три дня начали поступать сообщения от милицейского осведомителя Лолы: каждое утро в разных концах города, в безлюдных закоулках, в подвалах, на чердаках, — обнаруживали трупы варварски убитых людей, со вспоротыми венами. За неделю набралось полтора десятка убийств. О самоубийствах не могло быть и речи: на всех трупах имелись следы насилия, часть жертв была связана или прикована наручниками. Милиция даже не пыталась засекретить эту информацию от репортеров, а те, мгновенно уловив связь с загадочными самоубийствами «по-Легионовски», не скупилась на броские заголовки. «Легион жаждет крови», «Легион обнажает зубы», «Легион-кровопийца» — каждый изощрялся, как мог. Убийства прекратились так же внезапно, как и начались.

Лиза постоянно жаловалась, что по ночам ощущает воздействие отрицательной энергии, и более того, утверждала, что источник ее находится в комнате Гаденьша, даже когда его там нет.

Ночью, как только Лиза заявила, что «потоки дурной энергии устремились в пространство», Марго разбудила Платона, и они втроем отправились с инспекцией на территорию Гаденыша.

Войдя, Платон не сразу нащупал на стене выключатель, и некоторое время они стояли в темноте. То, что они увидели, впечатляло. Там, где днем всю стену заполняли только серые панели приборов на стеллажах и сплетения электрических кабелей, сейчас сияло и переливалось цветными огоньками многоглазое чудище, в нижней части которого на экране компьютера плясали таблицы, надписи, бесконечные ряды чисел и разноцветные схемы. Когда Платон, наконец, включил свет, праздничная декоративность зрелища исчезла. Перед ними было всего лишь несколько десятков разнокалиберных приборов, управляемых компьютером, но ощущение, что это — некий машинный монстр, живущий собственной злокачественной жизнью, осталось.

— Вот, я же говорила, сильная отрицательная энергия, — уныло констатировала Лиза. — ОНО излучает сигналы, не понятные мне, но они сродни сигналам Легиона. Они одной породы. Я чувствую, эта штука — опасная. Она может приманить сюда Легиона.

Гаденыша разбудили и устроили ему перекрестный допрос. Он юлил, утверждая, что все это — лишь пробные поделки, попытка создать индикаторы излучений Легиона, более совершенные, чем у них сейчас в работе.

— Ты пойми же, начальница, он, паскуда, наверняка будет видоизменяться, и нам нужны средства, чтобы отследить его эволюцию.

— Вот что, — служебным голосом сказала Марго, — мне твоя вспомогательная аппаратура не нравится. Если ты сейчас же не объяснишь, что это такое, так, чтобы я поверила, я все это немедленно выключу и отдам на экспертизу кому сочту нужным.

Взгляд Гаденыша стал по-крысиному загнанным, и рот ощерился — казалось, он подыскивает подходящий предмет, чтобы его укусить. Но он продолжал упорно молчать.

— Как знаешь. — Пожав плечами, Марго не спеша направилась к электрической розетке в углу.

— Остановись, начальница! — завизжал Гаденыш и попытался броситься на нее, но Платон усадил его на место столь энергично, что стул под ним чуть не развалился. — Что же ты, начальница, делаешь? — горестно, но спокойно запричитал Гаденыш. — Я ведь исключительно тебя стараюсь. Этими штуками, — он махнул рукой в сторону пульта управления излучателями, — ты Легиона не добьешь. Надо знать, что он будет вытворять дальше. А здесь, — он повернулся к своей аппаратуре, — здесь самообучающаяся модель Легиона. Сечешь? Виртуальный Легион, ручной, домашний. Он сейчас в стадии обучения, а когда сформируется, можно будет прогнозировать все действия настоящего Легиона. Иначе его не победить.

Общее молчание длилось почти минуту.

— Похоже, сейчас не врешь, — произнесла наконец Марго. — А если врешь, то не полностью. Только зря ты это без спросу затеял... раз твоя машина принимает сигналы Легиона, он принимает ее сигналы и в конце концов заинтересуется ими. — В голосе Марго появились раздраженные нотки. — Ты своими игрушками можешь засветить нашу квартиру.

— Да ты что, начальница? Легиону не до того, мало ли какие-то сигналы! Их наверняка в мире много. Ну а если со временем и заинтересуется, то гандошить сразу не станет. Ведь он ему, хоть и машинный, а родственник. — Гаденыш радостно усмехнулся собственной шутке.

Платон предложил Соломоново решение: виртуального Легиона не уничтожать, а перевезти в другое место, на «явочную» квартиру в «зоне». Гаденышу разрешалось навещать свое детище раз в сутки.

Вулкан бездействовал ровно пятнадцать суток. Извержение началось ночью, во втором часу, с обычных импульсов Легиона, предписывающих само-

убийства. Они методично следовали точно через минуту в течение часа, всего шестьдесят сигналов, и все были подавлены. Платон решил выяснить, будет ли Легион громить излучатели, а если будет, то какими методами, и заранее установил несколько из них так, чтобы дома, на чердаках которых они находились, были видны из «штабной» квартиры.

Вскоре последовали две вспышки и через пару секунд донесся приглушенный расстоянием грохот двух взрывов. Одновременно компьютер сообщил о выходе из рабочего состояния соответствующих излучателей. Легион опять воспользовался старым добрым гранатометом. В обоих домах после взрыва начался пожар, в бинокль были ясно видны языки пламени. Значит, этой ночью надо ожидать по меньшей мере шестьдесят пожаров. Дорого же ценит Легион свою нематериальную персону...

Вскоре грохнул совсем близкий взрыв, под ногами затрясся пол, Марго и Платон переглянулись: он предусмотрительно не разместил поблизости ни одного излучателя.

— Не твоя ли это квартира? — Марго с любопытством глянула на Лолу: если это так, то не иначе ангелы-хранители надумали ее заявиться сюда. Она крайне редко проводила ночи вне дома.

Лола набрала номер своего телефона и долго слушала в трубке гудки.

— Ах ты, дрянь! Неужели... Похоже, линия оборвана.

— Я схожу, проверю, — вызвался Платон.

Он вернулся через пятнадцать минут:

— Да, так и есть. Весь этаж разнесло, но пожар несильный.

Лола была в шоке и торопливо повторяла:

— Он меня никогда не трогал... Это кто-то другой... Он бы меня не тронул...

Это кто-то другой...

— Бог с тобой, опомнись! — попыталась урезонить ее Марго. — Кому еще могло такое понадобиться? И вообще... думаю, с нас хватит одного Легиона.

Шестидесятый излучатель был уничтожен в пять тридцать три, и ровно через четыре минуты началась новая атака. Натиск Легиона длился шестнадцать минут с секундами, затем атака захлебнулась.

В шесть часов заработало телевидение, и положение стало постепенно проясняться. Этой ночью бандсектанты терроризировали город с целью вскоре предъявить свои требования, и, судя по масштабам террора, претензии их должны быть чудовищными. Один из журналистов пустил в оборот труднопроизносимое и тем не менее прижившееся словечко «бандсекта». Они устроили несколько десятков взрывов и пожаров, убили больше десяти человек печально известным «Легионовским» способом и в довершение всего привели в действие электромагнитную бомбу, из-за которой на пятнадцать минут в радиусе сорока километров вышла из строя вся электроника. При посадке в аэропорту столкнулись два пассажирских самолета, три транспортных самолета потеряли в воздухе управление и совершили вынужденную посадку, произошло несколько столкновений поездов, имеются сведения о многочисленных авариях на производстве. Для борьбы с террористами ночью были подняты по тревоге все резервы спецназа. Население просят не паниковать, ситуация под контролем, и в ближайшие часы в городе будет наведен полный порядок.

Местные радиостанции излагали события менее официально и охотно делились пока не подтвержденными сведениями. Бандсектанты для своих взрывных акций используют гранатометы и в качестве объектов нападения выбирают нежилые дома, надо думать, не желая прежде времени восстанавливать против себя население. Спецназу ночью удалось изловить троих гранатометчиков. Двое оказались телохранителями солидного коммерсанта и утверждают, что не помнят, почему покинули дом своего клиента, где раздобыли гранатомет и за чем стреляли в верхний этаж пустого дома. С третьим же бомбистом ситуация якобы еще более причудливая: им оказался один из спецназовцев, час назад еще спавший в своей казарме; понятное дело, он тоже ничего не помнит.

С семи утра началось повальное бегство людей из города. На всех магистралях возникали безнадежные «пробки», и число дорожно-транспортных происшествий не поддавалось учету. Пригородные поезда были набиты битком, междугородные автобусы на автовокзале брали штурмом.

Гаденыш стал проситься провести своего «виртуального Легиона».

— Ты же пойми, начальница, — вдохновенно убеждал он Марго, — здесь все на автоматике, есть я или нет, работает одинаково. А излучателей осталась как раз половина. Еще один наезд Легиона, и им конец. А что дальше — кранты. Сейчас самое время, когда у него крыша едет, парализовать его изнутри. Хватит ему людей гандошить. Мы с тобой и так уже сколько народу замочили.

Он, как всегда, точно попал в уязвимое место. Марго мучила именно эта мысль. Ей вспомнились слова Лолы: «Ты — американский шериф. Он полгорода разнесет, половину людей перестреляет, но преступника все-таки прикончит». Давняя шутка обернулась теперь реальностью.

— Ладно, езжай. Мы с Лизой хоть пару часов отдохнем от тебя.

Очутившись на «явочной» квартире, Гаденыш предложил Платону:

— Послушай, ты оставь меня на пару часов, а сам пока съезди туда, чтобы наши тетki не дергались. Все-таки мужик в доме — для них большое дело.

Прозвучало это естественно, но Платона насторожило одно: голос Гаденыша был дружелюбным, в нем не чувствовалось стремления ни досадить, ни поиздеваться над собеседником. Значит, что-то не так...

— Нет, — жестко ответил он, — я подожду тебя здесь. Даю тебе ровно час.

Платон расположился в кресле и стал курить, чтобы не заснуть после этой сумасшедшей ночи. Все же под мягкое стрекотание клавиатуры и попискивание компьютера он впал в приятную протрацию. Последнее, что он почувствовал перед тем, как потерять сознание, были спазмы в горле и резь в глазах.

Он очнулся от настойчивых телефонных звонков. Все еще ощущая жжение в глазах и носоглотке, он с трудом встал. Ни Гаденыша, ни его аппаратуры в квартире не было.

— Гаденыш сбежал, — вернувшись в «штабную» квартиру, доложил он лаконично Марго, — и аппаратуру вывез.

— Как это получилось? — спросила она спокойно.

— А вот так. — Он протянул ей баллончик. — Он человек лагерный. А баллончик — Лолкин, я помню. У нее, значит, и стибрил.

— Ничего, поймает! — Она очень старалась, чтобы голос звучал как можно увереннее. — Только я не понимаю мотивов... Он — беглый и может вернуться на зону. Кроме меня, никто ему не поможет. Да и деньги пообещала приличные.

— Тогда, может быть, его аппаратура? На нее делает ставку? Он твердил, что это — модель Легиона.

Легион возобновил наступление сразу после полуночи.

Без десяти час Лиза внезапно вскрикнула и зажала свои виски ладонями. Марго бросилась к ней, но она уже опустила руки.

— Все в порядке. Но я чуть не потеряла сознание. Жуткий, оглушающий сигнал оттуда. — Она показала на комнату Гаденыша. — Как булыжником по тылку.

— Но там ничего нет, никаких приборов он не оставил, — возразила Марго. — Это не оттуда.

— Нет, оттуда! — заупрямилась Лиза.

Платон молча встал и направился в пустую комнату. Лиза и Марго последовали за ним. Там, действительно, было пусто. Только отдельные детали и мусор.

— Мне показалось, ЭТО шло сверху. — Лиза поглядела на потолок. — Может, вон там?

Самая верхняя полка стеллажа отстояла сантиметров на двадцать от потолка, так что предмет, положенный на нее, снизу было не увидеть.

Платон принес стремянку и дальше действовал с такой скоростью, что Марго и Лиза не сразу поняли, что он делает.

Сунув руку в пространство между полкой и потолком, он вытащил оттуда излучатель, точно такой, как все остальные. Затем, соскользнув, почти спрыгнув, вниз, он бегом помчался в «аппаратную» и перед компьютером, управляющим излучателями, с размаха швырнул прибор на пол. На мониторе возникла надпись: «Отказ излучателя № 278». Он тотчас набрал на клавиатуре запрос: «Время срабатывания излучателя 278». Ответ гласил: ноль часов пятьдесят минут.

Лиза, наконец, сообразила, что случилось:

— Он донес на нас Легиону! Да еще таким диким способом!

Платон попытался приподнять пульт управления излучателями, и Марго с ужасом поняла, что он хочет эвакуировать аппаратуру.

— Оставь! Прошло четыре минуты, в нашем распоряжении не более трех. Бежим!

— Я без этого не уйду.

— Я клянусь тебе, что найду его и буду водить, как пса, на цепи, пока он не сделает все это заново. Но сейчас надо бежать!

Вместе с Лизой Марго удалось вытащить его на лестницу, и все трое понеслись вниз. Они были уже во дворе и успели отбежать на несколько метров от двери, когда наверху грохнул взрыв. Посыпались обломки. Марго получила болезненный толчок в спину, а Лиза упала. Платон подхватил ее на руки и побежал дальше. Он последнее время не ставил машину на улице, а парковал ее в ближних дворах, и это сейчас их спасло, потому что, как выяснилось позднее, часть стены со стороны улицы рухнула на мостовую.

Когда они пристраивали Лизу на заднем сиденье так, чтобы ее голова оказалась у Марго на коленях, все небо осветилось яркой вспышкой, а через несколько секунд до них докатился мощный раскатистый гром, и, даже сидя в машине, они почувствовали, как под колесами затряслась земля.

Выбравшись на широкую улицу, они увидели багровое зарево над всей северо-восточной частью города.

— Это Охта,— беззвучно прошептала Марго.

7

Поехали к Лизе. И Марго, и Платону ее крохотная квартира казалась единственным местом, где они смогут чувствовать себя в безопасности.

Марго принялась звонить Лоле, телефон у той все время был занят, но она продолжала с упорством раз за разом набирать номер. Наконец она дозвонилась:

— У тебя телефон в порядке? Сплошные короткие гудки.

— Извини, деловые переговоры.

— В такое-то время? У меня для тебя новости.

— У меня для тебя тоже. Где ты?

— У Лизы. Штаб-квартира больше не существует.

— Уже знаю. Сейчас приеду.

Лиза пришла в сознание, и на лице у нее возникла слабая улыбка.

— У меня для вас добрая весть. Больше нет Легиона.

— Ангел ты наш,— засмеялась Марго,— твоими бы устами да мед пить!

— Не смейся надо мной... В мире чисто, я чувствую.

— Хорошо, что ты это чувствуешь. Значит, с тобой все в порядке. Сейчас это главное.

— Не смейся... увидишь... увидишь завтра сама... а сейчас я... мне пора...— Не закончив фразы, она уснула, продолжая улыбаться.

Отойдя от нее, Марго обнаружила, что сидящий в кресле Платон тоже спит.

— Лиза, может быть, и права. Насчет Легиона. Три часа назад склад на Охте взлетел на воздух,— сказала Лола.

— Мы видели зарево. Я о нем почему-то сразу подумала. Но ты-то как успела узнать?

— Работа такая,— не без гордости усмехнулась Лола.— О разрушении крупных объектов страховые компании узнают первыми... Так вот: с военного аэродрома, за городом, стартовал транспортный самолет с боеприпасами для свободолобивого народа какой-то южной страны. Вместо того чтобы следовать предписанным маршрутом, командир повернул прямо на юг. Его засекли радары, и он не отвечал на запросы. Начальники не знали, как быть: не сбивать же его, в самом деле. Долетев до Охты, он резко пошел вниз и врезался в землю посреди склада, который ты инспектировала... Вот, собственно, и все. Там теперь котлован, и окрестные дома пострадали. Работает комиссия, в том числе наши эксперты... Но главное что: может, Лиза права? Ведь сигналы-то шли оттуда.

— Хотелось бы поверить, но трудно. Он живуч и хитер, что твой Гаденыш. Что же он — как скорпион, укусил сам себя?

— Как знать! Может, вирусы или излучатели... В этом деле есть свой черный юмор: самолет зафрахтовал РАП, Российское авиационное приборостроение, и часть груза была взята именно с этого склада... куда он странным образом и вернулся. Если здесь замешан сам Легион, то это последняя из его висельных шуток. Э, да ты засыпаешь!

Проводив Лолу, Марго еле добрела до дивана и заснула, не раздеваясь.

Они прожили у Лизы еще три дня, а затем переехали в арендованную квартиру.

Поначалу они перезванивались с Лизой и Лолитой ежедневно, но постепенно звонки стали реже. При каждом разговоре Лиза подтверждала, что никаких признаков присутствия Легиона в этом мире нет. Сначала ее убежденность передалась Лолите, а затем и Марго. Она дала себе несколько дней отдыха, а затем набралась решимости и заявила на работу.

Новый прокурор встретил ее, как близкую родственницу, вернувшуюся из чеченского плена. Все ее действия он полностью одобрил:

— Правильно сделала, что легла на дно. Эти бандюги тебя убили бы. Ты им здорово насолила.— Как и прежний начальник, он сразу стал к ней обращаться на «ты».

Двухмесячное отсутствие ей оформили как отпуск за свой счет и в ближайшее время обещали новую квартиру.

Она с удовольствием погрузилась в столь надоевшую когда-то рутинную работу — дела о разбойных нападениях и вооруженных грабежах казались ей атрибутами устоявшегося благополучного быта. Но ее новая спокойная жизнь продлилась всего две недели. Оторвав Марго от расследования очередного хищения, прокурор в середине рабочего дня срочно вызвал ее к себе. На его лице вместо обычного благодушья застыла хмурая многозначительность.

— Похоже, по твоей части.— Он протянул ей папку.

Она ее раскрыла и почувствовала, что задыхается, как в дурном сне при неотвратимом приближении ужаса. Постепенно ее разум осваивал конкретные сведения. Пять самоубийств сразу, классических «по-Легионовски», со вспарыванием вен ножами. Случилось это сегодня утром, между половиной одиннадцатого и одиннадцатью, в «Скворечнике», то есть в больнице Скворцова-Степанова. Четверо больных и врач, заведующая отделением. Все вместе, коллективная акция. Марго никак не могла разобрать плохо пропечатанные фамилии, но наконец нашла то, что искала: в числе остальных — Философьев.

Она вышла из кабинета, ссутулившись,— у нее было такое чувство, как будто ей на спину надели рюкзак с кирпичами. Господи, неужели опять все сначала?

Взяв себя в руки, она изучила содержание незатейливых документов и пошла оформлять ордер на обыск — в палате и кабинете врачихи. Раз уж кошмар возродился и Легион восстает из пепла, она должна знать, что именно этой мы-мре было о нем известно.

Подписывая ордер, прокурор удивился:

— Да зачем тебе обыск? Ты не того... это дело не педалируй. Сейчас это никому не понравится. Подтверди факт самоубийства — и все. А мотивы... Псих, он на то и псих, что ему не нужны мотивы.

Обыск в палате не дал ничего, кроме нескольких листков с заумными текстами Философьева. Просматривая их на ходу, Марго успела даже задаться вопросом: следует или нет считать их стихами? Зато в кабинете заведующей отделением она нашла то, за что полгода назад была готова на все: диктофонные записи бесед с Философьевым и его эпилептического бреда, частичные их распечатки, а также его объемистую рукопись, посвященную Легиону.

Кассеты и распечатки она передала Платону, на которого возвращение Легиона произвело примерно такое же впечатление, как и на нее.

Вечером позвонила Лиза:

— Не хочу тебя пугать, но утром я почувствовала жуткий сигнал. Очень сильный и агрессивный. Похожий на Легиона.

— Точное время заметила?

— Да, без двадцати одиннадцать.

Несколько раз за вечер Марго пыталась дозвониться до Паулс, но безрезультатно...

Лолита позвонила сама, уже ночью, около часа, и голос у нее был какой-то странный, потусторонний:

— Мне нужно поговорить с тобой, только с глазу на глаз. Я за тобой заеду.

Новую квартиру Лолита приобрела на Петроградской — у нее было явное пристрастие к этому району. Она молча вела машину и заговорила только посередине пути:

— Я сегодня совершила убийство.

— Это как?

— Обыкновенно. Человека убила.

— И кого ты прикончила?

— Гаденьша.

Они ехали дальше опять молча и молча поднялись на третий этаж. Усадив гостью за стол, Лола шмыгнула носом и попыталась начать говорить, но Марго ее перебила:

— Тут без выпивки не обойтись. У тебя водка есть?

Лола покорно кивнула и принесла бутылку.

— А теперь рассказывай по порядку.

Хотя Лолита ни своего рабочего телефона, ни адреса Гаденьшу не давала, он ее как-то нашел и с утра заявился в офис. Мало того что он сам по себе не вписывался в обстановку, так еще и вел себя предельно нахально, и Лоле, чтобы не попасть в неловкое положение, пришлось выйти с ним на улицу. Он отвесил ей пару сомнительных комплиментов и предложил немедленно отправиться к ней домой и заняться любовью. Она же ему объяснила, что он ей до крайности неприятен и ни о какой любви не может быть речи. Но, поскольку он свою работу выполнил, она заплатит ему обещанные деньги и вместе с Марго примет участие в улаживании дел с милицией.

В ответ она услышала грубость и заявление, что он не нуждается в подачках и в отмазках на «химии» тоже, потому что скоро начальник милиции перед ним станет бегать на цирлах и баксов у него будет как грязи. А Лолиту он безумно любит и хочет сделать счастливой. Но раз она этого не желает, что же, насильно мил не будешь. И все же он хочет ей показать одну вещь, касающуюся ее и Легиона. Ехать недалеко. Она согласилась, но не стала брать свою машину, а

остановила такси, и они поехали на Васильевский остров, в полупустой, почти полностью расселенный дом.

Он привел ее в квартиру с голыми стенами, единственной «мебелью» в которой была его чудовищная установка. С тех пор, как они ее видели, она сделала вдвое больше, и в ней, кроме компьютера и электронных приборов, появились какие-то резервуары и медные трубки. Затем он заявил, что в этой установке содержится полная и точная копия Легиона. Одним словом, он, Гаденыш — не кто иной, как Аладдин, а в установке сидит джинн, и он, когда захочет, может выпускать его на волю. И тут, представляешь, я почувствовала ужас и омерзение, как от настоящего Легиона, я боялась, меня стошнит и я упаду в обморок. Самое страшное: это не было гипнозом или внушением, Легион был настоящий!

Пока Гаденыш стучал клавишами, приговаривая: «Ну давай, Легиончик, покажи этой суке!», Лолита вытащила из сумочки свой недавно приобретенный «Глок» и принялась палить по панелям приборов. Ее отбросило к двери, а всю комнату охватил огонь. Гаденыш даже не вскрикнул, его, вероятно, сразу убило током. Понимая, что с минуты на минуту сюда могут сбежаться люди, она спустилась по лестнице, благо второй этаж, и ушла проходными дворами, которых на Васильевском предостаточно.

Лола замолчала и смотрела на Марго ожидающе.

— Что я тебе скажу? Будем считать, что ничего этого не было.

Жизнь вошла в мирную колею. В конце мая проводили Лизу в Америку. Затем стал готовиться к отъезду Платон. Все кассеты, распечатки и рукописи, касающиеся Легиона, он взял с собой:

— Попробую разобраться в этом феномене, если время позволит.

Марго дали новую квартиру, и она ее понемногу обживала. Однажды в конце рабочего дня к ней подошел ее бывший сожитель, начальник экспертной группы:

— У тебя же квартира новая, может, надо чего помочь? Семья-то моя на даче... И новоселье отметить бы, как положено.

— Отчего же? Можно и отметить, — согласилась Марго.

Он приехал в тот же вечер. Хорошенько выпив и закусив, они посмотрели телевизионный сериал, и он остался у нее на ночь. На другой день все повторилось, и к концу недели Марго пришла к выводу, что сука — это разновидность комфорта.

В сентябре Марго получила бандероль от Платона. В ней обнаружилась довольно объемистая компьютерная распечатка, заголовок которой гласил: «Книга Легиона». Марго прочитала ее целиком, хотя и без большого интереса.

— Фантазер, — покачала она головой. — Да и был ли вообще Легион?

Книга Легиона

Он родился в год розового свечения. У нас на севере мало кто обращает внимание на переменчивые оттенки неба в темное время суток, на эту игру атмосферного электричества, но его мать — тогда еще будущую мать — завораживали потоки красноватого, порой даже кровавого цвета, вливавшиеся в ту слякотную петербургскую зиму в привычную лиловую гамму ночной небесной флуоресценции. Специалисты по магнитным бурям и прочим космическим явлениям могли бы, вероятно, объяснить, какими именно излучениями обусловлен сей оптический феномен, но беременную женщину вполне устраивало подсознательное ощущение присутствия в мире чего-то необычного.

Ребенок родился душевной августовской ночью, когда трудно вообразить, что обложенное тучами беспросветно черное небо в другое время года способно светиться. Появление сына на свет она не смогла осмыслить как событие рядовое и хотела дать ему имя, вторгшееся в ее сознание во сне — Гелион, в честь

солнечного бога. Но девица, заполнявшая метрику, по рассеянности написала «Легион» и ухитрилась уверить протестующую мать, что это имя звучит лучше.

В течение первого года жизни ребенка ее не покидало смутное чувство присутствия чего-то странного, порядком ее утомившее, отчего она стала невольно относиться к сыну даже чуть настороженно, пока после отнятия младенца от груди беспокоящие ее ощущения до поры до времени не исчезли.

Заговорил он поздно, после четырех лет, но отсталым ребенком его никто не считал. Все единодушно твердили, что мальчик очень умный и скорее всего одаренный. Причиной был его отрешенный, но какой-то проникающий взгляд, который он никогда не отводил в сторону первым, и среди взрослых не находилось желающих всматриваться в эти спокойные и слишком внимательные детские глаза. И еще: никто не выказывал обычно столь распространенного стремления потискать ребенка, затеять с ним на полу или на диване возню — не то чтобы он этому противился, а просто как-то не получалось.

Игрушками он не интересовался, а когда ему их навязывали, даже проявлял недовольство. И, конечно, никто из взрослых не догадывался, что он уже давно, с первых же проблесков сознания, нашел себе игрушки в тысячу раз интереснее, чем нелепые ярко раскрашенные предметы, приносимые гостями и складываемые у его кровати в унылую кучу.

Появление около его детской кровати матери, имевшей тогда образ Обладательницы теплого соска с молоком, предвлялось плавным приближением некоего приятного сгустка тепла и света, которое он ощущал даже с закрытыми глазами или во сне. Позже он стал видеть шары золотистого цвета, и однажды ему показалось, что шары двигаются скорее или медленнее в зависимости от его собственного желания. Ему захотелось заставить один из них перемещаться в обратном направлении, однако шар не подчинился его мысленному приказу и только немного замедлил движение. Это вызвало у него обиду и раздражение, он готов был заплакать, но вдруг увидел, как шар приобрел красноватый цвет и поплыл в сторону матери, вызвав с ее стороны целый поток тревожных зеленых уже не шаров, а вытянутых каплевидных форм.

На втором году жизни он вполне освоил игру в цветные шары не только с матерью, но и со всеми, кто оказывался в поле его зрения, и на языке этих красочных объектов распознавал широкий спектр человеческих эмоций, большинство из которых его детскому уму были пока непостижимы. Он научился управлять движением шаров, деформировать их по собственной воле и тем самым в определенных пределах манипулировать душевными состояниями других людей. Чаще всего жертвой неведомых никому способностей ребенка оказывался его дядька со стороны матери, который, приходя, считал своим долгом облобызать племянника мясистыми губами, хотя эта процедура — маленький Легион знал это совершенно точно — доставляла ему почти такое же отвращение, как и предмету его внимания. Он долго и медленно ел, много говорил, вернее, не говорил, а рассуждал и поучал, непрерывно распространяя неприятные приплюснутые шаровидные тела серого цвета. Мальчик научился усилием мысли вытягивать их в жгуты, разрывать на части и в таком виде возвращать говорящему, отчего тому через некоторое время становилось жарко и душно, он сбивался с мысли, недоуменно оглядывался по сторонам, подозрительно посматривал на ребенка и вскоре откланивался.

К концу третьего года жизни Легион пережил событие, сильно встряхнувшее его сознание. Был дождливый ветреный день, непрерывная дробь капель по стеклам раздражала ребенка, он с утра капризничал. Мать пыталась заинтересовать его игрой в кубики, но он с деловитым упрямством расшвыривал их по сторонам, и, оставив его за этим занятием, она удалилась на кухню. В доме больше никого не было. Раскидав кубики, он побрел за матерью и, остановившись в дверях, стал наблюдать, как она режет овощи для салата, она же его не видела. Его интересовали не сами ее действия, а поток цветных шаров, который они порождали. Помимо скучных коричневатых, означавших озабоченность хозяйст-

венными делами, по воздуху плыли лиловые шары разных размеров и оттенков, и он понимал, что они выражают удовольствие от сочного звука, с которым нож разрезает овощи, от их запаха и от предчувствия, какими вкусными они покажутся на тарелке. Периодически появлялись хорошо знакомые ему золотистые шары — когда она думала, что эта еда понравится мальчику и он будет есть с аппетитом. Но было и другое, непонятное — бледные желто-зеленые продолговатые образования, он смутно чувствовал, что за ними крылись обида, тоска и беспокойство, направленные на кого-то, ему неизвестного. Постояв с минуту у двери и все еще не замеченный матерью, он, движимый любопытством и остатками раздражения, не растраченными на кубики, заставил весь этот размеренно двигавшийся цветной поток остановиться, смешаться и направиться назад, к своему источнику. Мать вздрогнула, и, еще не успев услышать ее негромкого вскрика, он увидел вереницу вздрагивающих оранжевых шаров боли и досады. Окружающее пространство и его самого поглотили прозрачные пульсирующие волны, мощью превосходящие — он это чувствовал с предельной ясностью — все действующие в природе силы. Все кругом вдруг стало для него прозрачно и понятно, он словно отделился от своей телесной оболочки, мог проникать взглядом сквозь любые препятствия и познавать внутренний мир любого живого существа — матери, бестолково и суматошно искавшей в шкафу пузырек с йодом, мух на оконном стекле, голубей на карнизе дома напротив, кошек, собак и прохожих на улице.

Детский мозг не выдержал неожиданно обрушившейся лавины информации — маленький Легион потерял сознание и осел на пол. Мать, едва успев обмотать порезанный палец платком, отнесла ребенка в постель и стала смачивать ему виски и лоб холодной водой, пытаясь привести его в чувство, но он только конвульсивно вздрагивал, и губы лепетали что-то, совершенно ей непонятное; несколько раз он повторил странное и неприятно звучащее слово: «Гаах». Затем все его тело отчаянно напряглось и изогнулось дугой, а на губах выступила пена. Вспомнив то немного, что ей было известно об эпилепсии, она засунула ему в рот деревянную ложку и вызвала «скорую помощь».

Легион попал в больницу, ночью у него начался сильный жар. Заведующая отделением затруднялась поставить диагноз: часть симптомов указывала на менингит, а часть совершенно к нему не подходила.

С тех пор за ним ничего странного не замечалось, если не считать того, что он был не по возрасту замкнут и по-прежнему не интересовался игрушками. В школе учился хорошо, но друзьями не обзавелся и в обычных ребячьих затеях не участвовал. Таких детей, как правило, не любят, и они становятся в классе козлами отпущения. Но с Легионом этого не случилось: когда его пытались дразнить или провоцировать на драку, достаточно было его спокойного проникающего взгляда, чтобы остановить нападавших. Нельзя сказать, чтобы его пугались — нет, просто пропадала охота не то что конфликтовать, но и вообще иметь с ним дело.

Игру в цветные шары он забыл. Защитные реакции сознания вытравили этот круг воспоминаний из его памяти. Только ночами изредка его преследовали медленно плывущие цветные шары и виделись диковинно одетые люди, говорящие гортанными голосами, — тогда он просыпался в страхе и боялся снова засыпать в темноте.

Без всяких усилий перебираясь из класса в класс в смутном ожидании впереди чего-то интересного и важного, он поступил на биологический факультет Университета и, поскольку иных оценок, кроме пятерок, не имел, попал на престижную специализацию — генетику. Но в отличие от своих сокурсников восторгов по этому поводу не испытывал: он не чувствовал в себе никакого особого призвания ни к науке вообще, ни к генетике в частности. В своих действиях он руководился почти неосознанными стремлениями и неясной надеждой, что именно генетика поможет ему вспомнить нечто очень важное, давно забытое, но по праву ему принадлежащее. Несмотря на его скрытность, это было замет-

но со стороны, и ему иногда в шутку говорили, будто он похож на ищейку, потерявшую след.

Все началось, когда неожиданно объявился его отец, которого он раньше ни разу не видел. Преуспевающий промышленник, прослышав, что его сын приобрел репутацию восходящей звезды академического мира, решил наладить с ним отношения. Однажды он попросил сына о пустяковой услуге: немного поднатаскать по математике и биологии тринадцатилетнюю дочь от последнего брака. По его словам, девчонка была не дура, но училась из рук вон плохо, и никакие репетиторы ей не помогали. Теперь же, он надеется, авторитет и престиж свежееобретенного гениального брата произведут на нее впечатление.

Ее имя — Лариса — отец находил неаристократичным, простоватым и звал дочь Лолитой, имея в виду Лолиту Торрес, хотя по иронии судьбы ей в прообразы годилась совсем другая Лолита. Когда она в первый раз появилась на пороге жилья Легиона, он почувствовал к ней неодолимое влечение.

Острота ситуации для него еще более усилилась, когда он обнаружил, что она в свои тринадцать лет зоологически блудлива. Однажды, по окончании урока, он направился за какой-то мелочью на улицу и этажом ниже буквально споткнулся о свою сестренку, которая, мягко говоря, занималась любовью прямо на ступеньках с пьяным мордovorотом, не то дворником, не то водопроводчиком из его дома. Он понял, почему все ее прежние занятия с репетиторами не давали никаких результатов: она предпочитала время уроков проводить с учителями по-своему. Чтобы проверить эту догадку, он задал ей прямой вопрос, на который она без стыдливости ответила утвердительно.

Он заговорил с ней откровенно, предлагая вещи, деньги и вообще исполнение любых пожеланий, но она отклонила все его предложения с деловитостью опытной шлюхи. Тогда, совершенно потеряв голову, он попытался прибегнуть к насилию, рассчитывая, что в какой-то момент похоть захлестнет ее и подавит все другие эмоции. Но она сопротивлялась бесстрастно и отчужденно, не впадая в ярость, и он отпустил ее, пораженный холодной злобой и отвращением, хлеставшими из ее блудливых глаз. Отдышавшись и кое-как поправив одежду, она спокойно выразила готовность продолжить занятия алгеброй. И на следующий день явилась на занятия как ни в чем не бывало.

К счастью, настало лето, и Лола отправилась в загородное имение отца, дабы за время каникул осчастливить мужское население дачного поселка. Легион же попытался заняться анализом происходившего с ним этой весной. Для начала он переспал с несколькими девицами, по фактуре напоминавшими Лолиту, — благо не было недостатка в студентках, глядящих на него восторженными глазами. Далее, во время поездки на научный симпозиум, в гостинице, он клюнул на предложение швейцара и снял на ночь двух малолетних проституток. Увы, все эти «эксперименты» не шли ни в какое сравнение с тем, что он испытывал к Лолите.

Твердо зная, что в любом исследовании негативный ответ так же информативен, как и позитивный, он стал обдумывать полученные результаты. В конце концов, рассуждал он, любые сексуальные контакты, в том числе и гомосексуальные, ведут к обмену генной информацией. И если временные эпизодические предпочтения, которые особь проявляет при выборе партнера, вполне можно объяснить особенностями развития фенотипа, то столь жесткая избирательность, которая выпала на долю ему, может быть истолкована только на генном уровне.

Иными словами, он решил сделать анализы дезоксирибонуклеиновых кислот себе и Лолите, а затем хорошенько помозговать над их генетическими кодами.

Вопрос был в том, как раздобыть каплю крови девчонки. В ожидании ее появления в городе он проделал тщательный анализ собственной ДНК, а плановую научную тематику забросил: ему вдруг стало бесконечно скучно копать в подробностях процессов репликации хромосом. Он много бродил по городу,

просто так, без всякой цели, наблюдая уличную жизнь, на которую до сих пор не обращал внимания. И еще, хотя это может показаться странным, он размышлял о Боге. Не о религии — она была для него нонсенсом, паразитарным образованием ноосферы, — а именно о Боге. Как всякий мыслящий биолог по мере углубления в механизмы поддержания и развития жизни он быстро осознал абсурдность гипотез о ее стохастическом возникновении, откуда неумолимо следовал вывод о существовании Творца. Он представлялся Легиону сверхразумом с безграничным объемом оперативной памяти, и то, что людям пока неизвестна природа среды-носителя этой памяти, вовсе не означало абсолютную непознаваемость ее хозяина. Он полагал, что Бог — это некое охватывающее всю Вселенную мыслящее поле, и следовательно, давнюю и наивную попытку престарелого Альберта Эйнштейна построить общую теорию поля, из которого все известные поля вытекали бы как частные случаи, следует расценивать как попытку создания общей теории Бога. Понимая, что в каждом деле есть замысел и механизм воплощения, он считал изучение последнего естественным ключом к познанию Бога. Это, собственно, как он теперь понял, и было для него стимулом к занятиям биологией, а вовсе не традиционная научная любознательность.

Тем временем его родитель, вернувшись из заграничного круиза, привез сестрицу в город на несколько дней. Легиону пришлось сопровождать его в бизнес-клуб на банкет, по окончании которого он преподнес отцу загодя сочиненную историю о том, что в его Институте идут исследования кое-каких генетических заболеваний, и, хотя они достаточно редки, он все же беспокоится и хотел бы взять у отца и сестры по несколько капель крови для анализа. Выдумка была достаточно правдоподобной, поскольку такие исследования в принципе велись. Отцу идея пришлась по вкусу, ибо даже среди персон, равных ему по положению, наверняка далеко не у всех были генные карты.

Процедура взятия крови совершилась в лаборатории Института. С отцом все прошло, естественно, гладко, а Лолита долго не соглашалась предоставить в распоряжение Легиона свой палец, словно опасаясь подвоха со стороны гениального брата, и в последний момент попыталась отдернуть руку, из-за чего прокол подушечки безымянного пальца превратился в небольшой порез. Это не помешало ему набрать в капиллярную трубку нужное количество крови, но, когда он поднес к ранке ватный тампон с перекисью водорода, она ухитрилась вырвать палец и мигом засунула его в рот, чтобы унять кровотечение ненаучным методом зализывания. При этом упали на пол еще две капли крови и обозначились для Легиона двумя импульсными вспышками бледно-оранжевого призрачного свечения, подарив ему два кратких, измеряемых миллисекундами, периода нежданного и блаженного прозрения. Он успел вспомнить забытый эпизод из раннего детства, цветные шары, ощущение всезнания, и заглянуть на мгновение в пугающий бездонностью колодец генной памяти, и услышать странное слово «гаах». Но теперь он уже знал, что оно означает: именно это розовое мерцание, эманацию прозрения и раскрытия беспредельной памяти.

Лолита даже перестала сосать палец, почуяв, что во всей этой пакостной комедии с анализом крови ее братец умудрился-таки словить свой извращенный кайф, и смотрела на него волком, или, правильнее сказать, волчицей. Отец тоже почувствовал, что произошло нечто неординарное, и удивленно оглядывал лабораторию.

Теперь у Легиона совсем не стало свободного времени. Помимо анализов ДНК Лолиты и отца (последний он счел нелишним для полноты картины), ему предстояло изучить природу явления «гаах». Плановую научную работу он просто прекратил, не желая тратить на нее ни минуты, хотя и понимал, что в результате придется покинуть Институт. Ему было на это наплевать: зная инерционность академических учреждений, он полагал, что в запасе у него примерно полгода, и рассчитывал успеть проделать все необходимые исследования.

Покончив с анализами, он заложил их данные в компьютер и, просидев за ним двое суток, получил поразительный результат. В случае если бы инцест с

Лолитой привел к зачатию, то с вероятностью более девяноста процентов генетическая цепочка плода полностью совпала бы с его, Легиона, собственной. По всем законам это было абсурдом, ибо устоявшаяся неизблемая теория исключала подобные совпадения, но тем не менее после двукратной проверки вывод подтвердился — приходилось признать в данном случае возможность реализации невозможного.

Обдумывание парадокса привело к неожиданному умозаключению. До сих пор все известные постулаты о дискретности человеческих душ, об изначальной уникальности и неуничтожимости каждого отдельного эго вызывали у Легиона сомнения в первую очередь тем, что не мог же, в самом деле, Создатель штамповать эти пресловутые души, создав для их производства некое подобие обувного конвейера. А механизм их генерации оказался много проще: все бесконечное многообразие человеческих «я» было сотворено одним росчерком, и даже не пера, а мысли — двойная спираль ДНК, обеспечивая огромное количество генных комбинаций, с практической точки зрения — бесконечное, фактически исключала тождественную мультипликацию организмов. Безупречность Творения вызвала у Легиона чувство, напоминающее зависть.

Но в таком случае возможность тождественного повторения генной цепочки означала репликацию его, Легиона, личности и вероятность репликации сознания, то есть не предусмотренный Творением факт. Теперь ему стало понятно озверелое сопротивление девчонки: она просто запрограммирована на то, чтобы не дать реализоваться непредусмотренному событию. От этого дух захватывало: он, Легион, воочию наблюдал, как Господь Бог исправляет опечатку, латает свои огрехи. Это было похлеще, чем в аспирантские времена найти ошибку в трудах научного руководителя. Ну а если это не огрех? Если так и предусмотрено Замыслом, и он, Легион, просто получил некий выигрыш в этой вселенской генной рулетке? От этих ли головоломок или в силу простого совпадения с ним стало твориться что-то необъяснимое. Он начал временами испытывать целую гамму не связанных с сиюминутной реальностью ощущений. Однажды, работая на компьютере, чувствуя под собой пластиковое вращающееся кресло, он одновременно с полной отчетливостью осознал себя лежащим на горячем песке у сине-зеленого моря, под шум прибоя и крики чаек. В другой раз ему довелось пережить состояние полета над землей под легкими полупрозрачными крыльями, и это уже невозможно было объяснить причудами памяти или игрой воображения: он никогда не летал на дельтаплане и не мог знать деталей его устройства.

Выходило, он обладал способностью каким-то образом проникать в чужие сознания. И, продолжая свои наблюдения, он невольно пробовал входить в сферы чужих восприятий.

Относительно выбора объектов вторжения Легион пришел к заключению, что выбор происходит подсознательно, с направленностью на положительные эмоции, и ему казалось соблазнительным сделать этот процесс управляемым. Постепенно он научился совмещать эмоциональные всплески сразу нескольких персонажей, составляя из них своеобразные коктейли. Земля для него была окружена плотной оболочкой ощущений и чувств, динамичной, пульсирующей, непрерывно обновляющейся оболочкой, и он назвал ее для себя сенсуальной сферой, или сенсосферой. Он даже задался вопросом, можно ли сенсосферу считать составной частью ноосферы, но отложил его решение до будущих времен.

Первой и наиболее простой задачей было научиться идентифицировать чужие сознания, каким-то образом «помечать» приглянувшиеся эмоциональные микрососмы, чтобы повторно входить в них. Теперь он, проникая в чувственный мир очередного объекта, сразу выделял характерный для того комплекс ощущений, инвариантный относительно времени и перемен настроения персонажа: собственный запах, вкус слюны, осязательную картину зубов и полости рта, световой орнамент сетчатки при закрытых глазах и своеобразный осязательный рисунок, образуемый игрой мышц лица, особенно вокруг глаз. Получался как

бы сенсорный слепок личности, сенсуальный синдром, легко находимый в континууме сенсополя Земли, подобно тому как при спектральном анализе без труда выделяется набор линий, присущий искомому веществу или элементу. Запоминание этих синдромов для Легиона не создавало проблем: он же не занимался — хотя бы и на сенсуальном уровне — переписью населения земного шара, и в конечном итоге его интересовали именно те личностные слепки, которые сами запоминались.

Как бы то ни было, в его памяти составилсЯ своего рода каталог человеческих душ. Против ожиданий он ему представлялся отнюдь не в виде дискретной, четочной или ячеистой структуры, а чем-то вроде большого облака, сероватого, играющего приглушенными цветными оттенками. Когда его воображение воспроизводило ключевое ощущение (которое ему в данный момент угодно было сделать ключевым), облачная масса приходила в движение и выделяла шаровидное образование. По мере дальнейшей работы воображения, а иногда, казалось ему, и само по себе шло последовательное дробление серовато-лиловой массы на все меньшие и все более близкие шарообразные сгустки, последний из которых раскрывался искомым сенсуальным комплексом, и Легион мгновенно оказывался в чувственном и эмоциональном потоке избранного объекта вторжения.

В результате некоторой тренировки поиск желаемых объектов стал происходить без усилий, а после нескольких проникновений в один и тот же объект входение в него осуществлялось кратким, почти мимолетным волевым посылом, словно мысленным нажатием клавиши.

Далее Легион видел три проблемы. Первая: научиться попадать в эмоциональную сферу объекта не только из сенсосферы, но и напрямую из физического мира, или, попросту, «влезать в душу» любого человека, попавшего в его поле зрения. Вторая: попробовать проникнуть из сенсуальной и эмоциональной сфер в ментальную, в мысли объекта. И, наконец, третья, потенциально наиболее опасная: нельзя ли вмешаться в мышление объекта, то есть, хотя это и некрасиво звучит, в какой-то мере им управлять?

Для начала следовало добиться достаточно долгого проникновения в мир восприятия какого-либо объекта, чтобы идентифицировать его в пространстве с точностью до города, улицы, дома, проще говоря — увидеть его непосредственно.

На дворе стоял дождливый октябрь, и в надежде идентифицировать свой город Легион пристраивался к объектам, испытывающим ощущение сырости на улице, но все они, как назло, старались поскорее оказаться внутри помещений. И вот, наконец, ему удалось найти человека, который слонялся по городу и явно никуда не спешил. Он был не по сезону легко одет — Легион спиной чувствовал промокшую под морозящим дождем куртку, правый башмак протекал — пальцы ног мерзли, и при каждом шаге слышалось противное хлюпанье. Объект испытывал чувство голода (похоже, с утра ничего не ел, решил Легион). Но сосредоточен он был на том, что мысленно перебирал вереницы слов, некоторые из них иногда произносятся вслух. Иногда поток слов останавливался, и одна и та же строка с небольшими изменениями повторялась несколько раз либо с неуверенной интонацией произносились отдельные слова, а затем снова восстанавливался ласкающий слух внятный размер стиха. Итак, судьба свела Легиона с бродячим поэтом, под осенней моросью сочинявшим стихи. И самым важным для Легиона было то, что в отличие от других объектов поэт видел город — Легион за это проникал к нему почти нежностью. Улицы, проплывавшие перед глазами поэта, сразу показались Легиону знакомыми, и вскоре он увидел то, что нельзя было спутать ни с чем на свете — набережную Невы и кованный орнамент ворот Летнего сада. На время перестав бормотать стихи, поэт проследовал внутрь сада и побрел по боковой узкой дорожке, по самому ее краю, норовя при этом ворошить кучи опавших листьев, прислушиваясь к их шуршанию. Легион удивился, сколь прекрасны и легки эти звуки — ведь впервые он слышал их ухом поэта. Легион выбежал на улицу и остановил первую попавшуюся машину.

Через десять минут он был уже в Летнем саду и тотчас настроился снова на внутренний мир поэта — тот стоял, опершись на ограду, склонившись над темной водой Фонтанки, и сосредоточенно разглядывал оранжевые и желтые листья, медленно плывущие по течению. Выбравшись почти бегом к набережной, Легион наконец увидел его обычным зрением.

До него было шагов двадцать, и Легион едва успел разглядеть потертый джинсовый костюм, соломенные нечесанные и, похоже, давно не мытые волосы, задумчивое веснушчатое лицо. Появление Легиона вызвало у поэта волну невнятного, но сильного беспокойства — он выпрямился и стал удаляться уже не прогулочным, а нервным и скорым шагом. Легион же переживал несуразную смесь эмоций, как собственных, так и принадлежавших поэту: любопытство и желание приблизиться, свой непонятного происхождения страх и внезапную встревоженность поэта, и его жесткое нежелание, чтобы этот холеный, одетый с иголки пижон, каким ему виделся Легион, приближался. Стремление сократить дистанцию было самым сильным, и Легион стал догонять поэта. Тот, не оглядываясь, побежал.

Тренированный Легион быстро настигал голодного поэта, но, когда расстояние между ними сократилось до нескольких метров, его охватила буря противоречивых ощущений и он уже не мог распознать, какие кому принадлежат, его легкие бились в попытке совместить ритмы двух дыханий, сердце аритмично дергалось, мускулы конвульсивно и вразнобой сокращались. Поэт издал сдавленный крик и побежал изо всей мочи, а Легион потерял сознание и рухнул на гранитные плиты. Через пару минут он начал было приходить в себя, и тут с ним случился первый в его взрослой жизни припадок эпилепсии.

Итак, он получил первое предупреждение. Война объявлена: Легион против Господа Бога. Результат последнего опыта означал ровно то, что означал: противопоказано вступать в прямой контакт с объектом вторжения, подходить к нему и попадать в его поле зрения, но при всем этом вполне допустимо вести за ним визуальное наблюдение на дистанции.

С этого он и начал. Его родитель, как по заказу вовремя, подарил ему свой «Форд-эскорт», и, вооружась биноклем, Легион отслеживал перемещения по холодному мокрому городу бродячего поэта, обреченного стать объектом его экспериментов. Он видел некий терпкий юмор судьбы в том, чтобы, сидя за рулем комфортабельного автомобиля, испытывать тем не менее все ощущения своего персонажа, слоняющегося по лужам на осеннем ветру в промокшей одежде и дырявых ботинках. Поэт теперь пребывал постоянно в беспокорстве и настороженности. Легиону все же не удавалось сохранять душевное равновесие объекта, и это нарушало чистоту эксперимента. Ничего не поделаешь: в конце концов это извечная проблема любой экспериментальной науки; не разбив яйца, невозможно сделать яичницу.

Чутье исследователя не подвело Легиона: именно поэт оказался той благодатной почвой, на которой удалось вырастить вожаемые способы вхождения в чужой разум. Сортируя мельчайшие оттенки ощущений, он сначала стал ясно слышать речь объекта, затем внутреннюю речь, то есть мысли, выраженные словами, и, наконец, просто понимать мысли поэта, по крайней мере достаточно отчетливо оформленные, ибо всякая мысль порождает ощущения — нужно только уметь их расшифровывать.

Проникнув в мысли поэта, Легион стал в них невольно участвовать, и вскоре обнаружилось, что они могут думать и принимать решения вместе, причем, ощущая вторжение Легиона и осмысливая его как наитие свыше, поэт тем не менее воспринимал результаты их совместной деятельности как свои собственные. Началось это со стихов. В интеллекте Легиона поэзии отводилось ничтожное место — всего лишь как специфическому, причудливому и все же частному явлению ноосферы. Но, входя в душевный мир поэта, Легион проникался глобальной значимостью поэзии, признавал ее отблеском божественного в земной жизни.

Знакомство с Легионом (если сумму постоянных вторжений неопознанной сущности можно считать знакомством) изменило творчество поэта. У того только что завершился разрывом роман с девчонкой из богатой семьи, столь же нелепый, как попытка спаривания насекомого с млекопитающим. И соответственно основным мотивом его стихов было хрустальное одиночество в сияющем волшебной игрой света, но чертовски холодном мире. Теперь же в его строки все чаще вторгались философские мысли, признаваемые им за прозрения, о множественности духовных миров, о неравноценности человеческих сознаний и восхождении в высшие, надчеловеческие состояния. В его стихах возникла авторитарность, стремление кого-то поучать и куда-то звать, а в звуковом рисунке появилась не присущая ему ранее чеканность. Однажды он записал весьма удивившую Легиона строфу:

Из бездны, тьмою казнимой,
Путь обрешь к свету —
Я, Легио Прима,
Тебе обещаю это.

Дело в том, что, выражаясь светскими терминами, Легион не сообщал по эту своего имени да и не называл себя так — Легион Первый. *Legio Prima* — это беспардонно отдавало императорским Римом, а уж чего-чего, так именно тяги к императорской атрибутике у Легиона не было совершенно. Однако, несмотря на некоторую анекдотичность, маленькое четверостишие заставило Легиона задуматься о многом. Из него с очевидностью вытекало, что не только он вторгался в сознание поэта, но и тот, в свою очередь, вторгался в сознание самого Легиона. Он в свое время продумывал эту коллизию, но только применительно не к себе, а к Творцу. У него не было сомнений в том, что Бог, проникая в людей, предусматривает их ответное проникновение в себя, тем самым обогащаясь и развиваясь, и более того, заложив в сотворенные миры страстную тягу к целенаправленному творчеству и развитию, пожинает урожай в виде сжигания постоянно накапливающейся собственной энтропии, то есть своеобразной божественной гигиеной обеспечивает свою бесконечную протяженность во времени, или попросту — бессмертие. Эти мысли естественным образом сливались со вторым опросом, порожденным все тем же четверостишием: если в нем, Легионе, отсутствуют императорские гены, гены земного владыки, в чем же тогда его претензия? На что нацелена его беспримерная дерзость? На то, чтобы приобщиться к сонму высших сущностей — безусловно, но каких именно? Мало ли их — разнообразные демоны, божества низшего и среднего ранга, наконец, всевозможные Силы, Престола, Власти и прочие, — хотя это уже чины дворцовые, а ему, Легиону, придворным не быть, он чувствовал совершенно точно. Любопытно, что совпадение своего имени с самоназванием евангельского беса он считал чисто случайным и не придавал ему никакого значения.

А пока он уточнил для себя смысл особых точек Всеобщего Поля Животворящего (в просторечии — Духа Святого): они теогенны (термин самого Легиона) и именно в силу способности порождать новых богов подлежат выкалыванию. Простое уничтожение потенциальных аутсайдеров, поддержание раз навсегда установленного порядка, в примитивной интерпретации — история Кроноса, пожирающего своих детей. Кроме того, он понял, что особые точки — отнюдь не просчет Творения: на определенных этапах человечество остро нуждалось в достаточном количестве богов различных рангов.

А еще он пришел к выводу, что обратную связь — в данном случае информационное проникновение поэта в его, Легиона, сознание — нужно строго дозировать, она порождает несвоевременные мысли. А ему нельзя забывать, что он находится уже на таком уровне, где мысль равна действию.

Легион стал все реже посещать сознание поэта — мир велик, и людей в нем много. Ему нужны были стремительный взлет и взрывное развитие, но, не желая становиться Богом Неблагодарным, он решил наградить поэта. Он внушил солидным издателям, что печатание стихов его любимца принесет им прибыль

и всеобщее уважение. Книги поэта появились на прилавках, и его стихи стали входить в моду. Обладая приличным счетом в банке, Легион мог бы позволить себе переслать поэту некоторую сумму, чтобы избавить от унижительной нищеты, но это было бы слишком просто, и он предпочел кооптировать в число поклонников поэта несколько зажиточных персонажей, обеспечивших ему безбедное существование.

Теперь Легион существовал одновременно в сотнях человеческих умов, и число это непрерывно росло. Когда оно перевалило за тысячу, он стал ощущать себя сверхличностью, обладателем супермозга, чьими ячейками, подобно нейронам примитивного органа мышления, были человеческие умы. Наиболее наглядной моделью его нового эго было представление о некоем подобии океана, играющего эмоциональными и интеллектуальными волнами, причем унаследовавшего от его первоначальной личности примат интеллектуальной деятельности. Его личный, «исходный» мозг почти потерялся в этом величественном хоре, но он оберегал его обособленность и уделял ему определенное внимание, как песчинке-избраннице, с которой начался рост супержемчужины в раковине гигантской тридакны. Так же он проявлял заботу и о своем теле, хотя уже при всем желании не смог бы в нем пребывать «эксклюзивно». Его тело заслуживало особого внимания не только как раритет, *alma mater* его первоначального «я», — он еще не понимал, как повлияет на это «я» неизбежная со временем физическая смерть первоначального вместилища. Его эго, загадочный симбиоз воли и представления, оставалось для него такой же тайной, как и в самом начале развития. Если путь расширения разума, пусть нелегкий и непростой, был вполне понятен, то его воля оставалась «вещью в себе», черным ящиком; обнаружив неисчерпаемые запасы активности, она без усилий управляла гигантским конгломератом, каковым сейчас осознавал себя Легион, — и это было непостижимо.

Его тело существовало в прежней скромной квартире, и он суммарно пребывал в нем примерно пятнадцать минут в сутки, все попечения возложив на двух живущих по соседству дам. Они, уверовав в его божественную сущность, с восторгом обслуживали его круглосуточно.

Как ни странно, его тело так и не было уволено из Института генетики, поскольку в положенные сроки сдавало годовые отчеты и что-то говорило на ученых советах.

Но тело стремительно дряхлело. Нелепость ситуации заключалась в том, что он давно уже не идентифицировал себя с этим пустым коконом, попросту говоря, тот ему был не нужен, но он не знал, как связано бытие его «я» и — конкретно — его воли с зоологическим существованием оболочки. Пришла пора вспомнить о сестрице Лолите. За прошедший десяток лет — именно столько они не виделись — она превратилась в опытную и по-прежнему ненасытную шлюху с дипломом экономиста. Унаследовав от отца деловую хватку, она, несмотря на юный возраст, состояла в совете директоров страхового общества, фактически принадлежавшего папаше. Никаких планов обзавестись семьей и тем более детьми она не строила.

Нужно было внедриться в окружение Лолиты. Сразу же выяснилось, что она, повинувшись какому-то сучьему инстинкту, выбирала себе партнеров (подруг или просто друзей у нее не имелось), в сознание которых, как и в ее, он вторгаться не мог. Но все-таки одного найти удалось. Легион активно включился в сознание этого жеребца, считая полезным изучить ее постельные замашки и, к собственному удивлению, все еще питая некое, запоздавшее на десять лет, так сказать рудиментарное любопытство: что же она такое в постели?

Результат получился неожиданный: она, уже успев основательно завестись, безжалостно терзая ногтями плечи и спину партнера, внезапно издала злобное «Ах, ты, сволочь!» и чертовски больно ударила его (партнера и одновременно Легиона) костяшками пальцев в верхнюю челюсть под носом, после чего уселась на подушках и принялась нараспев, монотонно ругаться. Парень даже не разозлился — столь велико было его изумление.

Легион тоже был озадачен, но не собственно ее реакцией, а жесткостью барьера. Он снова и снова повторял попытки вторжения в сознания персонажей из ее окружения, но ему не удавалось ни за что зацепиться. Речь явно шла о каких-то фундаментальных свойствах человеческой природы, определяющих толерантность либо нетолерантность по отношению к нему. Он пришел к единственно возможному выводу: эта завеса означала попросту закрытые двери, сообщение, что данная ячейка уже занята. Ему теперь казалось странным, что он не понял этого раньше: у него не было никаких оснований считать себя первым и единственным. Теперь он пересмотрел свое отношение к религии.

Аз есмь Господь твой. Да не будут тебе божи иные разве мене. Гениально!

Количество частиц, составляющих ментальное «тело Легиона», росло по законам цепной реакции, а где цепная реакция, там и проблема устойчивости. Поле — какое угодно, Мыслящее, Животворящее, хоть сам Творец — если оно динамично, содержит проблему устойчивости.

И Легиону время от времени, чтобы предотвратить глобальные возмущения думающего океана, каковым он теперь себя ощущал, приходилось прибегать к чрезвычайным мерам, вмешиваться напрямую в мысли множества людей, подавлять или возбуждать психику больших групп, уподобляясь фантастическому вселенскому пожарному, но эти катаклизмы все равно приводили к серьезным разрушениям в его организме и ощутимым потерям мыслящих клеток — самоубийствам, преступлениям, промышленным и военным катастрофам и отказам элементов вследствие сумасшествия.

Легион выделил в себе специальное образование, субразум, направленно мыслящий орган, состоящий из лучших умов — математиков, нейрофизиологов и системных кибернетиков. Каждый из них занимался частными вопросами, иногда удивляясь, какие странные проблемы и мысли переполняют голову, но в целом они образовали сверхмозг столь мощный, что ему по силам были любые задачи.

Излюбленным объектом точечных инвазий для Легиона оставался бродячий поэт. Впрочем, давно уже не бродячий, а модный и почитаемый, к тому же мнящий себя сверхчеловеком. Краткие вторжения Легиона он воспринимал как озарения свыше и пребывал в уверенности, что его посещает непосредственно Бог-отец.

Во время очередной инвазии Легион обнаружил, что поэт, отложив на время поэтическое творчество, пишет ритмическую прозу, обкатывая в уме фразы с претензией на слог эпический, а иногда сбиваясь даже на библейскую стилистику. Когда он окончательно выбрал название сочинения — «Книга Легиона», стало ясно, что поэт ни много ни мало пишет священную книгу.

«Иные думают, только в давние времена Бог являл себя человекам. А я свидетельствую — Он мне явился, Легио Прима, Легион Первый!

Иные думают — что было, ушло навсегда и больше того не будет. А я говорю — все повторяется, и свидетельствую — Он мне сказал: “Ты — Петр, и на камне сем создам Церковь Мою”.

Иные думают — что человеку, превзошедшему науки и знания, дерзнувшему стартовать в Космос, что ему Бог? А я говорю: Он — Бог современности, Бог превзошедших и знающих, Бог безумных и дерзких, истинный Бог ваш, и имя ему Легион.

Иные считают, что бытие Божие совершается в заоблачных высях, в других мирах и галактиках. А я говорю — Бог живет с нами, среди и внутри нас. И как человеку нельзя жить без Бога, так и Богу быть невозможно без человека. Не устану вам повторять: помните Бога в сердце своем! Помните Легиона!»

Легиону стало ясно: пора создать подходящие религиозные технологии. Были разработаны критерии оптимизации информационных инъекций во времени и пространстве, соотношения понятного и непостижимого в священных текстах, скорости введения в оборот базовых религиозных идей и сопутствующих

шей мифологии. Были продуманы даже примерные образцы апокрифов, ересей и лжеучений как необходимых составляющих общего религиозного процесса (при условии правильной дозировки). Исследовалась также сравнительная эффективность разных способов распространения новой религии, и оказалось, что, несмотря на развитие технических средств коммуникации, не следует пренебрегать живыми пророками и проповедниками, ибо mass-media часто вызывают у людей недоверие.

Для окончательной проверки теории на компьютерах были полностью смоделированы все значимые параметры жизни Pax Romania к началу Новой Эры — экономика, верования, искусство, позитивные знания, география, природные условия, даже ландшафт как фактор психологического воздействия. А затем был поставлен вопрос о целесообразности и оптимизации процедуры введения новой религии. Через несколько часов напряженной работы всех участников контрольного эксперимента был получен ожидаемый и одновременно поразительный результат: именно христианство (с точностью до манеры изложения догматов), именно Иудея, именно богочеловек и именно распятие. Место и время явления Христа, длительность его жизни, количество пророков и апологетов — все было выбрано наилучшим и наиточнейшим образом. Ко времени Рождества Христа по всей Ойкумене была нарушена каноничность обрядов всех бытовавших тогда культов, и все верования пошатнулись — прекрасная подготовка почвы для посева семян новой мировой религии. Легион констатировал, что две тысячи лет назад вселенский процессор Поля Животворящего функционировал идеально.

Относительно современности та же программа отметила определенное сходство общей ситуации с той, что возникла две тысячи лет назад, — та же размытость религиозных представлений и всеобщая растерянность. Для внедрения новой религии словно специально была подготовлена ниша, но у Легиона имелись серьезные сомнения, насколько эта ниша предназначалась ему.

Как всякая сущность высокого уровня, Легион стремился к совершенству. Совершенство заключалось в безмятежности и недеянии, в существовании на грани несуществования, которое существу клеточному с его грубым биологическим метаболизмом показалось бы анабиозом, а на самом деле было блаженным сном наяву, высшей игровой реальностью. Любая материальная деятельность нарушала совершенство. Мифологемы восточных религий, диковатые когда-то для Легиона-человека, стали естественной составляющей обобщенного сознания Легиона-божества.

Вначале было ОНО. ОНО не было нечто, но ОНО и не было ничто. ОНО не было ни теплое, ни холодное, ни легкое, ни тяжелое, ни конечное, ни бесконечное. ОНО было никакое. Потом что-то произошло, и ОНО создало первого человека.

Само собой разумелось, что этот «первочеловек» — некое образование из конечного числа элементов, которое ОНО (Абсолют) отщепило (отщепил) от себя, создав нечто, способное к деятельности. Совершенное божество недействительно, действительное божество несовершенно. По сути, простое следствие одной из скучноватых теорем кибернетики (всякая замкнутая система неполна, всякая полная система не замкнута). Деятельные образования, которые Легион выделял из себя, увы, закономерно обладали слабостями низших сущностей, в частности, человека, и это делало иллюзорным всемогущество Легиона-бога.

Тем временем папа-Паулс, сначала в ненавязчивой форме, стал внушать Полите, что семейный бизнес нуждается в наследнике, и пора бы ей такового родить, пока она окончательно не спилась и не истаскалась. Поскольку те случайные болваны, с которыми она делит постель, явно не годятся ни для создания семьи, ни для деторождения, он предлагает ей превосходный выход из положения — зачатие от престижной американской пробирки ничуть не менее респектабельно, чем в законном браке. Во время поездки в Штаты папаша свел зна-

комство с родственником своего делового партнера, знаменитым тамошним доктором, обладателем коллекции образцов спермы нобелевских лауреатов, благодаря которым честолюбивые женщины зачинают гениальных детей. Лолита, разумеется, сперва закобенилась, но папа проявил настойчивость и добился ее согласия. Лолита была доставлена в Штаты и после полного клинического обследования подверглась несложной процедуре. Через неделю доктор определил, что зачатие гения совершилось. Предварительная подмена образца спермы была проведена соответствующим функцио-разумом Легиона без ведома знаменитого ученого.

Одновременно с зачатием, с точностью до секунды, наступила смерть уже окончательно разрушенного тела Легиона, что с метафизической точки зрения было вполне закономерно.

В этот миг у миллионов людей одновременно на короткую долю секунды потемнело в глазах, сбился ритм сердца, но никто не обратил на такой пустяк особого внимания — магнитные бури теперь чуть не каждый день.

Для Легиона же произошло событие огромной важности: гибель тела не оборвала его бытия, а отключение сознания на долю секунды следовало признать неопасной издержкой, естественной данью зоологическому способу происхождения. Правда, ответ на вопрос о природе носителя «я» Легиона, его воли, так и не был получен. Более того, точное совпадение во времени обоих событий наводило на неприятные догадки по этому поводу. Впрочем, как бы там ни было, промежуточная цель достигнута: Лолита, чьи ужас и отвращение по отношению к Легиону были столь сильны, распространяясь на всех, в кого Легион хоть однажды совершал вторжение, теперь вынашивала его плод и одновременно его самого телесное воплощение. Способность себя воспроизвести, зачать самому себя — качество, безусловно, чисто божественное.

Но, увы, после возвращения из Штатов в Лолиту словно вселились демоны. Предупредив только свою секретаршу, она внезапно сорвалась в Югославию, как выяснилось, с целью искупаться в Адриатическом море. Там она подцепила голландского культуриста и пустилась с ним во все тяжкие. Потом перебралась в Варну, где нашла себе местного болгарина, с которым запила вполне по-славянски. Дело кончилось пьяной истерикой, внезапным недомоганием, высокой температурой и выкидышем. Проведя неделю в больнице, она вернулась в Россию и преспокойно занялась делами, вскоре восстановив привычный образ жизни. Когда папа-Паулс, пожурив дочь за слишком уж разухабистое поведение, заметил ей в утешение, что в банке спермы препаратов еще предостаточно, она деловито, без всякого оттенка огорчения в голосе объяснила, что иметь детей уже никогда не сможет.

А Легио Прима устоял. Империя Легиона, глобальный континуум разума, эмоций и ощущений, подчиненный его воле, не рухнул. Но момент гибели эмбриона отдался в гигантском сверхорганизме куда более болезненно, чем смерть одряхлевшего бывшего тела Легиона. Отключение сознания на этот раз длилось несколько секунд — подлинный обморок Бога. У элементарных единиц, входящих в состав Легиона, непонятное явление вызвало массовый шок. Большинство восприняло странное событие как предупреждение, малую репетицию конца света в такой форме, какую не предсказывал ни один пророк. По миру прокатилась волна самоубийств, абсурдных поступков и нелепых убийств. По суммарному ощущению происходящее казалось припадком человеческой эпилепсии, спроецированным на высшую сущность — выражаясь условно, эпилепсией Бога.

Прекратился этот глобальный припадок так же внезапно, как начался, и первым стремлением Легиона было — досконально выяснить, что именно произошло и как предотвратить подобное в будущем. Катастрофа началась с гибели эмбриона во чреве Ларисы Паулс, пребывавшей в пьяном безобразии на болгарском морском курорте. Восстановление воли и самосознания Легиона совершилось в результате попытки самоубийства известного поэта в Санкт-Петер-

бурге. Спасла того от смерти сожительница, выслеживавшая поэта из ревности и успевшая вовремя вызвать «скорую помощь». Он воспринял происходящее как конец света и в помрачении рассудка решил, что самоубийство, совершенное определенным образом, может спасти мир. Эта дикая идея фантастическим образом оказалась прозрением. Не понимая, что делает, поэт вскрыл себе вены кухонным ножом, и обильное истечение крови с одновременным разрушением ее динамической структуры привело к высвобождению специфической энергии, известной в древних эзотерических культах Востока под названием «гаахх». Вследствие квантовой природы процесса выделения энергии «гаахх» она образовала пульсирующее поле, которое и восстановило устойчивость сознания глобального организма Легиона. Сущность явления «гаах» современной физике неясна, но детальному изучению не подлежит в силу заведомой аморальности такого исследования.

Легион отверг любые попытки вникнуть в суть явления «гаах» как потенциальный шаг к человеческим жертвоприношениям. Одновременно отметил, что варварские кровавые культы древности были следствием суеверий в буквальном смысле слова, то есть следствием веры в неполноценных богов. И воля Легиона не могла навязать разуму изучение «гаах», ибо это означало бы фиксацию неполноценности бога.

Гарантировать устойчивость глобального организма Легиона могла только скорейшая замена его паразитарного присутствия в сознании людей на легальное существование — внедрение его культа, новой религии. Бог жив, пока люди о нем помнят и думают. Но если для Бога-сына, как следует из Евангелия, достаточно трех верующих, то для божества ранга Легиона, по приближенным расчетам, требовалось непрерывное и осознанное его присутствие в мыслях либо эмоциях десятков тысяч людей.

И снова возник вопрос о репликации личности Легиона-человека.

Лолита знала, что не сможет родить ребенка, и это ее нисколько не огорчало. Она знала также, что способна к овогенезу, и, следственно, возможно ее оплодотворение с последующей пересадкой зародыша к другой женщине-донору. По сути, от нее требовалась одна-единственная яйцеклетка, но именно ею — одной из множества ей ненужных — она ни за что не хотела поделиться, и все разговоры на эту тему встречала с крайней враждебностью.

Время шло, и предчувствие возможной катастрофы опустилось в глубины элементарных сознаний и давало о себе знать только медленным накоплением смутной тревоги, ответственность за которую, как обычно, возлагали на потепление климата и перепады атмосферного давления.

Но, увы, неизбежное — неизбежно. Все началось с постепенного, но очень последовательного повышения солнечной активности, так сказать, внепланового, не предсказанного гелиографическими службами. Настала весна, и из всей живой природы первыми отреагировали на своевольное возбуждение светила растения. Кустарники и деревья дали необычно мощные многочисленные побеги с укрупненными цветами и листьями, но особенно буйно, словно в приступе необузданной жадности к росту, проявили себя травянистые. Вдоль проселочных дорог кипрей и борщевник вымахали в высоту до четырех-пяти метров, создавая для проезжающих экзотические пейзажи, не то африканские, не то австралийские, и теперь легко было поверить старым рассказам американских писателей о траве в прериях, где могли целиком укрыться лошадь со всадником. Затем появились странные насекомые — крупные, невероятной голодной комары с лиловыми крыльями, огромные и злощие божьи коровки, над гигантскими одуванчиками чуть не метрового роста порхали бабочки фантастических, с точки зрения одуревших от счастья энтомологов, расцветок. Млекопитающие же, включая людей, отреагировали подъемом жизненной активности. Мозги людей заполонили пресловутые «новые трихины», бесы азарта и страстей, и настал момент, когда уже не насчитывалось необходимого минимума, десятка ты-

сяч человек, ощущающих в своем сознании присутствие Легиона, а у него не было средств наставить на путь истинный мгновенно и одновременно множество выходящих из-под контроля умов. Сверхсознание Легиона потеряло единство и начало распадаться.

Эпилепсия, конвульсивная пульсация представления о себе и мире, мгновенные вспышки случайных фрагментов сознания, падение в пустоту в облаке осколков взорванного зеркала, по отражениям в которых крупички раздробленного разума пытаются осмыслить происходящее и найти путь к спасению,— примерно таковы были ощущения Легиона. Он воплощался попеременно в элементы калейдоскопа, состоящего из ключев разодранных на части личностей. Этот кошмар был бесконечным, ибо Легион уже заглянул туда, где времени не существовало, но его воля все еще действовала. И именно она, в момент случайного секундного вторжения в сознание бывшего научного работника, заставила бедолагу вскрыть себе вены ножницами, причем почти полностью разрушенный разум Легиона пытался воспрепятствовать этому, восприняв происходящее как собственное самоубийство.

Восстановление всего сверхорганизма совершилось менее чем за десять секунд. Под двойным давлением — личной воли и возбужденного происшедшим инстинкта самосохранения — Легион сформировал специальный функцио-разум, жестко нацеленный на предотвращение подобных катастроф в будущем и освобожденный от моральных запретов. В частности, это давало право исследовать и использовать явление «гаах».

Идеологи Спецразума, обладая большой, по сравнению с обычными людьми, осведомленностью, мнили себя сверхчеловеками, пророками и претендовали на собственное толкование мира, в том числе и религиозной истории. Непонятная для большинства верующих роль Сатаны и прочих падших ангелов (ведь Бог создал все сущее, значит, и Дьявола тоже?) Спецразум трактовал предельно просто: Дьявол — не что иное, как служба безопасности Господа Бога, как говорится, труженик невидимого фронта. По теории, Бог — Всеблагий и Всемогущий, а на деле, если Всеблагий, то не все методы использовать могущий, и вот ради них-то, запретных для Всеблагого методов, и создана отделенная напрочь от Бога служба безопасности, попросту — Дьявол. Сейчас он и его темное воинство все еще оболганы и запачканы пропагандистской грязью, но придет время, и Вселенная узнает правду.

Явление «гаах» изучалось в закрытой лаборатории, защищенной секретностью на всех возможных уровнях. Выяснилось, что отнюдь не всякое истечение крови приводит к образованию поля «гаах». Разрушение динамической структуры крови может происходить по различным схемам, и лишь одна из них, включающая в себя цепную реакцию распада клеток, приводит к нужному результату. Например, при истечении из капиллярной трубки или пробирки вообще не происходит высвобождение энергии. Для реализации явления «гаах» требуется истечение из живого организма, при условии предварительного специального структурирования крови, определенного энергетического и эмоционального состояния подопытного. Были также собраны и подвергнуты анализу сведения об использовании «гаах» в древности, причем попутно было отмечено, что именно отсутствие научной базы — причина низкого процента эффективности соответствующих обрядов и как результат — общая дискредитация метода.

На практике поле «гаах» обладало способностью стабилизировать ментальные структуры, не имеющие более конкретного материального носителя, и, по-видимому, изначально предназначалось для стабилизации после смерти субъекта его мыслящей и чувствующей сущности, так называемой души. Важнейшим результатом для Спецразума оказалось, что «гаах» может обеспечить не только устойчивость сверхмозга Легиона, но и автономную устойчивость самого Спецразума. Иными словами, выяснилось, что при систематической подпитке Спецразум может существовать самостоятельно, не входя в состав Легио-

на, и даже выжить в случае разрушения последнего. Было установлено, что для поддержания стабильности достаточно еженедельной подпитки энергией «гаах». Такой расход человеческого материала — одна единица в неделю — был признан несущественным, с учетом того, что в реальности люди по собственному неразумию либо неосторожности ежедневно гибнут тысячами. Хотя слова «жертвоприношение» и «жертва» никогда не произносились, а только «плановый эксперимент» и «подопытный», факт оставался фактом: Спецразум тайно узаконил регулярные человеческие жертвоприношения. Сформировался потенциальный конфликт между собственно Легионом и Спецразумом, и со временем он должен был вылиться в вопрос «кто кого».

У Спецразума же были свои внутренние проблемы. Девять его олигархов, поочередно занимающие на советах председательское кресло, в отличие от Легиона, с биологической точки зрения были обыкновенными людьми. Они вершили судьбы мира, проникали в сознание людей, но сами были подвержены естественным процессам старения, смерти и прочим низменным свойствам, обусловленным человеческой физиологией. Они воспринимали это как трагическое противоречие и, зная уязвимые места Легиона, считали его дар случайным, а волю — слабой, недостаточно целеустремленной и отягощенной предрассудками, перенесенными на сверхчеловеческий уровень из примитивного прошлого. Каждый из них был готов его заменить, и достигнутые ими знания в принципе позволяли произвести перестановку, в результате которой место Легиона Первого занял бы Легион Второй. Но их было девять, и бороться между собой означало бы для них гибель. Выход был только один: превратить самих себя в пантеон. К такой трансформации они технологически были пока не готовы. Спецразум, не бросая открытого вызова, начал подготовку к ниспровержению Легиона. Она состояла в последовательной дискредитации самого Легиона и общей дестабилизации его гигантской империи мысли, с тем чтобы после ее крушения новые благодетели восстановили Разум и Закон в человеческой популяции.

Кровавые жертвоприношения продолжались в прежнем ритме, раз в неделю, но если раньше «подопытный» бесследно исчезал в результате «планового эксперимента» и это не вызывало в элементарных умах ни паники, ни возмущения, то теперь Спецразум действовал неуклюже, оставляя трупы энергетических доноров. Нашлись люди, которые по долгу службы закономерно пришли к выводу о существовании Легиона и его ответственности за преступления. Докопавшись до истинной роли Спецразума в этих событиях, Легион уже не мог ничего предпринять, ибо его сверхорганизм стал неустойчивым и нуждался в постоянной подпитке энергией «гаах» — уничтожение Спецразума для него было равносильно самоликвидации. Некоторые элементарные умы с помощью примитивной аппаратуры научились нейтрализовать импульсы Спецразума, предписывающие самоубийства и иницирующие высвобождение «гаах», что представляло угрозу не только для Легиона, но и для самого Спецразума. Последний стал подавлять эти приборы нарочито грубыми методами, приводившими к массовой гибели населения, всеобщей панике и беспорядкам. Слово «Легион» превратилось в символ зла.

Легион понял, что обречен. Легализоваться в элементарных умах он способен теперь только при непрерывном мощном излучении «гаах» и только в качестве злого духа.

И тогда, совершив вторжение в сознание командира военно-транспортного самолета, он взял курс на главную резиденцию Спецразума и ввел машину в пике.



Владимир ЛАВРИШКО

Один день из жизни Очень Знаменитого Поэта

Очень Знаменитый Поэт прибыл в Город ранним утром в день праздника солидарности трудящихся. Он совершенно инкогнито влился в колонну демонстрантов, прошествовал с ней до самых первомайских трибун, где и свалился городским властям на голову, как гроза в начале мая. Ибо Очень Знаменитый Поэт вознамерился приступить здесь к работе над поэмой, посвященной столетнему юбилею Вождя трудящихся всех стран и континентов, включая Антарктиду. Вождь начинал свой революционный путь в стенах местного прославленного университета, чем поставил городские власти в данный момент в очень непростую ситуацию. Трудящиеся в едином порыве целеустремленной трусцой в предвкушении выпить и закусить дефилировали мимо трибун. Трибуны предвкушали было уже то же самое.

После обнаружения Очень Знаменитым Поэтом своих творческих планов последовала очень немая, но очень драматическая сцена. Городские власти — все в совершенно одинаковых шляпах, что делало их похожими на участников фантастического всепланетного грибного маскарада, переглянулись под этими шляпами. Очень Знаменитый Поэт пользовался скандальной репутацией. Были все основания полагать, что под маркой панегирика он залудит нечто в высшей мере двусмысленное. Это был коварный поэтический ход! Отказаться в содействии? В сочинении панегирика тому самому Вождю, что чугушной грудью закрывал трудящимся доступ в коридоры и закрома власти? Отказаться в день солидарности этих самых трудящихся? Это было чревато. Такого повода для издевок всевозможным радиоголосам ни в коем случае давать было нельзя! Оказать полное содействие и дать тем самым возможность телефонному вышестоящему голосу устроить тебе выволочку, которую он давно хотел устроить, но только не знал, к чему прицепиться?

Тот и другой вариант грозил выбыванием из авангарда борцов за светлое будущее и отлучением от спецзакров все более и более высоких рангов. А наиболее дальновидные Грибы думали уже о переводе своих социалистических спецзакров в спецзакрома демократические. Но до этого надо было еще дожить без инфаркта и паралича. Стратегическая задача, что говорить, была не из легких! Тактическое же решение шахматно-поэтического этюда порадовало бы знатоков простотой и элегантностью. Вовремя вспомнив, что «коммунизм — это молодость мира» и что его полагается возводить молодым, власти препоручили Очень Знаменитого Поэта заботам Редактора молодежной газеты.

Сей Редактор по высокоморальным соображениям не пользовался ни спецбуфетом, ни спецмагазином. Наказать его за это, к сожалению, было нельзя. Ну так пусть завтра же и приступает. Авось, нарвется...

С этой радостной вестью Редактор и появился у своего свояка. Сваяк, к огорчению всей родни, кроме своих прямых студенческих обязанностей, занимался еще писанием совершенно бесперспективных стихов, в которых то и дело попадались слова «душа» и «совесть». Никаких надежд на опублико-

вание подобных стихов даже в газете родственного Редактора, конечно, не было. И вот теперь робкий лучик надежды на покровительство поэтического Мэтра (и какого!) забрезжил в весьма туманном будущем Бесперспективного Свояка.

Свояк жил без удобств и телефона на втором этаже ветхозаветного строения. Но, даже если бы и был там телефон, Редактор появился бы лично, чтобы лично сообщить ошеломляющую новость — в Городе Очень Знаменитый Поэт!

— Вот тебе шанс! — Редактор, от волнения даже не присаживаясь за накрытый праздничный стол, опрокинул стопку, назидательно глядя на маринованный огурчик, наколотый на вилку (хотя какой мог быть у такого огурчика шанс?). — Не проспи! Завтра едем в место первой ссылки!

Присутствующие дамы изъявили бурное желание тоже отправиться с Очень Знаменитым Поэтом в это заповедное место.

— Постель была расстелена, а ты была растеряна... Я — Гойя! — процитировал Редактор на это сразу двух Очень Знаменитых Поэтов.

— Ладно, так и быть! — Редактор взмахнул вилкой, с которой слетел непотребленный огурчик, и уселся за стол.

Опрокинув вторую стопку и поискав глазами на вилке огурчик, он закусил пирогом. И расслабил узел галстука. Но даже из-за стола поверх занавесок-задержак, которыми баловался майский ветерок, виден был редакционный «газик». Шофер Боря кемарил без отрыва от производства, опустив голову на баранку. Труба неотложного освещения дела строительства коммунизма звала. Редактор вздохнул и опорожнил «подорожник».

— Чтоб завтра, — заявил он, — без опозданий. Как штык!

— Естественно! — вскричали дамы, воспринявшие восклицание «Ладно, так и быть!» за редакторское согласие с их захватническими планами. Но, оказалось, данное восклицание относилось только ко второй стопке и к Бесперспективному Свояку.

— Будьте дома, готовьтесь! Привезем! — бодро пообещал разочарованным дамам Редактор и ссыпался по шаткой громогласной лестнице, оставив под окнами дома шлейф выхлопных газов, а в самом доме атмосферу надежд, тревог и ожиданий.

Наутро Бесперспективный Свояк так спешил, что оказался в условленном месте четвертью часа раньше, чем надо. Но Очень Знаменитый Поэт уже возвышался там в небрежно-столичном плаще и импортной кепочке набекрень над живописной группой, состоящей из него самого и санчо-пансового Редактора. У Бесперспективного Свояка вспотели руки, отнялись ноги и пересохло во рту. Почти двухметровый Очень Знаменитый Поэт был холоден, как нержавеющей памятник самому себе. Широко открыв глаза и тут же надменно прищурившись, он отдалил взглядом Бесперспективного Свояка на положенную дистанцию и только после этого подал ему руку и назвал себя уменьшительным именем. Свояк напрягся сказать что-нибудь подходящее к случаю: значительное и поэтическое. Но в голове воцарилась оглушительная пустота. Еще хуже было то, что открывшийся было рот никак не желал закрываться. Но тут, к счастью Свояка, подрулил редакционный «газик». И Очень Знаменитый Поэт очень решительно взялся за ручку дверцы. Однако Редактор все не давал команды к отправлению. Он то вглядывался в рассветную уличную перспективу, то задирав рукав пиджака и обнажал циферблат часов. Наконец, очередной раз вглядевшись в абсолютно безлюдную даль, он махнул рукой и, подобно своему знаменитому современнику, произнес: «Поехали!» Эх, знаете, каким он парнем был, этот Редактор, сторонник теории добрых дел и поборник социальной справедливости!

«Газик» тронулся. И тут же из-за угла вывернулась заспанная фигура в штанах, не доходящих до щиколотки. Мятый плащ на фигуре был почти обыкновенной длины, но рубашка под ним была растегнута до пупа, а в руках фигу-

ра имела полную авоську «Беломора». Дефицитный ввиду локального табачного кризиса «Беломор» был приобретен по счастливому случаю по дороге. Это был Местный Известный Поэт, разведчик земных недр по первоначальной специальности и отец городской демократии по исполняемой социальной роли. Ему Редактор тоже хотел дать шанс. Местный Известный изображал из себя «своего в доску» и «рубашу-парня», будучи, как водится в таких случаях, мужичком себе на уме и тем еще Хитрованом.

Местный Известный, в отличие от Бесперспективного Свояка, сразу же принялся величать Очень Знаменитого Поэта уменьшительным именем, не дожидаясь, пока тот представится, и всем своим видом выражал тенденцию перейти к похлопыванию по плечу. Очень Знаменитый Поэт широко открыл глаза, а потом прищурился, отдаляя взглядом Хитрована. Но на Разведчика Земных Недр это не подействовало. Тогда Очень Знаменитый Поэт стал называть его тоже уменьшительно-ласкательным именем, но на «вы». К Бесперспективному же Свояку, как существу, по всей вероятности, глухонемому, было применено обычное в таких случаях обращение: «Ты, старик...»

«Газик», пропетляв по улицам, вырвался на загородный простор. Очень Знаменитый Поэт, подпрыгивая на переднем сиденье, при каждой выбоине в асфальте бодал импортной кепочкой отечественный брезент. Редактор за его спиной возился с диктофоном, чтобы не упустить возможность запечатлеть для газеты и для Истории все возможные эпохальные высказывания Очень Знаменитого гостя. Диктофон был невиданной еще японской конструкции, и у Редактора не очень получалось.

— В Америке,— Очень Знаменитый Поэт в очередной раз боднул заграничной кепочкой тент,— делают дороги для машин, а не машины для бездорожья...

Редактор мгновенно нажал кнопку записи. Мысль о коренном улучшении отечественных дорог — это была смелая и конструктивная, прогрессивная мысль. Он ждал продолжения.

— ...мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в алую зарю! — вдруг дико взвыл а капелла диктофон. Вместо записи Редактор, оказывается, врубил воспроизведение пробы диктофона в семейном застолье.

— Куда ворвемся? В какую зарю? — спросил Очень Знаменитый Поэт и тут же боднул брезентовый тент. Он поморщился одной щекой. То ли он не хотел врываться в алую зарю, то ли не хотел врываться в нее на оленях.

Бесперспективный Свояк собрался было открыть рот, который у него наконец закрылся, и выручить Редактора из неловкого положения, сказав что-нибудь к месту и поэтическое. Но его уже опередил Разведчик Земных Недр.

— А как там Володя?

Разведчик Недр не уточнил, какой именно Володя, но и так было ясно, о ком шла речь. Отнюдь не о том Володе, к месту ссылки которого они приближались со скоростью восьмидесяти километров в час.

— Боря! Дай руль! Я сейчас покажу, как поэты могут водить машины! — Очень Знаменитый Поэт обнаружил внезапное страстное желание блеснуть своим водительским мастерством.

— Как Володя? — уже громче спросил Местный Известный, поскольку решил, что его не расслышали.

— В Америке,— не поведя ни одним ухом в сторону Местного Известного Разведчика Земных Недр сказал Очень Знаменитый Поэт,— даже дети водят машины. Я в этом деле ас! Давай меняться местами, Боря!

Шофер Боря продолжал хранить ироническое молчание.

— Когда я был последний раз в Америке...

Редактор нажал на кнопку, ожидая продолжения темы улучшения дорожных покрытий.

— А Марина? — решил зайти с другого бока Разведчик Недр.

— Привет тебе передает! — неожиданно для себя брякнул Бесперспективный Свояк.

Очень Знаменитый Поэт удивленно стрельнул в него выпуклым глазом.

— Володя Высоцкий — мой друг, — сообщил он и выдержал паузу. — Но Марина Влади — мой еще больший друг.

Это высказывание открывало широкий простор для размышлений во всевозможных направлениях.

— Вы — поэты... — произнес шофер Боря неизвестно по какому поводу, потому что не закончил своей мысли. Он не отрывал глаз от дороги. Все остальные тоже продолжали молчать, переваривая информацию насчет Марины Влади.

— Когда я последний раз был в Америке, я мог на свои гонорарыкупить... — Очень Знаменитый Поэт и здесь выдержал эффектную паузу: — Вездеход-амфибию. Но пошлина чуть не такая же. Наше Министерство обороны предлагало подарить мне боевой вездеход за песню «Хотят ли русские...».

Редактор мгновенно прекратил запись, вследствие чего читателям газеты осталось неизвестным, хотят ли русские и чего именно они хотят.

Шофер Боря заложил крутой вираж и ткнул радиатором чуть не в мемориальное крыльцо.

— А мы шоферы... — закончил он начатую минут десять назад мысль насчет поэтов.

Оказалось, что уже приехали. Очень Знаменитый Поэт скорым шагом, как трудящиеся мимо первомайских трибун, прошел по анфиладам бывших барских покоев, где будущий Вождь отбывал у своей тетки суровую царскую ссылку, повернулся на каблуках, обозрел с крыльца живописные окрестности и изрек: «Да, Владимир Ильич здесь не очень страдал!»

Редактор дрожащей рукой замолотил по кнопкам, перемотал пленку и стер вообще все сегодня записанное. После чего Редактор исполнил универсальную фигуру высшего дипломатического пилотажа.

— Не пора ли перекусить? — спросил он, убирая диктофон от греха подалее.

Известный Разведчик Земных Недр тут же заявил, что пора, хотя его никто не спрашивал. Очень Знаменитый Поэт, окинув прощальным взглядом поместье, где ссыльный Вождь вкушал черствый окорок и горькую стерлядь изгнания, легким наклоном головы тоже изъявил свое согласие. В столь ранний час домашние женщины Редактора едва ли успели приготовить заказанный им торжественный прием. Оставались рестораны. Известный Хитрован высказался в пользу самого дорогого в Городе ресторана, поскольку платить не собирался.

— Я бы хотел попробовать что-нибудь национальное! — решительно заявил Очень Знаменитый Поэт, которому предстояли еще переговоры в местном издательстве.

Путь к сердцам местных издателей он решил начать прокладывать через свой интернациональный желудок национальной кулинарией.

— В Америке, — сказал он, — на каждом шагу очаровательные национальные ресторанчики.

Против национальных ресторанчиков Америки Поэтический Отец Городской Демократии не мог выдвинуть никаких убедительных тезисов. А Редактор вообще с энтузиазмом воспринял национальную идею питания — на ресторан он собирался пожертвовать свои кровные, отложенные на покупку поливного шланга и садового инвентаря. А недавно открытый ресторан национальной кулинарии славился не только доброкачественностью кухни, но и дешевизной.

Обратная дорога в предвкушении более приятной процедуры, чем посещение места ссылки, оказалась почему-то вдвое короче. У входа в ресторан

Бесперспективный Свояк скорбно, но честно попрощался, так и не ознакомив Очень Знаменитого Поэта, а через него и весь мир с неведомыми ему шедеврами.

— Ты куда? — Редактор поймал его за руку. Редактор был активным сторонником теории добрых дел. В силу предосудительности использования родственных связей он не мог позволить себе опубликовать Свояка во вверенной ему газете. Но помочь ему хотелось изо всех сил.

— У меня денег нет,— глядя в землю, честно признался Свояк. Но Редактор уже произвел в уме сложные расчеты по сопоставлению имеющейся у него наличности с ресторанными ценами.

— Пошли! — решительно сказал он.

Первым на приглашение Редактора отозвался Местный Известный Хитрован. Помахивая сеткой с «Беломором», он поднялся по лестнице в зал, выбрал лучший столик, а за ним — лучшее место. И повесил сетку на спинку стула. К нему подтянулись остальные.

— Вчера опять повысили цены на шампанское. В Америке я чуть не разорился на шампанском. Больше всего это повышение ударит по мне,— пожаловался Очень Знаменитый Поэт.

Намек был понят. Явились шампанское и национальная кулинария. То и другое было одинаково теплым, как пресловутое местное гостеприимство. Очень Знаменитый Поэт поднял фужер, прищурился и обвел взглядом полупустой зал. Но, к разочарованию Знаменитого Поэта, его никто не спешил узнавать. Он процедил сквозь мелкие хищные зубы половину фужера, занавесил выпуклые глаза веками, в доверительном жесте протянул руку к Бесперспективному Свояку и начал читать стихи. Читал он про страдания песцов на американской звероферме, про барселонское кабаре, про стриптизерш, ныряющих за деньгами в бассейн с хлоркой, то расчетливо возвышая голос, то понижая его до завораживающего шепота, чтобы все прониклись его страданиями в образах песца и стриптизерши.

— Я знаю, что живет мальчишка где-то,
и он добьется большего, чем я,—

горько закончил Очень Знаменитый Поэт, бессильно опустив протянутую к Бесперспективному Свояку руку аккуратно к фужеру с шампанским. И, все еще трагически морщась, допил его, потянулся за бутылкой и снова наполнил фужер.

Редактор ткнул Бесперспективного Свояка в бок, что должно было означать, что Свояк и есть тот самый мальчишка, который добьется большего. По этому поводу был вызван официант.

— Еще две! — сказал Редактор, имея в виду шампанское.

— И пачку «Кента»! — добавил Очень Знаменитый Поэт, кроша вилоккой так и не попробованное изделие национальной кулинарии.

— В данный момент,— почтительно доложил официант,— могу предложить только «Беломор».

В ресторане вообще никакого курева не было, и, возможно, официант имел в виду «Беломор» из авоськи Местного Известного. Он не уточнил. Но с этого момента решил не спускать со столика глаз, чтобы «кенты» не смотались, не расплатившись.

— Придется курить «Мальборо»,— сообщил Очень Знаменитый Поэт.

И он в самом деле вытащил из кармана пиджака красно-белую пачку, подобной которой никто из присутствующих в глаза никогда не видел. Кроме официанта, занимающегося фарцовкой. Но тот благоразумно промолчал. Официант только решил усилить бдительность, а если расплатятся, то ни в коем случае не обсчитывать: курить «Мальборо» помимо его фирмы могли только шпионы и агенты КГБ. Обращение с теми и другими требовало особой осторожности.

— Вот в Америке,— пожаловался Очень Знаменитый Поэт,— можно в любом месте страны, в самом захолустье купить то же самое, что в столице или в

Нью-Йорке. «Мальборо» на любой автозаправочной станции, как, кстати, и туалет...

И вдруг схватил Бесперспективного Свояка за руку.

— Старик, смотри, как она похожа на Б.!

Очень Знаменитый Поэт имел в виду свою первую жену. Бесперспективный Свояк посмотрел в указанном направлении. В официантке — за исключением, быть может, заглавной буквы имени — не было ничего общего с первой женой Очень Знаменитого Поэта. Даже национальность не совпадала, поскольку первая жена была той же национальности, что и местная кулинария. Но так как Очень Знаменитый Поэт продолжал настаивать, причем очень громко, на своем, то Бесперспективный Свояк подозрительно огляделся кругом — нет ли поблизости представителей местного издательства, с которым Очень Знаменитому предстояло еще заключать договор. Таковых он не обнаружил, но на всякий случай подтвердил: «Вылитая!»

Но Очень Знаменитому Поэту было уже не до этого. Он вдохновенно разоблачал в стихотворной форме ту самую Америку, где он покупал «Мальборо» в любом туалете. Что было нелогично. Теперь Поэт читал отрывок из только что законченной поэмы «Крокодиловы слезы под крокодиловой кожей». Даже просто стихи были у Очень Знаменитого Поэта очень длинными, а поэма превосходила эпохальностью все ранее им написанное. Уже к середине чтения Разведчик Земных Недр беспокойно заерзал на стуле. Сказывался эффект теплого шампанского. Он поерзал и снова уселся героически неподвижно, сжав изо всех сил колени. Но когда прозвучало:

Ах, как хочется тряхнуть
всю матушку-Америку...

он при слове «тряхнуть» с низкого старта крупной рысью стал удаляться в сторону туалета.

Очень Знаменитый Поэт проводил его неприязненным взглядом.

— А что, поэтам обязательно носить короткие штаны?

Оказалось, что он уже закончил чтение. Эту пару минут Местному Хитровану лучше было, конечно, потерпеть.

— В Америке...— начал Очень Знаменитый Поэт.

— ...даже на порог туалета не пустят в таких штанах ни на одной автозаправочной станции,— наконец-то к месту и, безусловно, поэтически высказался Бесперспективный Свояк.— Особенно без вездехода.

Лучше бы теплое шампанское ударило Бесперспективному Свояку туда же, куда Хитровану. Над столиком повисла зловещая тишина.

— Почитайте что-нибудь,— ледяным голосом предложил Очень Знаменитый Поэт.

Это был коварный поэтический ход. Пусть хамоватый графоман сам обнаружит себя в полной красе идиотизма. Как-то это будет выглядеть после чтения профессионала! Бесперспективный Свояк прочитал про «душу» и про «совесть». Неожиданно это оказалось вполне приемлемо. Вполне... Очень Знаменитый Поэт рассеянно кивал и покусывал ногти. Возможно, этим все благополучно бы и закончилось, но у Бесперспективного Свояка, к несчастью, прорезался голос. Нет, лучше бы шампанское ударило ему в мочегон!

Словоблудье, словоблудье
сквозняком щелястым прет.
Вы хорошие все люди,
а мой дядя водку пьет.

Очень Знаменитый Поэт перестал грызть ногти.

Он Россию любит даром,
не с подмошков, не с эстрад.

И ему не гонораром
причитается за мат.

Очень Знаменитый Поэт сузил глаза и побагровел.

Если времени в излишке —
аж зевотой сводит рот,
дядя мой читает книжки.
Только ваших не берет!

Где мелькнет Гапона ряса,
юркнув вовремя в кусты,
скажет дядя: «Словотрясы!
Так их, Господи, прости!»

Краска сошла с лица Очень Знаменитого Поэта, сменившись мертвенной бледностью. И только уши продолжали гореть багровыми фонарями.

Хоть слезливы, хоть хвалебны,
хоть всю морду обрыдай,
на черта ему молебны?!
Дяде силу, силу дай!

Силу жить и силу выжить —
сеять хлеб, точить металл.
А словам подобных выжиг
дядя верить перестал.

Он Россию любит странно —
даже мамой не зовет,
ставит чайник утром рано
да уходит на завод.

И пока пророка корчит
кто-то, как и в старину,
дядя мой работой кормит
сам себя и всю страну.

В это время, поддергивая на ходу штаны, к столу явился Разведчик Земных Недр. Он застал Очень Знаменитого Поэта уже в той стадии, когда натуральный цвет лица возвращался к тому пятнами. Алебастровой бледности были теперь, наоборот, только уши. Но Очень Знаменитый Поэт сохранял самообладание кадрового дипломата, которому на рауте, в то время когда у него расстегнулась ширинка, пнули в зад.

— Как вам эти стихи? — обратился он к Разведчику Недр, подоспевшему как нельзя более вовремя.

Разведчик Недр стихов не слышал, но определенное мнение, как отец городской демократии, о бесперспективности Свояка имел. Тот плохо усваивал идеи демократии в его изложении.

— Бесплезно, упрямый он, — сказал Разведчик Недр.

— Мне не нравится ваш дядя, — не дождавшись более пространной характеристики стихотворного текста, резюмировал Очень Знаменитый Поэт.

— Почему? — поимел еще нахальство поинтересоваться Бесперспективный Свояк.

— Он ведет какое-то растительное существование, книг не читает...

— Он читает, — пояснил Бесперспективный Свояк. — Он не берет только ва...

Тут локоть Редактора, сидевшего на противоположной стороне стола, как-им-то загадочным образом въехал ему между ребер. Свояк понял увесистый намек и замолчал. Но с тех пор, как только они с Очень Знаменитым Поэтом оставались наедине, Очень Знаменитый величал его неизменно на «вы». При большом скоплении народа оставалось прежнее демократическое обращение — «старик, ты...».

Далее события развивались следующим образом: Очень Знаменитый Поэт изъявил желание пройтись по центральной улице Города, как простой советский человек. Хотя народу на улице было много и хотя Поэт два-три раза порывался узнать в толпе бывшую первую жену, но самого его, как и в ресторане, никто не узнавал. Напрасно Редактор, Свояк и Разведчик Недр крутили головами, чтобы запечатлеться в избранном обществе. Так они прошествовали, занимая всю ширину тротуара, до Дома печати, на который и было указано Очень Знаменитому Поэту, как на место, где ему предстоит заключать договор и издаваться, предварительно получив аванс. При этом сообщении Очень Знаменитый Поэт тут же узнал на ступенях, ведущих в этот храм литературы и бухгалтерии, кого-то очень похожего на его первую жену.

— Вылитая! — подтвердил Бесперспективный Свояк, чувствуя некоторую вину за своего растительного дядю, хотя, кроме нетрезвой фигуры с седой гривой и флибустьерской повязкой, известной всему прогрессивному населению Города, он так никого и не узрел.

И тут произошло. Очень Знаменитого Поэта узнали!

— Дорогой! Уменьшительно-ласкательный! Ты?! — кинулась к нему флибустьерская фигура в грязно-белом мятом китайском плаще, известная всему просвещенному Городу тем, что, в нетерпении проталкивая в 0,7-литровую бутылку пробку, засадила там намертво узловатый творческий палец и с дикими воплями металась по чиновно-редакторским коридорам и кабинетам, жаждая освобождения и возможности наконец похмелиться.

— Три рубля! — требовательно сказала фигура с черной повязкой на глазу.— В займы! — добавила фигура так решительно, словно завтра прямо с похмелья собиралась навестить Очень Знаменитого Поэта с вожделенными тремя рублями.

Очень Знаменитый Поэт беспрекословно вынул бумажник. Он, автор многих знаменитых поэм, такого стихотворения, какое написал флибустьер про русскую гармонию, рыдающую о воле под холодной чужеземной рукой, такого стихотворения он все-таки не написал. Это знал не только он, и поэтому надо было продемонстрировать душевную щедрость. Увидев легкость расставания с трешкой, флибустьер, скосив единственный глаз в открытый бумажник Очень Знаменитого Поэта, явно собирался взять его еще раз на абордаж.

— Дорогой, ты гений! — уже начал он маневр.

Но тут Редактор, прекрасно зная, чем эти дифирамбы кончаются, потянул вверенного ему Очень Знаменитого Поэта за рукав и внес предложение продемонстрировать его своей семье за накрытым столом. Но Очень Знаменитый Поэт хоронить свою знаменитость в четырех стенах с немногочисленной аудиторией наотрез отказался. Он спрятал бумажник и вознамерился продолжать шествие к себе в гостиницу непременно пешком в гуще простого народа. Исчезнувший бумажник привел к коренной переоценке творческих достижений.

— Какой ты гений? — сказал разочарованный флибустьер, провожая взглядом пухлый бумажник в недра внутреннего кармана Очень Знаменитого пиджака.— Ты говно!

Больше по пути в гостиницу Очень Знаменитого Поэта никто не узнал. В гостинице, расположенной возле вокзала, был ресторан. Но там компания не задержалась по причине почему-то изменившегося в не лучшую сторону настроения Очень Высокого Гостя. Было куплено неизменно теплое в этом Городе шампанское и поднято в номер. Две бутылки были раскупорены немедленно, а остальные погружены в ванну с холодной водой. Но, видимо, теплое шампанское действует особенно поэтически. Вы, бедное поколение пехт, приобщенное к обязательному охлаждению шампанского, этого уже никогда не увидите! Четверо взрослых мужиков торчали в душном, прокуренном одноместном гостиничном номере и без передышки читали стихи! Вернее, читал один Очень Зна-

менитый Поэт. Остальные, разинув рты, слушали. Про одиночество и про всемирное братство, про белые деревья и про черные души, про жажду свободы у песцов, опять-таки на американской звероферме, и про опасность вещизма. А также про облагораживающую силу любви.

Пользуясь тем, что Очень Знаменитый Поэт сидел к нему спиной, Разведчик Земных Недр неслышно накрутил на телефонном диске номер своей любимой женщины и зашептал в трубку, чтобы она сейчас же приезжала, поскольку такого случая в ее жизни больше не будет.

— А за моей спиной,
(все видела спина!)...

— вдохновенно читал Очень Знаменитый Поэт. И вдруг прервал себя.

— Пусть подругу прихватит! — продолжая сидеть к Разведчику Недр спиной, заявил он.

Разведчик Недр переадресовал это пожелание телефонной трубке.

— Она говорит, что у нее нет подруг, — выслушав трубку, сообщил Местный Хитрован.

— Женщин без подруг не бывает! — внушительно произнес Очень Знаменитый Поэт. — Кто же им тогда гадости будет делать?

Против такого резона нечего было возразить. Уламывание телефонной трубки продолжилось и закончилось ее полной капитуляцией.

— Пусть такси возьмут! — подсказал вслед опущенной трубке Очень Знаменитый Поэт, которому чтение стихов исключительно в мужском обществе уже, видимо, весьма сильно приелось.

Но, хотя трубка и была опущена, Очень Знаменитый Поэт, несомненно, обладал способностью воздействовать на телефонные кабели особым магнетизмом. Или его магнетизм обходился вовсе без кабелей. Через двадцать минут две высокоинтеллектуальные дамы были уже в прокуренном номере.

— Старик! — обратился, полузанавесив выпуклые глаза, Очень Знаменитый Поэт к Бесперспективному Свояку. — Принеси шампанского!

Бесперспективный Свояк помедлил — Очень Знаменитый Поэт мог бы сказать при дамах «будь добр» или «пожалуйста». Полузанавешенные глаза незамедлительно широко открылись.

— Ради мировой поэзии! — добавил Очень Знаменитый Поэт.

Ради мировой поэзии Бесперспективный Свояк беспрекословно притащил из ванны мокрые тяжелые бутылки. Очень Знаменитый Поэт сейчас же перехватил одну из них и ловко откупорил.

— У Жаклин Кеннеди ведь кривоватые ноги, — продемонстрировал он дамам свою небрежную причастность к американскому высшему свету. — Но она умеет их ставить так, что это совсем незаметно.

Высокоинтеллектуальные дамы незаметно подобрали ноги под себя, хотя в этом не было никакой нужды. Поскольку в номере не нашлось достаточного количества стаканов, Очень Знаменитый Поэт налил себе шампанского в крышку от гостиничного графина с водой. Был провозглашен тост за присутствующих дам, и чтение стихов продолжилось, сделав резкий крен от гражданственности в сторону любовной лирики. Чтение дополнялось расширением глаз в сторону дам, занавешиванием, затем внезапным открыванием их и понижением голоса до интимного полусшепота по Станиславскому. Когда по всем видимым параметрам дамы были уже готовы к восприятию новых идей, у Очень Знаменитого Поэта появилась новая идея.

— Я видел тут у вас на набережной... симпатичный ресторанчик на воде... как он?

— «Парус», — услужливо подсказал Местный Известный Хитрован.

Редактор свирепо взглянул на него. В карманах у Редактора позвякивали только ключи и оставшаяся мелочь. Телепатическая спина Очень Знаменитого Поэта незамедлительно среагировала на звяканье мелочи.

— Я приглашаю! — Очень Знаменитый Поэт вытащил из-под низкой деревянной кровати свой чемодан, открыл его настежь и продемонстрировал увесистую пачку крупных купюр.

— Кому нужно — берите!

Это был эффектный и безопасный поэтический ход. Ну кто же возьмет? Из недр чемодана был извлечен также блок «Мальборо», и сигаретами были одарены все присутствующие, включая дам.

Редактор, который как-никак отвечал за целостность и сохранность не только Очень Знаменитого Гостя Города, но и, некоторым образом, за сохранность его чемодана, очень сильно заподозревал, что Знаменитый Гость уже в стельку и вдрабадан и что лучше бы ему остаться в номере. Но, спускаясь по лестнице, тот озадачил его таким трезвым вопросом, которого после проникновенных стихов о бескорыстном гражданстве Редактор не ожидал.

— На вашей меховой фабрике можно сделать шубу?

— Жене? — сухо спросил Редактор, будучи принципиальным противником жлобства, с одной стороны, и обладая широким гостеприимно-хлебосольным характером — с другой. Борение этих двух чувств явно обозначилось на его лице.

— Себе,— сказал Очень Знаменитый Поэт.

В происходящей на лице Редактора борьбе двух чувств явно стало преобладать первое.

— Понимаешь,— телепатическая спина Очень Знаменитого Поэта чутко уловила происходящее борение,— у меня часто бывают гости из Америки... Россия в их представлении сплошь шубы, тройки, медведи, снега, адские холода... А русский поэт без шубы... страдает. Ударить в грязь лицом... без шубы?

Такой пламенный патриотизм несколько примирил Редактора с неожиданным поэтическим жлобством. Как пламенный патриот, он не мог позволить, чтобы наш Очень Знаменитый Поэт скитался по их холодным империалистическим калифорниям почти нагишом, совершенно без шубы. Ему дали наказ всячески ублажать своего подопечного. И, хотя финансовых возможностей на это не выделили, он не сомневался, что у тех, кто удостоил его таким поручением, всяческих возможностей было предостаточно.

— Сделаем! — твердо пообещал он.

Тем временем они достигли близрасположенного ресторана-поплавка, куда их не хотели пускать по причине полной праздничной укомплектованности. Пришлось Редактору пользоваться служебным положением, вызывать директора и объяснять ситуацию. Директор ресторана мгновенно в ситуации разобрался, отстранил швейцара и лично препроводил гостей в отдельный кабинет. Было подано меню. Шампанское отсутствовало. Директор извинился — праздник! — и, понизив голос, предложил армянский коньяк из личных неприкосновенных запасов.

Но Очень Знаменитый Поэт, скосив глаза в тот раздел меню, где были обозначены цены и, видимо, произведя в уме соответствующие расчеты, решительно высказался в пользу «Столичной».

— Хотя, если вы расскажете в Москве, что я пил водку, вам никто не повесит,— сказал он.

Была принесена водка. Не в пример шампанскому очень холодная. Но теперь Очень Знаменитого Поэта перестало устраивать место. Он непременно захотел в гущу народа. Снова явился директор. Двумя дюжими официантами накрытый уже стол был поднят, перенесен и внедрен в самую гущу народную.

Поскольку холодная водка поверх теплого шампанского незамедлительно оказала соответствующий эффект, то Бесперспективный Свояк воспринимал дальнейшее уже фрагментарно. Разведчик Недр со своей бабой и Очень Знаменитый Поэт с ее подругой уходили танцевать, возвращались и снова

уходили, потом Бесперспективный Свояк уходил куда-то сам, а куда — он не мог после вспомнить. Несомненно было одно: выложенная им на ресторанный столик пачка «Мальборо» испарилась так бесследно, как будто вовсе и не существовала. То же самое произошло и с сигаретами Очень Знаменитого Поэта. Дольше всех держалась на спинке стула сетка с «Беломором» Разведчика Недр, но и она внезапно канула в небытие. Свою же пачку «Мальборо» Местный Хитрован надежно упрятал в карман, а сам растворился в неизвестном направлении. Мучительно хотелось курить. Бесперспективный Свояк выпотрошил окурки из пепельницы и свернул «козью ножку» из половинки вложенного в гляцевую обложку меню. В это время как раз случился перерыв в музыке. Очень Знаменитый Поэт вернулся с подругой к столику, мгновенно оценил сложившуюся табачную ситуацию и беспрекословной рукой забрал еще не запаленную самокрутку у Бесперспективного Свояка. Он щелкнул «ронсоном» и затянулся. Судя по выражению его лица, в Америке явно нельзя было получить такого удовольствия.

Потом к столику подошел случившийся в ресторане в этот вечер однокурсник Бесперспективного Свояка с лицом типично еврейской национальности и с типично еврейской тягой к знаниям. Он шепотом справился у Свояка: правда ли, что за его столиком находится Очень Знаменитый Поэт? Бесперспективный Свояк, сворачивая следующую самокрутку из оставшейся половинки вкладыша меню, утвердительно кивнул, поскольку язык был сильно занят. Однокурсник благоговейно попросил у Очень Знаменитого Поэта автограф. Очень Знаменитый выдернул из розового пластмассового стаканчика бумажную салфетку, вооружился ручкой и молча нарисовал на салфетке огромный фаллос, а рядом кружок с ответвляющимися от него крестиком — знак уже женской половой принадлежности. И, не поставив никакой подписи под этим художеством, протянул просимый автограф. Однокурсник Бесперспективного Свояка несколько остолбенел. Лицо еврейской национальности вопросительно вытянулось. От поэта, слова которого удостаивали своей музыкой Шостакович и Колмановский, он явно такого не ожидал и нуждался в разъяснениях.

— Ты агент КГБ! — хладнокровно заявил ему Очень Знаменитый Поэт. — А я сторонник свободной любви!

Тут же снова грянул оркестр, и он отправился танцевать, оставив Однокурсника наедине с фаллосом. Однако коварный поэтический ход все же привел к желаемому скандальному результату. Демонстрация Однокурсником всякому и каждому желающему неподписанного фаллоса Очень Знаменитого Поэта произвела впечатляющее действие. По залу пробежал восхищенный шепоток узнавания, на Очень Знаменитого Поэта стали оборачиваться женщины и дамы. Не в курсе событий оставались только оркестранты, в поте лица лабающие за червонец какие угодно мелодии.

В сознании Бесперспективного Свояка запечатлелся шум у оркестрового помоста, требования Очень Знаменитого Поэта сыграть ему что-то такое из не ведомого никому кинофильма «Мост через реку Квай» и вальс из кинофильма «Доктор Живаго». Раздражение лабухов, которые точно знали, что «Доктор Живаго» никакой не вальс, а запрещенная книга, грозило перерасти в очень серьезные намерения побучкать настырного долговязого провокатора. Сначала они предлагали ему лучше послушать всего за червонец любимую песню товарища Сталина «Сулико». Когда настойчивые мирные предложения не возымели эффекта, оркестранты начали отставлять музыкальные инструменты и засучивать рукава.

Бесперспективный Свояк подоспел к месту назревающего инцидента как раз вовремя и стал убеждать разгоряченных лабухов не нарушать традиционного теплого гостеприимства в отношении Очень Знаменитого Поэта.

— Кто? Он? Очень Знаменитый? — Лабухи стали вглядываться. — Не похож!

Взъерошенный Очень Знаменитый Поэт действительно был уже не очень похож на свои фотопортреты, предваряющие сборники стихов. Но продемонстрированный фаллос на бумажной салфетке, который Бесперспективный Свояк одолжил у своего сокурсника, убедил и лабухов. В знак уважения к поэтическому и особенно художественному дару лабухи внимательно выслушали безбожно перевранную мычанием и насвистыванием Очень Знаменитого Поэта мелодию вальса из «Доктора Живаго». И тотчас ее воспроизвели. Поэт был растроган, потому что, по его словам, первый раз в жизни слышал, чтобы так точно сыграли со слуха марш из его любимого кинофильма «Мост через реку Квай». По всему было видно, что сейчас он попытается научить музыкантов и вальсу.

В этот момент Бесперспективному Свояку стало почему-то жалко Очень Знаменитого Поэта. Что было нелогично — у того было полчמודана денег, а у Бесперспективного Свояка не водилось ни гроша, и в обозримом его будущем вырисовывалась такая же картина. Но тем не менее такой паскудной и хлопотной должности — быть Знаменитым Поэтом — он, как ни странно, не позавидовал. И по окончании вальса, напоминающего марш, попросил у Очень Знаменитого Поэта автограф.

Очень Знаменитый Поэт нашарил во внутреннем кармане пиджака приглашение на свой поэтический вечер, вытянул оттуда же ручку, взглянул неожиданно трезвым и зорким глазом и, почти не задумываясь, начертил: «Дорогому (далее следовала фамилия Бесперспективного Свояка) мудрому, как (следовала фамилия известного партийного и государственного деятеля нерусской национальности), помни, что без лавр тяжко́,— с лаврами тяжелше». Затем слово «мудрому» было зачеркнуто и исправлено на «строгому». Кого из них двоих — его или известного государственного деятеля — Очень Знаменитый Поэт не считал-таки мудрым, навсегда осталось тайной для Бесперспективного Свояка.

— Тебе нужно шить издательство по своей мерке,— вручив автограф, совершенно трезвым голосом произнес Знаменитый Поэт,— у тебя подъем слишком высокий.

Пока Бесперспективный Свояк переваривал неожиданно чудесное превращение и странное известие, Очень Знаменитый Поэт снова сделался в стельку и вдрабадан.

Потом опять были «Столичная» водка да еще «Жигулевское» пиво, гул ресторанный зала, звуки оркестра, шарканье танцующих пар. Потом звуки оркестра исчезли и стали гасить свет. К столику, где одиноко оставались сидеть Редактор и Бесперспективный Свояк, подошла официантка с блокнотиком.

— Минуточку, девушка.— Редактор огляделся в поисках исчезнувшего Очень Знаменитого Поэта с легким беспокойством. Но Очень Знаменитый Поэт тотчас появился, сказал: «Конечно, конечно...»,— полез в карман, затем в другой. Лицо у него стало напряженным, еще более напряженным стало лицо Редактора. Очень Знаменитый Поэт похлопал по боковому карману пиджака, по другому, залез в карман брюк... Редактор, который воинственно размахивал, прорываясь в ресторан, служебным удостоверением, начал медленно сползать со стула под стол. Почти протрезвевший Бесперспективный Свояк лихорадочно прикидывал, что можно оставить в залог: часы? пиджак от только что сшитого на взятые взаймы деньги костюма изумительного изумрудного цвета?

— Видимо, вытащили... пока танцевал,— сообщил спокойно Очень Знаменитый Поэт.

Редактор как-то странно дернулся и окончательно сполз под стол. Очень Знаменитый Поэт, однако, убедительно разыграв эту роль по Станиславскому и убедившись, что у приглашенных им действительно нет денег, еще раз залез во внутренний карман пиджака, который он обследовал ранее самым первым, и с возгласом: «А! Вот!» — достал бумажник. Расплатившись, он протянул десятку Бесперспективному Свояку: «Старик! Не в службу, а в дружбу — возьми в буфете бутылку водки с собой!»

— Ради мировой поэзии? — поинтересовался Бесперспективный Свояк, к которому после этюда по Станиславскому вернулась память на отдельные прошедшие события.

— Угу! — сказал Очень Знаменитый Поэт, блуждающим взглядом не находя подругу бабы Разведчика Недр, которая имела подозрительную тенденцию к исчезновению.

На обратном пути из буфета, с бутылкой водки в одной руке и пятеркой сдачи в другой, Бесперспективный Свояк был тронут до глубины души душераздирающей картиной: навзрыд плакала официантка, у которой сбежал нерасплатившийся клиент. Бесперспективный Свояк вынужден был остановиться и пожертвовать пятерку сдачи с чужой десятки, дабы трест столовых и ресторанов окончательно не разуверился в лучших человеческих качествах.

Потом в сознании Бесперспективного Свояка запечатлелся фрагмент с одеванием на вешалке Очень Знаменитым Поэтом всех и каждого. Это походило на омовение ног Иисусом Христом своим апостолам. Местный Известный Апостол в коротких штанах после столь поучительной процедуры поднялся по дощатому трапу на набережную и бесшумно удалился со своей бабой во мрак и неизвестность. Поблагодарив за доставленное удовольствие, предпочла в одиночестве бесследно исчезнуть и подруга бабы Местного Известного, которая доставлять в свою очередь удовольствие Очень Знаменитому Поэту не собиралась. Заметив это исчезновение, Очень Знаменитый Поэт, что было видно даже в темноте, стал еще более не похож на себя.

И Редактор решил, что наступил момент залучить Очень Знаменитого Поэта к давно уже ожидающему дома столу. Но, видимо, звезды были сегодня категорически против появления того в доме Редактора. Улица, на которую они вышли, словно вымерла — не показывалось ни одной машины ни с одной стороны. А если и показывалась изредка, то никак не желала останавливаться и только обдавала бензиновым ветром. Решено было идти до центра, до трамвайного кольца, где существовала стоянка такси. Но и там ни хрена лысого не оказалось. Зато рядом было общежитие высшего учебного заведения, где учился Бесперспективный Свояк. О чем он вслух — совершенно опрометчиво — и сообщил.

— Старик! — обрадовался Очень Знаменитый Поэт. — Девочки там только и ждут нас. Хлопают во сне коленками и ждут, когда мы им будем читать стихи!

Измученный Редактор охладил его пыл: единственная, кто может их ждать там в этот час, сказал он, это добровольная народная дружина. И что если она и будет хлопать коленками, то исключительно им под зад. А также может свободно наkostenять по шее.

— Пусть попробуют! — Очень Знаменитый Поэт выпрямился во весь свой нержавеющей рост. — Я ходил по Вальпараисо, по Парижу, по Гарлему и даже по Сейшельским островам в любой час ночи, и никто...

— А здесь наkostenяют, — устало заверил его Редактор.

— Ты агент КГБ! — заявил ему на это раздосадованный Очень Знаменитый.

Бесперспективному Свояку стало до боли жаль Редактора, оставшегося без поливочного шланга, без садового инвентаря, у которого дома сейчас прокисали салаты и водка и который улыбался натужно и растерянно.

— Он... А вы...! — сказал Бесперспективный Свояк коротко, но красноречиво.

— Да, — смилостивился Очень Знаменитый Поэт, — он не агент КГБ. А ты... Вот ты агент КГБ!

Бесперспективному Свояку все уже надоело. И он хотел спать. Поэтому он не стал выяснять дальше, кто именно агент КГБ. Тем более что эти выяснения могли бы пойти в самом неожиданном направлении.

— Ладно, — согласился он. — Я агент. Ради мировой поэзии...

В это время, сияя абсолютно пустым салоном, подкатил к остановке невесть откуда взявшийся трамвай. Очень Знаменитый Поэт, насупившись, молча вскочил в него. За ним так же молча последовали Редактор и Бесперспективный Свояк. Вагон шел до вокзала. От вокзала до гостиницы Очень Знаменитого Поэта было всего метров двести. Но Очень Знаменитый Поэт непременно захотел проехать эти двести метров на машине. На привокзальной площади одиноко торчали две «Волги» без шашечек и зеленых огоньков. Но не только их острым глазом заприметил Знаменитый Поэт. У самого входа в здание вокзала подпирала косяк девица в белых чулках по известной вечерне-ночной моде. Очень Знаменитый Поэт внезапно возгорелся желанием захватить ее с собой. Но она упорно не хотела идти сейчас к Очень Знаменитому Поэту в номер и слушать там всю ночь стихи, как он ей обещал. Она таращила глаза, пяtilась и отнекивалась. Только после продолжительных усилий Знаменитому Поэту удалось уговорить ее прокатиться до гостиницы. Но путь был краток, а дальнейшие уговоры тщетны. Когда машина остановилась у подъезда, Очень Знаменитый Поэт потребовал объяснений: что мешает ей подняться к нему в номер?

— Во-первых,— сказала девица,— я вообще не хожу к незнакомым мужчинам. А во-вторых, уже поздно и меня не пустят.

— Пустят! — страстно заверил Очень Знаменитый Поэт.

— Я вас боюсь,— добавила целомудренная девица в белых чулках.

Очень Знаменитый Поэт достал из кармана последний аргумент и вручил его оторопевшему шоферу. Это был четвертной казначейский билет — четверть среднемесячной зарплаты среднего труженика средней полосы.

— Сдачи не надо! — небрежно сказал Очень Знаменитый Поэт.

Шофер вытаращил глаза. Так с ним за двести метров пути никто еще не расплачивался. Он крутанулся к заднему сиденью.

— Дура! Дура ты, дура! — заорал он на девицу в белых чулках.— Я бы сам пошел!

На этом месте тошнота, все выше и выше поднимавшаяся у Бесперспективного Свояка, подкатила к горлу. И его чуть не вырвало. Он спешно покинул душную машину, не став дожидаться, чем закончится эта мизансцена.

В номер к Очень Знаменитому Поэту они поднимались молча. Очень Знаменитый Поэт повернул ключ, распахнул дверь, щелкнул выключателем — в номере было как-то особенно, по-гостиничному, пусто, накурено и намусорено. На полу валялись пустые бутылки из-под шампанского, покрывало на постели было скомкано, потому что, сидя на ней, они совсем недавно самозабвенно внимали стихам и рассказам о том, как Роберт Кеннеди катается на горных лыжах.

Очень Знаменитый Поэт вынул бутылку «Столичной». Редактор и Бесперспективный Свояк дружно замотали головами.

— Ладно,— сказал Очень Знаменитый Поэт.

Он обвел рукой тесный номер.

— Извините, ребята. Остаться не приглашаю.

На пороге он задержал Бесперспективного Свояка.

— Скажи, старик, она шлюха?

Очень Знаменитый Поэт на этот раз не раскрывал широко глаз, не суживал их, не занавешивал веками и не понижал голос до трагического шепота. Бесперспективный Свояк старался смотреть в сторону.

— Кто ее знает! — ответил он.— Здесь у нас почти Восток. Кто ее знает? Здесь сразу не поймешь. Может, и не шлюха... Да вам ведь,— он назвал Очень Знаменитого Поэта по имени-отчеству,— это и не нужно! Зачем это вам?

— Ладно,— сказал Очень Знаменитый Поэт.— Он притянул к себе, а потом резко оттолкнул Бесперспективного Свояка.

Когда Свояк с Редактором вышли из гостиницы, уже светало. Они доехали до дома на поливальной машине. Сидя в кабине «поливалки», Редактор решил

все-таки попробовать, что у него там осталось на диктофоне после лихорадочных стираний. Врубился монолог Очень Знаменитого Поэта про великолепные американские дороги и американские машины, потом прорвалось домашнее застолье с нестройной песней про оленей и про тундру, потом опять Очень Знаменитый Поэт.

...мальчишка где-то,
и он добьется большего, чем я!

Редактор толкнул в бок Бесперспективного Свояка: слушай, мол, какие тебя ожидают перспективы! И удовлетворенно выключил диктофон. Они ехали уже заречной частью Города, где, возможно, не все сейчас сладко спали и где, возможно, как раз в этот-то момент и был зачат тот самый мальчишка, который через двадцать пять лет, прибавив газу на красный свет у светофора только что расширенной дороги, задавил насмерть Редактора. И проволочил еще его тело на передке навороченной, невиданной доселе на улицах Города шикарной машины — джипа «Гранд-чероки» — метров пятьдесят, не менее.



Морис СИМАШКО

П Я Т Ы Й Р И М

ГЛАВА ИЗ КНИГИ

Российское государство и Россия. Эти понятия историки употребляют как синонимы. Так воспринимает их и общество. Между тем понятия эти разные. Россия — это не лапты и не квас, тем более не дыбы, думские бдения и художества Угрюм-Бурчеева. Это живой исторический организм, непрерывно тянущийся к теплу и свету. Он не может задержаться в росте так же, как проклюнувшийся из земли молодой дубок. Государство — лишь искусственное образование, призванное историей способствовать этому росту.

Плохое государство в лице своих сиятельных писарей забывает о своей же обязанности соответствовать этому росту, для чего само должно видоизменяться. Хуже всего, когда оно само себя начинает считать этим дубком. Тогда оно позволяет ползучим сорнякам-паразитам обвиваться вокруг него и, высасывая жизненные соки, доводит этот дубок до состояния комы. Вот эта трещина между Российским государством (царством, империей, Советским Союзом) и Россией никогда не зарастала, превращаясь временами в пропасть. По памяти процитирую поэта:

И тучи, словно лошади,
Бегут над Красной площадью.
Все птицы спят, все звери спят,
Одни дьяки людей казнят!

Третий Рим от начала своего самопровозглашения был византийской формой государственности. В основе ее лежала *незыблемость во времени*. Сама Византия рухнула в связи с этой своей неспособностью идти в ногу с историей. Находясь где-то между Ксерксом и Христом, она все же сумела просуществовать целое тысячелетие. Но исторические часы шли все быстрее. Используя во всех смыслах государственную матрицу Второго Рима, молодое Российское государство не прислушивалось к бою этих часов. Находясь на отлете Европы, легко справившись с рухнувшей по той же причине Золотой Ордой, оно застыло в своем развитии. Победоносные войны не в счет, они только увлекали в сторону Ксеркса.

Россия жила своей жизнью, лишь укрепляя ставни железными скобами, нет, не от татар или «псов-рыцарей» — от бесчинств опричников, *от своего государства*. И задачу свою Третий Рим видел в том, чтобы Россия шла особым, отличным от остальной Европы путем. То есть в лучшем случае стояла на месте (худшие случаи в ее истории будут еще впереди). Когда Господин Великий Новгород, несмотря на надетый Иваном Третьим ошейник, все же продолжил свое движение по европейской орбите, тогдашний «спецназ» — опричники Ивана Четвертого вырезали всех его жителей до последнего младенца. Пять дней Волхов тек русской кровью. Подлость и жестокость исполнения были прямо от Ксеркса. А Смутное время, когда поляки уже находились в Москве, как раз и явилось результатом византийской формы государственности. Знаменательно, что Сталин считал такие действия Ивана Грозного «объективно» прогрессивными, поскольку они укрепляли государство, то есть Третий Рим (это словечко — «объективно» — того же порядка, что и «организовывать»).

А что же Россия? В лице Минина и Пожарского, перешагнув образовавшийся между нею и государством провал, ширина которого как раз и составляла расстояние между Нижним Новгородом и Москвой, она явилась на историческую арену реальной, не замутненной «идейностью» силой. И не Третий Рим она спасала, как ут-

верждают присяжные историки, а российскую *государственность*. Когда путают понятия *государство* и *государственность* — это обязательно в чьих-то недобрых интересах.

Российская государственность продолжала свое движение во времени, однако инерция Третьего Рима целый век еще влияла на ее историческую орбиту. И только Петр Великий «над самой бездной» железной рукой притянул ее с «особого пути» на тот, по которому движется во Вселенной все: светила, народы, государства, людские судьбы.

Это кощунство, когда на одну и ту же тарелку исторических весов ставят Петра Великого и Ивана Грозного. Россия не ошиблась, дав им диаметрально различные прозвища. Оба были по-византийски жестоки, оба дурью маялись, оба убили собственных сыновей. Но Петр Первый, не жалея себя, вел Россию в будущее, а Иван Четвертый подрезал ей поджилки. Всё они делали по-разному, даже сыновей убили каждый по-своему: один призвал для этого суд, другой — по-византийски, посохом. После одного образовалось Смутное время, после другого сделалась империя, отнюдь не в форме Третьего Рима.

Требовать от Петра какой-либо формы демократии или хотя бы смягчения способов принуждения — *не исторично*. В самой Европе в этом смысле не наблюдалось милой сердцу русского либерала идиллии. Но Петр придал России историческое ускорение. Не говоря уже о шведах и турках, которые были наготове, какой бы стала она через век с ее боярами, стрельцами, бердышами? А дело шло к первой Отечественной войне. И на Бородинском поле встретились бы Наполеон с каким-нибудь стрелецким воеводой.

Да, Петр далеко не был «тишайшим», но созданное им государство с доминирующими в нем гвардией и чиновниками всех четырнадцати классов было для того времени несомненным прогрессом по сравнению с государством угрюмых дьяков. И когда Пушкин обращался к Николаю Первому: «*Во всем будь пращурю подобен*», то он ждал от него очередного толчка, исторического ускорения, в котором нуждалась Россия. Но воспитатель Николая из фрунтовых дядек бил его головой об стенку, когда тот выказывал неповиновение. И растревоженное декабристами сознание искало успокоения в мудрости Аракчеева. Дело шло к Крымской войне и дальше, дальше, дальше... Путь к пропасти тоже имеет ускорение...

Боюсь повториться, потому что много писал по этому поводу. Империи — Римская, Карла Великого, Чингисхана, как и новейших времен, — такие же для своего времени закономерные продукты и движители истории, как царства, королевства, полисы, а сегодня и демократии. В Евразии, несмотря ни на что, такую провиденциальную роль исполняла Российская Империя. Колониальные войны, жестокое подавление национально-освободительных движений, самодурство дикого российского чиновничества, «господа ташкентцы» — все это было. И было одновременно установление мира в Закавказье, страдавшем от перманентных нашествий и войн. То же повторилось в раздираемой противоречиями Средней Азии, где процветала работорговля, а войны стали сезонным явлением: весенние и осенние. Об этом не следует забывать в пылу дискуссий на темы евразийской истории последних столетий.

Следует особо сказать, что великое русское востоковедение чаще являло собой Россию, чем империю. Да и вообще, если не считать оголтелого «пипла» на всех этапах общества, в русском национальном характере меньше всего от «римлянина», тем более от «старшего брата». Это сослужило добрую службу в прошлом, способствовало относительно бескровному развалу империи и подает большие надежды на будущее...

А империя была безнадежно больна. Продолжая дело Петра по интеграции России в Европу, Екатерина Великая в силу своего положения на российском троне и не без чисто женской способности все опозгизировать, даже историю, допускала уступки Третьему Риму. Внуков своих она назвала в честь Александра Македонского и Константина Великого. И любимый внук ее Александр Первый разрывался между Сперанским и Аракчеевым.

Как и водится в государстве Российском, дело было решено в пользу Аракчеева. И был это не просто «фрунтовый солдат», а убежденный носитель той самой «идейности», о которой говорилось выше. Сама же фамилия его по-татарски означает «Производящий водку». Вот этот идейный самогон и лег в основу организации на российской земле первых колхозов в форме военных поселений. Маркс тогда еще

не родился. А Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, ознакомившись на старости лет с марксистской литературой, изумленно заметил, что, оказывается, во времена его молодости каждый ротный командир был коммунистом, только не знал этого. Большевик — вовсе не привходящее явление в российской истории...

Так теория Третьего Рима, не объявляя себя публично, тихой сапой возвратилась в идеологический обиход государства Российского. И здесь, как видим, закладывался уже фундамент Четвертого Рима. Триада классического византизма — *православие, самодержавие и народность* — гарантировала возведенную в принцип недвижимость во времени. *Православие* все по тому же византийскому канону было прочно встроено в систему государства. Папы при этом и не требовалось, поскольку роль его исполнял сам кесарь. *Самодержавие* тоже копировало именно Второй Рим, поскольку даже Юлий Цезарь не претендовал на роль помазанника Божьего. Ну а что касается *народности*, то ее в развитие идеи лучше всего представляли охотно-рядские мясники в виде Союза Михаила-Архангела. То есть народ, «пипл», в своем погромном варианте. К слову, значка союза № 1 был удостоен именно Николай Второй. Это в прямом смысле было *знаковым* явлением.

В государстве Российском на полтора века остановилось время. С этого момента государство Российское, а с ним и Россия были обречены на поражение в Крымской войне, Цусиму, участие в мировой войне и революцию именно в большевистском ее варианте. Граф Сергей Семенович Уваров, современник Пушкина, обозначивший эти три источника официальной идейности, питающей Третий Рим, с полным правом мог бы сидеть в президиуме очередного съезда КПСС. Разве что православие в его теоретических изысканиях преобразилось бы в вечно живое учение марксизма-ленинизма. Самодержавие, несколько не меняя своей сути, было бы представлено Генеральным секретарем ЦК. Ну а народность — так «пипл», он всегда «пипл», в Первом или Четвертом Риме. Его сиятельству надо было только сменить гардероб и заказать у Шендеровича маску Михаила Андреевича Суслова.

А сколько аплодирующих знакомых лиц оказалось бы в Кремлевском дворце съездов: от Победоносцева до полковника Зубатова с Пуришкевичем!.. Привыкнуть к слову «товарищ» для них не представляло бы трудности. Как и наоборот. Для идеи можно избрать любую форму, важно содержание.

К месту тут рассмотреть и такое явление российской истории, как декабристы. Безусловно, люди чести и самых добрых побуждений, они действовали в русле чисто византийских традиций — во Втором Риме не раз бунтовали тамошние прапорщики. И если бы они победили, Рим продолжал бы строиться с не меньшей интенсивностью. Из того же ряда нечаевщина, разве что вместо Рима мог бы строиться рейх. Соки византизма (там тоже были революционеры) частично питали народовольцев, левых эсеров и даже анархистов, провозгласивших своей целью разрушение любого государства — до основания. А затем?.. Вот это «затем», как и у большевиков, означало прямой путь к очередному Риму.

Что касается народовольцев, то помимо традиции этот феномен российской истории наиболее точно обозначил Юрий Трифонов — *нетерпение*. Это было уже чисто русское явление: семьдесят лет терпеливо запрягать, а потом помчаться, не разбирая дороги, сбрасывая друг друга с саней, в очередное «светлое будущее». На меньшее мы не согласны. Царь-освободитель, генсек-реформатор, президент — все они не поспевают за нашими мечтаниями. Поэтому что ни век — убиваем их, свергаем, дружно осмеиваем. Но только встретится на нашем пути Коба, как сразу распрягаем и начинаем терпеть. Над ним ведь не посмеешься. Впрочем, и Кобы нам не надо, воспитаем в собственном коллективе...

Кто виноват?.. Они только знаковые персоналии истории, тот же склонный к гомосексуализму и незримо участвовавший в травле Пушкина, любитель и знаток античности, граф Сергей Семенович Уваров. Рядом «полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести» Алексей Андреевич Аракчеев. Или Константин Петрович Победоносцев, человек с совиными глазами, гонитель Льва Толстого и борец с «тлетворным влиянием» Запада. Он очень точно определил смысл византизма, предлагая государю держать Россию в «замороженном состоянии». Как рыбу, одним словом. И Николай Второй...

Я так и не понял «идеи» сериала по поводу его жития (иначе не назовешь этот вид искусства), сопровождаемого дикторским текстом, произносимым хорошим актером. Он как бы исполнял роль потомственного графа Тульева, сыгранную им в из-

вестном детективе. С актерами это случается, когда на всю жизнь они сливаются с какой-то ролью, Ленина, например, или Сталина, так что всю жизнь продолжают грассировать или говорить с акцентом.

В данном случае прямо-таки удивляет, как государь многие годы с утра до ночи сидит над бумагами и сам, даже без секретаря, *самолично* решает все важные государственные дела. Это с его-то, по свидетельству Гарина-Михайловского, умом средней руки пешотного капитана. А как переживает он в связи с расстрелом перед окнами его дворца мирной демонстрации с голодающими женщинами, детьми, иконами и портретом царя!.. Золотое сердце у «хозяина земли русской», ничего не скажешь. Ленский расстрел так вообще пропущен, как пропущены, по существу, Цусима и многое еще, имеющее к несчастному государю прямое отношение. С самодержца и спрос соответствующий.

Порой закрадывается мысль о том, что авторы сериала просто иронизируют в своих комментариях к похвальным поступкам «Ники». Вот государь землю копает, так сказать, трудовой пот проливает. Так Ленин тоже бревно таскал. Вполне уместна здесь ирония.

А вообще-то почти через век после состоявшейся личной трагедии человека, мужа и отца уместна ли такая передача с недалеко идущими политическими целями? Впрочем, и о трагедии России не стоило бы забывать...

О, эти византийские суррогаты на русской почве! В то же время, что и на Британские острова, пришли сюда те же викинги. Пришли с теми же законами дикой вольницы, имеющей тем не менее свои понятия о справедливости. Там, на западе континента, эти понятия составили некий естественный сплав с римским дисциплинирующим правом. Так родилась Великая хартия вольностей.

Здесь же, за днепровскими порогами, эти понятия образовали полный неразрешимых противоречий союз с утерявшим к тому времени рационализм древних греков самодержавием восточных деспотий, чем и была Византия. Максимум, что мог породить такой союз, — это «правду» Ярослава Мудрого, основу которой составляет перечень наказаний за убийство, воровство и различные формы оскорблений. О вольности — ни слова. Много еще о *смердах*. Кажется, впервые употребляется там это выразительное слово, которое само по себе содержит целую хартию. Все законы с тех пор на Руси и в дальнейшем спускались сверху вниз, строго *по вертикали*.

Ксеркс и Христос не могут составлять единство, и это взрывное устройство было подложено под историю государства Российского на тысячелетие вперед. У русской революции с ее апокалиптическим провалом ох какие глубокие корни...

Новые времена лишь обнажили динамику этих противоестественных институтов. Для определения сбоя государственного механизма история пользуется своими манометрами. Когда гибнет целый флот в Цусимском проливе или вдруг пустеют полки магазинов в Москве, то все очевидно. Но есть показатели не менее убедительные. Ни одно государство в зримой истории человечества не убивало с такой изощренностью и даже каким-то садистским наслаждением своих писателей и поэтов. Речь здесь только о них. Девятнадцатый век начался самоубийством Радищева. Продолжился он повешением Рылеева, затем убийством Пушкина и сразу за ним Лермонтова («Собаке — собачья смерть!» — сказано было во дворце по этому поводу). Не будем упоминать о тех, кто всю историю кашлял кровью. Сходит с ума Гоголь. Следует «Мертвый дом» для Достоевского, ссылка в царство будущего ГУЛага Тараса Шевченко, позорный столб для Чернышевского. Гаршин бросается в пролет лестницы. Проклинают всенародно Льва Толстого.

Но все рекорды бьет век двадцатый. Арест Горького — лишь цветочки, наступает некая передышка. И сразу, едва родившись, государство «диктатуры пролетариата» расстреливает совершенно аполитичного поэта Николая Гумилева. От великой тоски умирает Александр Блок. Следуют самоубийства Есенина и Маяковского. Повесилась Цветаева. Затем Бабель, Мандельштам — далее убивают уже списками. В одну ночь на Лубянке была расстреляна вся еврейская литература на идиш. Найдется ли хоть один из ста народов «страны социализма», у которого не было хотя бы одного расстрелянного писателя? Но это еще не все. Расстреливают «задним числом» известных миру классиков, живших порой тысячу и более лет тому назад. Ножницами вырезают их из учебников и энциклопедий. Как долго еще могло существовать такое нелепое государство? И какие перестройки могли спасти его, когда начинать надо было с фундамента...

Что же была революция, оба ее этапа: Февральская и Октябрьский переворот? Как уже писалось и как свидетельствует вся новейшая история, нельзя государству в замороженном виде сохранять свои институты власти, саму форму государственного устройства, не сообразуя их с идущим по нарастающей движением истории. В понятие этого движения входят все составляющие общественного развития: политика, экономика, философия, культура, уровень образования, национальные чувства и многое другое, порой не замечаемое глазом современника. Чего же было ждать, когда взрослеющая Россия вошла в роковое противоречие не просто с задержавшейся в своем развитии на каких-нибудь полвека государственной системой. Третий Рим принципиально, на идейном уровне, не признавал историю. Ибо история и есть движение.

Так можно продолжать не признавать, что Земля вращается вокруг Солнца. Из того же ряда и по сегодня возникающее желание «закрыть Америку». Природа Третьего Рима такова, что упразднить историю он намеревался не только в своей ойкумене, но и хотел надеть железную маску византизма на остальную Европу. «Жандарм Европы» — это не чья-то злостная выдумка. Будапешт и Варшава сохранили в исторической памяти рубцы от ран еще середины позапрошлого века.

Реформы царя-освободителя, как лопнувшие швы на византийском платье, были заштопаны суровыми нитками все тем же Победоносцевым. Это нашло самое широкое понимание у молодого царя Николая Второго. Но Россия все упорнее пыталась переодеться в европейские государственные одежды. Революция 1905 года заставила Третий Рим обнародовать конституцию с Государственной Думой в качестве приложения к самодержавию. А затем Россию подобно царевичу Гвидону посадили в бочку, крепко стянув ее византийскими обручами. Звали родительские могилы, и целью было все то же пространственное движение в сторону Константинополя. Третий Рим вступил в мировую войну.

Что случилось с растущим не по дням, а по часам царевичем Гвидоном, мы знаем. В феврале семнадцатого он «вышиб дно и вышел вон». Это было настолько естественное действие, что даже один из великих князей надел красный бант и вместе с Россией вышел на улицы. И тут опять дало себя знать в полную силу губительное нетерпение. Выразилось оно в самом настоящем византийском по форме большевистском перевороте. Царь разгонял думы, а большевики — Учредительное собрание. Хотелось из Третьего Рима по шучьему велению перенестись сразу в царство небесное, сиречь коммунизм. Слишком долго запрягали, а теперь со всего маху хлестнули кнутом — и понеслась...

Ни в коем случае не хочу влиться в общий залиvistый хор проклинающих революцию. Чаще всего это те, кто уже в потомстве стал *всем* именно благодаря этой революции. Повторю лишь, что не поголовными мерзавцами были совершившие этот переворот. И не сегодняшние спекулянты идеей были они, а страшные именно своей убежденностью люди. Неподкупный Робеспьер во сто крат ужаснее мздоимца Дантона. И при всей их сознательной, *революционной* жестокости в губительных чувствах этих не народ шел за ними, а они за народом. Слишком долго держали Гвидона в бочке, и он ожесточился. «*И помните, восставший раб в расправе лют!*» — это Фирдоуси по поводу Третьего Эраншахра.

Убивали офицеров и городских, жгли помещиков, оскверняли церкви еще до того, как объявились большевики. Царь находился в Царском Селе, но, когда захотел выйти за ограду, небритый окопный солдат в расстегнутой шинели поправил его прикладом, повернув в обратную сторону: «Иди... полковник!» Вот тогда по-настоящему испугалась видевшая это из окна царица...

Французское королевство за век с лишним до этого не было окончательно замороженным Римом. Но жестокости Великой французской революции за четыре года якобинского террора были того же порядка. По шесть тысяч за раз классовых врагов — дворян, королевских чиновников с женщинами и детьми, священников — загоняли в реку и топили там баграми. Короля с королевой не просто расстреляли — им всенародно отрубили головы.

Через всю Францию шли на помощь восставшему Парижу марсельские стрелки. Они пели:

Чего хотят они, предатели и короли?
 К оружию, граждане, вперед,
 идем, идем, идем,
 Пусть кровь нечистая течет
 ручьем!

Эта песня стала гимном Франции. Французы никого не винят в своей революции. Они здраво оценивают ее ужасы и понимают первопричину. Памятники революции стоят во всех городах страны. Красный фригийский колпак стал одним из символов республики. И голос Эдит Пиаф, голос самой Франции, как напоминание сытым из того, революционного далека, звучит и сегодня по французскому радио: «Аристократов на фонарь!»

Когда подогреваемый политическими дилетантами «пипл» сбрасывал с пьедестала Дзержинского, вспомнил мне, что именно этот кашляющий кровью долгосрочный зек Третьего Рима первый назвал Сталина уголовником. Это осмелился повторить потом лишь Осип Манделштам. Не в защиту памяти Дзержинского ходатайствуют сейчас ветераны ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ о восстановлении памятника на Лубянской площади. В тени революции хотят укрыться от суда потомков. Да за один только антисемитизм он бы поставил их к стенке! А что революция рано или поздно займет свое законное, не оплеванное место в российской истории, можно не сомневаться. Никакие сладкие сопли по поводу рухнувшего Третьего Рима не обманут историю.

Поставив во главу угла «диктатуру пролетариата», то есть насилие как принцип, горстка революционеров подписала себе приговор. Она обрекла партию на всевластие морально неполноценных. Это те, для которых экспроприация — не что иное, как воровство, а насилие — не средство, а цель.

Сама идея не выдерживает проверки историей. В развитых странах «пролетариат» составляет сегодня три-четыре процента от созидательной части населения. Почасово оплачиваемый его заработок превышает таковой у рядового инженера, преподавателя колледжа, компьютерщика. Кто же — в развитие единственно правильного учения марксизма-ленинизма — должен стать «могильщиком» пролетариата? Чья теперь должна состояться диктатура? Да и в России кому сегодня придет в голову мысль отдавать всю власть Шандыбину?

В европейском варианте марксизма власть пролетариата в форме тотальной диктатуры не предусмотрена. И когда гений Сталина соединил византийский вариант марксизма, то есть диктатуру пролетариата, с Третьим Римом, то и получился Четвертый Рим. Теперь мы знаем, что по византийскому счету диктатура пролетариата есть не что иное, как культ личности.

Намеревались обмануть историю, сотканный из писарских иллюзий мутант, однако, не смог хотя бы прокормить самого себя. Все таскал пароходами пшеницу из-за океана.

Что же, революция повинна в том, что посеяла эти зубы дракона. Такова была ее планида, поскольку придуманный, кастрированный царизмом российский либерализм за восемь месяцев своего правления в семнадцатом году выказал полную неспособность справиться с развалом *российской государственности*. Одержимые идеей вожди большевизма были более подготовлены для выполнения этой нелегкой задачи, ничего не видели впереди, кроме мировой революции. Вот и получилось то государство, которое получилось.

Однако революция тоже имела две стороны медали. Это же непреложный факт — рывок в науке, промышленности, всеобщая грамотность, бесплатная медицина. Пусть все это не лучшего качества, но было. Как и равенство в народах в первые десятилетия революции. Профсоюзы двадцатых годов не были «приводным ремнем». С ними приходилось считаться. Была ликвидирована безработица. А главное — тот закономерный для каждой революции порыв, который, несмотря на художества пришедших к власти революционных чичиковых, сыграл свою определяющую роль в роковой для России час. Потешающейся ныне над этим духом политической безотцовщины хочется задать лишь один вопрос: можно ли представить себе царскую Россию, один на один столкнувшейся с немецкой военной машиной сорок первого года? Это — вспоминая Цусиму.

Конечно же, сыграло свою роль оскорбленное национальное чувство: напали, топчут родную землю, жгут, насилуют. Так объясняет нашу победу в Великой Оте-

чественной войне глубоко мною уважаемый ленинградский писатель-фронтовик. Но пусть вспомнит весь комплекс своих чувств в первый день войны. Для меня, например, это были не просто немцы, был *фашизм*. И знаю: так это было для миллионов тех, кто составил в тот день очереди в военкоматы...

Ну и партия в связи с этим была более сложным, полным загнанными внутрь противоречиями организмом, чем рисуют это досужие вольноопределяющиеся от политики. Уберите из российской истории советского периода ученых, писателей, полководцев, конструкторов, актеров, врачей, учителей, сталеваров и многих еще достойных людей, которые состояли в партии, много ли останется? Неужто все они были негодными, торгующими собственным духом? Двадцать миллионов негодяев — не слишком ли это много даже для Четвертого Рима? Как вступали в партию на фронте — тоже не выдумка пропагандистов. Беспартийность в эти годы — еще не причина для гордости...

В том-то и дело, что провозглашенные революцией цели — отнюдь не подобие, скажем, фашистской расовой теории. Даже при очевидном кризисе не бежали из партии многие тысячи тех, кто остановил ГКЧП. И против кого выступило это аббревиатурное порождение партийной канцелярии, как не против той части партии, которая отказалась продолжать путь к пропасти? Все они состояли в этой партии: те, кто по приказу вывел свои танки на улицы, и те, кто под российским флагом привел свои танки на защиту российского Верховного Совета.

Что же такое сегодня коммунистическая партия Российской Федерации? Что, собственно, хочет она строить: коммунизм, социализм? То, что она яростно воюет за демократию, конституцию, прочие, пусть пока еще не совершенные достижения последнего десятилетия российской истории, никого не обманет. И «борьба» ее за интересы трудящихся вызывает одну лишь усмешку. Ее политическая аудитория — «пипл» с красными флагами, портретами Сталина, который она выдает за трудящиеся массы. Обозленные, истосковавшиеся по своим обкомовским кабинетам и пока что неплохо устроившиеся при демократии, эти осколки разбитого вдребезги жаждут все той же «диктатуры пролетариата». Посмотрите на их грушевидные тела, самой природой приспособленные сидеть в руководящих креслах. Политические лохотрончики, они достаточно опасны в условиях неустоявшейся российской демократии. Пусть не обманут вас благостный вид и речи товарища Селезнева. Приди они к власти, за дело возьмется комрад Шандыбин в коричневой рубашке, засучив рукава. Это логика истории, за их спиной дружба с Гитлером. Ушедшие в небытие красные галифе революции не имеют к ним никакого отношения. С революцией они окончательно рассчитались в тридцать седьмом году.

Четвертый Рим растаял в одночасье, как дым, снесенный ветром истории. Такова судьба всякого миража, каким бы устойчивым он ни казался. Однако мираж этот был не пространственный, а мираж во времени. История обладает генетической памятью. Она передает народам и государствам наследственные болезни: врожденный тоталитаризм, революционную (читай — аракеевскую) размашистость, комплекс неполноценности в обязательном сочетании с манией супердержавности. Не одним только врачам нужно учиться распознавать эти болезни.

Наблюдая сегодняшнюю российскую политическую жизнь, видишь, как вдруг кто-то на государственном уровне произносит филиппику по поводу «низкопоклонства перед Западом». И оживают прежние недоумения. Этот язык нам знаком. Понимаешь, что не в низкопоклонстве здесь дело, а в том, какой путь избрет так трудно возвращающаяся на круги своя Россия. Да и что это такое — «низкопоклонство»? Неужто вопреки Западу следует штаны через голову надевать? Работая плотником на голландских и английских верфях, являл ли этим свое «низкопоклонство» Петр Великий? А может быть, после Цусимы не мешало бы и у Японии чему-нибудь поучиться? Оно и сегодня бы не грех. Не будет ли только это «низкопоклонством» перед Востоком? А ведь есть еще Север и Юг! Скажем, поучиться у Норвегии сельдь солить или нефтяные платформы в океане ставить. Тогда это будет «низкопоклонством перед Северо-Западом»? Нет, с такой государственной логикой впору снова обмотать колючей проволокой границы, а в особо людных местах и стену выстроить.

Вот и думаешь: а не захлоло ли Пятый Римом? А тут еще дуковский Митрофанушка на чистом глазу заявляет, что мы есть азиаты и потому Европа нам потомственный враг. Это уже напрямую уводит к Ксерксу. Когда от отчаяния перед непре-

ходящим византизмом это восклицал поэт, это одно дело. А тут говорит законодатель. Ксеркс бы не море, а его высек за политическую, я бы даже сказал — национальную провокацию, но — демократия, все позволено.

Вспоминается в связи с этим сосед Салтыкова-Щедрина, дикий помещик Проккоп. Узнав об объявленных в России гражданских свободах, он интересуется у писателя: это как, по всему лицу земли теперь кого угодно можно свободно по рылу съездить? Как в воду глядел. Сегодня думские «прокопы» свободно пинают, за волосья таскают кого захочется. Ну а «пипл» — так в силу своего разума и вовсе сделались свободным. Это еще ничего, но свободными в этом плане сделались следователи, прокуратуры, милиция. Так вот и понимают демократию.

А включишь телевизор — и вовсе затоскуешь по быломu. Каин и Авель — оба тут «великие родители». Вот Сталин, например, этаким добрейший, мягкий по натуре человек, любящий семью и детей. А его ведь считают врагом рода человеческого, море клеветы вылило на его рогатую голову! «Пипл» привык верить всякому напечатанному слову, а ныне — сказанному по «ящику». Слезу при случае по быломu пустит. Поверит он вдове и наследнику незабвенного Лаврентия Павловича, что был тот тоже образцовым семьянином, а также организатор многих наших побед. За что ни брался, дело кипело в его руках, будь то великие стройки коммунизма или ГУЛаг. И «организовать» он умел не какие-нибудь дрова: вспомним хотя бы историю с литовскими дорожными строителями. Ни командировочных им не надо было платить, ни зарплаты. Какую экономию государству это принесло! Пришла пора реабилитировать его, а гнусных «оттепельщиков», подло его убивших в собственной квартире (неслыханное дело!), пригвоздить к позорному столбу истории!

История, она и запахи сохраняет. Слушаешь некоторые думские речи, читаешь определенного пошиба газеты, смотришь на плакаты с лозунгами в руках воинствующих радикалов, и вроде как из слегка прикопанной выгребной ямы повеет то Третьим Римом, то Четвертым, то совсем уж рейхом...

Особое дело — Русская православная церковь. Разночинцы ошибались в определении ее исторической роли. Заслуги ее в противостоянии пропитанным кровью идолам несомненны. Как и влияние на духовный потенциал России в трудные для нее времена: известная акция Сергея Радонежского или позиция церкви в Великую Отечественную войну с фашизмом. Можно вспомнить и митрополита Филиппа, выступившего против опричнины и задушенного Малютой Скуратовым по приказу Ивана Грозного. Нет, не во все времена эта церковь была до конца встроена во власть.

Но даже не в том ее славный подвиг. Тысячи и тысячи сельских батюшек век за веком вместе со словом Божьим несли в народ самую обыкновенную грамоту. Церковноприходские школы — это еще недостаточно изученный феномен российской истории. Тут были к месту солидарные действия церкви и государства.

Эти батюшки жили народной жизнью, сеяли хлеб, косили и убирали, а когда был голод, то и голодали. Далеко не все приходы были способны прокормить своего пастыря и учителя. Это только в агитках поп обязательно с толстым брюхом. В рассказе Чехова вдруг расплакался такой интеллигентный батюшка. Оказывается, он всякий день за пять верст приходит в помещичий дом, чтобы просто пообедать. Дома у него голодная попадьа...

Нелишне вспомнить о монастырях, где веками копилось то, что сегодня мы именуем культурой. Это потом уже были музеи, университеты, исторические общества. Хитроумная триада графа Уварова, официально поставившая православие на первое место, на самом деле надела государственный ошейник на церковь. Византийская традиция возобладала и здесь. Затем Четвертый Рим и вовсе подменил слово Божье генсековым. Культ личности — на то и культ.

А сегодняшняя канонизация церковью пусть и зверски убиенного в революцию императора с семейством разве не из той же Византии? Впрочем, и турецкий султан в том же Константинополе выражал в своем лице одновременно государство и ислам. Людовик XVI и Мария-Антуанетта вроде бы к лику святых не причислены. Грех их в том, что вели, вели и довели Францию до революции. Грех непростительный. То же случилось и в России...

Церковь, как и всякое человеческое построение, не представляет собой недвижимую каменную глыбу. Разные люди, характеры, темпераменты присутствуют в ней, как и разные политические пристрастия. У меня есть хорошие знакомые — пра-

вославные иереи, и в немалом чине. И когда какой-нибудь осатанелый батюшка откровенно призывает свою паству к погрому, знаю, что не все в этой церкви того же направления мыслей. Они молодые и умные, эти иереи, за ними будущее.

А вот когда священник в полном облачении освящает атомную подводную лодку со всеми ее ядерными боеголовками, то начинаешь думать: какое нынче тысячелетие на дворе? Не в самого ли Бога нацелены эти ракеты? Фельдкураты — вообще дело спорное, солдат может помолиться и в ближайшей церкви. Там же его могут и отпеть, если случится ему стать «грузом 200». Тем более противоречат Божьему смыслу священник, ксендз, мулла или раввин с автоматом Калашникова. Время крестовых походов ко-о-огда еще закончилось!.. Аятоллы и талибы, сколько бы ни моллились, противны Аллаху.

Наступило время и православной церкви прямо сказать, что Богородица была еврейкой. Как были евреями и первохристиане. Когда их на аренах Первого Рима скармливали диким зверям, «пипл», нажравшийся привозного хлеба, ревел: «Смерть евреям!» Этот вопль вперемешку с ревом зверей эхом отдавался два тысячелетия. Сегодня, когда Библия на русском языке в полном объеме имеется почти в каждом доме, слово *Израиль* у верующих приобретает кардинально иное звучание. Оно встречается там достаточно часто для того, чтобы рядовой верующий стал задавать вопросы по этому поводу. И *православный* праздник обрезания Христа перестает быть отвлеченным понятием. Негоже замалчивать корни собственной духовности. Тем более третировать взрастивший ее народ.

Нельзя не заметить, что «пипл» еще с языческих времен не очень-то жаловал служителей церкви. Не стану повторять фольклорные упражнения в их адрес, которые еще похлеще «жида». Сам Александр Сергеевич Пушкин не удержался от того. Повторю лишь, что учителей не любят, а уважение зависит от них самих. Вряд ли сегодня грамотные, истинно верующие русские люди станут уважать иерея-юдофоба. Понимает ли он, что брызги от его плевков летят обратно ему в лицо?

У церкви с революцией тоже достаточно сложные отношения. Разночинцы, эта предтеча и составляющая революции, наполовину являлись выходцами из духовного сословия. Были внутри церкви и свои диссиденты, а то и просто отрекшиеся, едва пропел красный петух... На семинарах по истории советской журналистики обыкновенно показывали газетку времен революции, которую редактировал поп-расстрига. Он и заполнял своими творениями в стиле дурного атеизма всю ее площадь. Тот, сохранившийся в пожарах революции, номер открывался карикатурой на Георгия Победоносца. И подпись была соответствующая: «*Держит в руке копие, колет змия в жопие*».

Позволю себе высказать частное мнение о языке русского православного богослужения. Не говоря о традиции, сама служба звучит торжественно именно на церковно-славянском языке. Этот родственный, во многом понятный язык близок поэзии оригинала. Притом он обогащает лингвистически и духовно язык русский. Достаточно быть знакомым с русской классикой, чтобы убедиться в этом. Ну а при непонятных местах — под рукой русский перевод Библии. Всей Библии — без этого она теряет всякий смысл.

Какой же быть России, чтобы не скатиться теперь в Пятый Рим? Историческая орбита одна для всех. Исключений здесь не предвидится. Все государства, если не попадут в черную дыру истории, рано или поздно придут к демократии. Однако в мире существует несколько ее вариантов. Они зависят от пройденного исторического пути, географического положения, природных ресурсов, наконец от менталитета самого населяющего страну народа. Исходя из этого, какой же вариант демократии подходит стоящей ныне на распутье России?

К началу XVI века была она, что называется, Старым Светом. Именно в этом веке и состоялось для нее открытие Нового Света. Началась массовая колонизация в сторону Беломорья, затем освоение лесов и прерий Сибири, Среднего и Дальнего Востока, игравшего роль русской Калифорнии.

Основную массу поселенцев составляли обезземеленные крестьяне, гонимые старообрядцы, просто люди авантюрного склада. Вместе с освоением новых земель и продвижением к океану уничтожались, изгонялись со своих угодий племена и народы.

Новый Свет в России составлял девять десятых ее территории. Но, в отличие от Америки, был еще Старый Свет, тот самый Третий, а затем и Четвертый Рим,

которые задержали «Бостонское чаепитие» в России на два с лишним века. Оно и состоялось только к концу второго тысячелетия. Исходные данные для строительства демократии у Соединенных Штатов конца XVIII века и России века XX были примерно те же, разве что за спиной у Америки не было тяжкого груза византизма.

Предвижу тот «патриотический» гнев, который вызовут у адептов особого пути России мои предположения о будущем российской государственности. Это будущее видится мне именно как Соединенные Штаты России со всеми реальностями такого государственного устройства. Не обязательно будут они называться штатами, скорее всего губерниями, но принцип будет тот же: единое государство во главе с имеющим достаточную власть президентом и выборными губернаторами, имеющими не меньшую власть на местах. Разумеется, что при полной, не побоюсь этого слова, диктатуре закона. Только судьи должны быть избираемы и, скажем, квартира, выделяемая им, безразлично — губернатором или федеральной властью, станет квалифицироваться как взятка со всеми вытекающими последствиями. Подразумевается также полная, без всяких византийских удавок со стороны власти, свобода печати. То, что такое государство обязательно будет сильным, доказано историей. Слон с ослом — двое трудяг в одной упряжке, сколько ни лай на них из всех подворотен, все идут себе вперед и ухом не ведут.

Другие варианты демократии не могут быть для России образцом. Немалую роль при этом играют размер территории, разнородное население, порой говорящее на разных языках; полезные ископаемые как основа промышленного роста. Все это есть у Америки и нет в полном объеме у других демократий. Если взять за образец Германию, то она состоит из лишь недавно слившихся в единую систему государств, составивших ныне федеральные земли. Пруссия, Бавария, Саксония, вольные торговые города хранят самобытную независимость. То же самое во Франции, Италии, не говоря уж о разноразнонациональных кантонах Швейцарии. В России же в силу ее византийского устройства Владимирская или Новгородская Русь остались лишь в фольклорных воспоминаниях. Огромная территория — одна восьмая часть света! — не разрешит России допустить конфедерацию. В этом случае могут заявить о себе сразу полдюжины Австралий.

Что же касается национальных образований, то американская система демократии позволяет полную свободу выбора. В Калифорнии, например, значительную часть населения составляют латиноамериканцы, но суверенитета они не просят: им это просто невыгодно. Сюда бегут, рискуя попасть в тюрьму или потерять жизнь, из соседней, вполне суверенной Мексики. Если же говорить о культурной автономии, то в Нью-Йорке, например, есть целые районы, где говорят только по-китайски, по-итальянски, по-еврейски, по-аравийски, а сегодня уже и по-русски. Это обычная для Америки вещь. Впрочем, штаты Гавайи или Флорида имеют свое самоуправление с не меньшими правами, чем Татарстан или Мордовия.

Так что на Запад смотреть или на Восток — все равно через тот или другой океан будет Америка. Никаким ретивым митрофанушкам ее не закрыть. А низкопоклонство зависит лишь от холопского состояния души. Этот условный рефлекс воспитывался веками от «нижайшего раба твоего, великий государь» до «великого полководца всех времен и народов, корифея всех наук». Японцы вон как вежливо кланяются, все полезное на ходу перенимают, а остаются японцами. Никто не обвинит их в отсутствии национального достоинства.

Мне кажется, что сегодня Россия, несмотря на очевидные пережитки византизма, строит именно такую систему демократии. И Путин — это точно найденная историей (не Ельциным) политическая фигура для такого обустройства России. Думаю, не обманываюсь, считая в первую очередь его честным человеком. Это качество при размытом веками византизма понятии чести является определяющим в нынешней политической жизни России. Товар это штучный, и не так уж много на российском политическом горизонте людей, к которым применимо такое определение. Что касается его прошлой деятельности, в частности, службы в разведке, то это не может служить мотивом для сомнений в его компетентности. Давайте уже все вместе отвечать за ту трагикомедию, которая разыгрывалась на российской сцене в последние десятилетия века. Пусть не считает себя свободным от ответственности перед историей даже выступавший в амплуа «Кушарь подано!».

И надо ясно представить себе, что никакой либерал, ученый-правовед или просто записной добряк не справятся со столь запущенной исторической ситуацией, ко-

торая сложилась ныне в России. Она сегодня просто не примет классического демократа в качестве лидера. Не об этом ли говорят постоянные цифры голосования по самым различным поводам? Нужны *разумная воля*, горячее сердце (это не такое плохое качество) и умение сдерживать его порывы. И только при всем этом — абсолютная, не подверженная никаким колебаниям убежденность в необходимости именно демократии для обустройства России. Следует сюда прибавить чувство юмора, без которого немислим большой политический деятель.

Все это есть у Путина, разве что чуть-чуть не хватило чувства юмора при разборках с «Медиа-Мостом». А всего-то и нужно было какие-нибудь двадцать минут под общий смех России подискутировать со своей маской. Убежден, сколько бы потом ни пыталась она ёрничать по поводу своего прототипа, у нее ничего бы не получилось. А выступать президенту в роли рассерженного Юпитера политически непродуктивно.

Путин умеет хорошо, я бы сказал *потаенно*, улыбаться одними глазами, и в этом гарантия того, что не повторится извечная беда российской власти, выражающей одним только видом своим византийскую непреклонность Угрюм-Бурчеева.

Через два века перед Российским государством — все тот же выбор между Аракчеевым и Сперанским. Если станет оно корчить из себя Византию, то есть создавать очередной исторический мираж, то предпосылки к этому имеются. Достаточно сказать, что при нынешней демократии чиновники стали размножаться простым делением. Их за десять лет стало вдвое больше, чем было во всем Советском Союзе. Даже в Думе, где основной контингент составляют те же чиновники, мы видим сидящих рядом отца и сына. Хоть икону с них пиши! Только надо хорошо себе уяснить: чичиковы не смогут больше управлять Россией, она за эти десять лет достаточно ушла вперед. И Коба здесь больше не может родиться. На этом пути Россию на первых же километрах поджидает смутное время. И, как результат, — ядерная зима.

А на долгом, полном змей и терний пути к демократии беспокоит вот это извечное русское *нетерпение*. Да, то же самое, что всякий раз, едва доходило до дела, срывало реформы и открывало шлагбаум очередному Риму. Ничего не бывает в истории «по щучьему велению», и джинн, выпущенный из бутылки, не послушавшись хозяйна, может начать крушить все вокруг, включая атомные электростанции.

От чего категорически надо избавляться России, так это от византийского высокомерия. Это оно сыграло решающую роль в чеченской трагедии, ставшей трагедией для самой России. Чеченцы — народ со своими понятиями о жизни, веками подпитываемыми противостоянием с Россией, исковерканными депортацией, сравнимой лишь с акциями вавилонских царей. Для чеченца главное — не деньги и не власть — любая власть, с которой он обычно мало считается. Стержень его самосознания — *достоинство*. Менее всего подверженный религиозным да и политическим влияниям, он готов умереть, если кто-то намеревается покушаться на этот остов его национального духа. Не умозрительно я пришел к пониманию этого. Десятки лет дружу я с чеченцами, в том числе и с теми, которые, вернись они в Чечню, стали бы полевыми командирами. Сейчас они мирно живут в Казахстане, внося весомый вклад в его экономику и культуру. Кстати, отмечу, что антисемитизм, точнее — юдофобия, ни в коей мере не продукт чеченской истории. Это привнесенный извне советской целенаправленной пропагандой, а потом и бывшими ее союзниками, всяческими хаттабами, элемент политической провокации.

С самого начала нельзя было дать разгореться этому конфликту. Но как же президенту великой державы, наследнику цезарей, можно сказать, разговаривать с каким-то там генералишкой, даже не генералом армии и не маршалом?! Вот и не допустили его к особе, хотя тот неоднократно на том настаивал. К тому же считается, что чеченцы должны быть благодарны, что простили их, возвратили на историческую родину. Руки бы надо целовать за это. Ну как же, будет чеченец целовать кому-то руку!

Так началась эта война. И, чтобы достойно закончилась она, есть только один путь. Для начала собрать всех авторитетных чеченцев из остального мира и предложить им *равноправное*, без всяких ультиматумов, участие в разработках плана завершения военных действий. И не кто-нибудь, а президент России должен принять в этом личное участие.

Что касается партийности, то «партия власти» вообще-то нонсенс. Она может состояться только в условиях «диктатуры пролетариата» или однотипной химеры. Это очередной политический мираж, каковых немало было в российской истории.

Какого качества политиков привлекают к себе подобные образования — общеизвестно. Ничего судьбоносного ждать от них для российской государственности не приходится. Им перестают верить уже на третий день после их образования, и полезны они лишь как одноразовые шприцы. А вот в отношении необходимости сильной социал-демократии, так сказать, российского лейборизма, Путин, безусловно, прав. Социализм не пропеть по нотам какого бы то ни было «правильного» учения, к нему тоже нет «особого пути». Может быть, стоит немногочисленным здоровым элементам в КПРФ присмотреться к тому, как он «овладел массами» в ряде стран Запада. Можно, конечно, смотреть и в противоположную сторону, где алеет Восток и идеи чужие служат путеводной звездой народам мира. Но тогда России придется, как Мюнхгаузену, самое себя вытаскивать за волосы из болота.

Ну и еще вопрос об олигархах. Тут надо прежде всего присмотреться, кто пасется на вывозе или выкачке полезных ископаемых из России, гонит водку и спекулирует лекарствами, а кто умело выстраивает новые научно-промышленные комплексы, обеспечивая работой сограждан. Сюда же относятся средства массовой информации, которые помимо всего прочего кормят себя сами. И здесь снова всплывает тот же самый «вопрос».

Горький писал о том, что в России, если русский украл, говорят «вор украл»; если еврей украл, то говорят «еврей украл». Разве не то же самое происходит нынче с олигархами? Их предостаточно количество в России, и есть побогаче Березовского. Но евреи обязательно должны быть на виду — такой уж мы народ. У нас в Одессе это называлось «швыцать», то есть лезть вперед на уроках с поднятой рукой. Вот и возникают искаженные представления о том, кто же главные «эксплуататоры трудового народа». КПРФ хлебом не корми — дай только такой булыжник в руку. И почетный ариец Жириновский не пройдет здесь мимо. «Пипл» и вовсе начеку.

Жаль только, что впутываются в такое сомнительное дело вполне порядочные люди. Вот лидер Чувашии со вполне русской фамилией язвит олигарха Абрамовича тем, что тот избран в парламент от Чукотки. Как же — не чукча! Но чукчей на Чукотке осталось ноль без палочки. Интересно, заметил бы такое несоответствие уважаемый сенатор, если были бы избраны Сидоров, Сидоренко, русский, украинец или даже чуваш? Почему это не может быть Абрамович? Он такой же гражданин России, как и они. А если он при своей очевидной деловой активности поможет не речами, а чем-то более существенным Чукотке, чтобы окончательно не вымерла она в следующую зиму от голода и холода, то и совсем будет хорошо. Не для Израиля — для России.

Дело усложняется и тем, что при нынешнем политическом устройстве России каждый олигарх, русский он, еврей, татарин или грузин, незримыми нитями связан с какими-то политическими фигурами. В этом смысле на Украине в прежние времена бытовала поговорка: *«Кожный пан мае свого жыда»*. Речь, как видим, сегодня не только об одних евреях...

В следующие после Беловежской пуцци дни смотрю телевизионную передачу из Душанбе. На площади перед Домом правительства толпа человек в двести. Узнаю знакомых мне писателей, ученых, режиссеров, актеров. Интеллигентные, вдохновенные лица, в руках самодельные плакаты на русском и фарси. Они решительно требуют полного суверенитета и немедленного введения всех демократических институтов. Чего-то вроде французской конституции, только еще лучше. А сзади, невдалеке, расселись на земле человек пятьдесят в халатах, чалмах или однотонных тубе. Никаких призывов, плакатов, никакого выражения на лицах, просто сидят...

Включаю на следующий день телевизор. Те же двести человек шумят, размахивают руками, требуют полных религиозных свобод и всего остального. А сзади расселись на земле уже человек четырехста и так же молча смотрят. Еще через день все те же люди подписывают какие-то петиции, передают в правительство, со ступенек выступают ораторы. А сзади уже тысячи две сидят, чего-то ждут. Что произошло затем в Таджикистане — общеизвестно. Это как не евшему месяц человеку дать сразу съесть буханку еще горячего хлеба...

А пишу это к тому, что меня искренне удивляет, если не сказать больше, совершенно бездумное, инфантильное отношение западной интеллигенции, в том числе ряда близких мне друзей, к нынешней политической ситуации в Центральной Азии... И дело даже не в том, что негоже приходиться в чужой монастырь со своим уставом.

Требования, не сообразуясь с исторической реальностью, исполнять до последней запятой каноны классической демократии сродни провокации. Я бы так и подумал, если бы не знал чистоты их помыслов и по своим убеждениям сам не был демократом до мозга костей. Но пойдя, скажем, Ислам Каримов им во всем навстречу, и в три дня Узбекистан превратился бы в кошмарный сон, сродни Афганистану. То же самое можно сказать о Киргизии, да в той или иной степени и о других республиках Центральной Азии. У меня есть право говорить так, поскольку знаком с этим не по газетам и кратковременным визитам.

Другое дело, что только демократия — и никакой другой «особый путь» — должна быть целью государственной политики. Славная царица Томирис, Чингисхан или Тамерлан не могут служить образцами государственной мудрости. Сколь бы ни были красочны исторические миражи, они лишь сбивают с пути государственный караван. И нужно сказать, что в данных исторических условиях закономерно, что ставшие президентами бывшие первые партийные секретари в большинстве своем ведут этот караван в правильном направлении. Их поколение пришло к руководству уже не из детских домов. За плечами у них весьма полезный опыт политического выживания в разваливающемся тоталитарном государстве и достаточно высокий уровень образования. Тоталитаризм в любой форме для них в принципе неприемлем. Они знают не по книгам его политическую нецелесообразность в современных условиях. Есть исключения, но не о них речь. О том, чего давно уже не видел своими глазами, говорить не стану. Однако поставленные самим себе прижизненные памятники имеют отношение скорее к идеям чучхе, чем к любому варианту демократии. Так делали древние иранские цари: сорок городов были названы именем сасанидского царя царей Шапура. И столько же городов были названы при жизни именем генерального секретаря ЦК ВКП(б). Стоило ли на пороге третьего тысячелетия возрождать эти традиции?

Ну и с демократами, понимая их нетерпение, надо находить общий язык. Это трудно для тех, кто заканчивал Академию общественных наук при ЦК КПСС, но положение первого президента демократического государства ко многому обязывает. Не мешает подумать и о том, что скажут потомки...

Что любопытно, все без исключения молодые государства Центральной Азии смотрят на Запад, прорубая туда окно каждое по-своему. Оно, конечно, Россия, куда уже давно и широко открыто окно, — для них ближайший Запад. Смущает их кликушество думских и всяких иных митрофанушек. Оказаться снова в зависимости от какого-нибудь Пятого Рима их не устраивает. Дело здесь не просто в нефтепроводах...

Не одна только Чечня — продукт национальной политики, которую лучше всего представил бы слон в посудной лавке. О многом я уже писал. Но речь тут пойдет не об издержках Четвертого Рима, а о глубоководном мною человеке, совершившем одной только книгой свой национальный подвиг. Книга эта в немалой степени способствовала разрушению тотального миража, который представлял собою «Союз нерушимый республик свободных». И вдруг этот человек, лауреат Нобелевской премии, публично высказывается в том смысле, что большой народ, являющийся собою прародитель тюрков, вовсе и не народ. Это лишь какие-то непонятные роды, бессмысленно кочующие туда и сюда по степи, явно занимая здесь чье-то законное место. То, что народ этот, меняя свой этноним, постоянно жил здесь, строил города, образовывал различного типа государства тысячу и две тысячи лет назад, писатель, по-видимому, не знал или не придавал этому значения. Казахи были буквально потрясены этим. Уж от кого, но от Александра Исаевича Солженицына они такого не ожидали.

Как видно, и в Москве поняли, мягко говоря, бестактность подобного утверждения писателя. Мне позвонили из «Комсомольской правды», вероятно, решив, что как раз мне приличествует возразить ему по этому поводу. Я согласился, но вовсе не для того, чтобы «давать отповедь». В самых деликатных выражениях я обрисовал для Александра Исаевича, какое место в истории Центральной Азии во все времена занимали тюрки, в частности, казахи. Но, крестник «Нового мира», я не мог не присоединиться к мнению соратников Александра Трифоновича Твардовского по журналу в связи с несправедливым высказыванием Солженицына и в его адрес.

Мне пришлось прямо сказать о том, что, не будь члена ЦК КПСС Твардовского, едва ли бы мир узнал писателя Солженицына. Не говоря уж о том, что не допустили бы его к архивам и не дали бы свободно собирать материалы для «Архипелага

ГУЛаг». Членство в ЦК — дело десятое, но Твардовского лишили «Нового мира», что было для него смерти подобно. Она и не задержалась, пришла за ним. Следовало бы как-то уважать его память.

В связи с этим я позволил себе отметить определенно ленинские черты в характере Солженицына. Этакая полная, мессианская самоуверенность и поиски абсолюта сродни протопопу Аввакуму. Отсюда определенная глухота по отношению к реалиям жизни, а то и к чувствам других людей. В отличие от святых подвижников быть в чем-то грешными и хотя бы не питаться акридами — это тоже неотъемлемое право человека. В связи со сходством характеров, может быть, и удался писателю образ Ленина в его известной повести.

Отсюда и грех неблагодарности. Изгнанного с родины писателя пригрел Запад, он пользовался там всеми благами столь несовершенной в его глазах демократии; дети его и сегодня там не обижены. И вот читаешь его филиппики в адрес той же Америки, и опять вспоминается Ленин. Тот тоже, уехав от преследований, жил себе, как хотел, в Женеве, Париже, Лондоне, пил пиво, посиживал в библиотеках и целью поставил уничтожить весь этот грешный демократический мир. Помнится, и аятолла Хомейни, спасшийся пятнадцать лет от шаха во Франции, объявил потом весь Запад исчадием дьявола. Без чадры, видишь ли, там женщины ходят!.. А Солженицыну, к слову, пришлось отведать и толику казахского хлеба. Такое негоже забывать.

«Комсомольская правда» напечатала лишь первую половину моей статьи. И на меня рассердились за то, что я опубликовал ее полностью в другой газете. Могу лишь добавить к сказанному, что уважение мое к подвигу Александра Исаевича Солженицына не стало меньше. Издержки характера — дело обычное не для него одного. А вот сегодняшняя его позиция по объединению порой бессмысленно, десятилетиями противостоящих друг другу отрядов русской литературы вызывает искреннее уважение. Кому, как не ему, стать символом такого объединяющего начала. В консолидации самых разнообразных сил нуждается сегодня Россия, а литература всегда была ее нравственным поводом. Свобода высказывания различных мнений и для нее обязательна.

То, что в разболтанном донельзя Российском государстве следует подкрутить гайки, — несомненно. Этим сегодня и занялся Путин, и Бог ему в помощь. Следует лишь заметить, что гайки эти следует подкручивать со смыслом: можно и резьбу сорвать. В российской истории немало таких примеров. И выпавшая Путину задача, может быть, самая ответственная за всю эту историю. От нее зависит сегодня уже судьба не государственной системы, а самой России. Кажется мне, ему по плечу и без неловких движений объединить здоровые политические силы России для решения этой задачи. Противопоставление губернаторов Думе или так называемых олигархов, а с ними и всей новообразованной экономической и производственной структуры бедствующему народу может привести к государственной катастрофе. В России это обычно случается в один день.

Важно лишь твердо уяснить аксиому, что классового мира никогда не случится. В той или иной степени происходят в сегодняшнем мире внутригосударственные, межконфессиональные, межнациональные и всякие иные конфликты. Насчет единства и борьбы противоположностей Маркс, безусловно, прав. И тогда шкодливый человеческий ум находит простейшее решение: *корпоративное государство*. Это такое государство, которое путем диктатуры, силовыми методами (гестапо, КГБ, «стражи исламской революции» и т. д.) *заставляет* жить в мире агнцев и козлиц. То есть, по-нашему, по-привычному — рабочих и капиталистов.

И, чтобы не казалось это государство обычной уголовной «крышей», когда на базаре царит полный порядок, используется «государственная идеология»: строится коммунизм, третий рейх, царство исламской справедливости или просто чучье. Естественно, как воздух для выживания, требуются внешний и внутренний враги. В развитие идеи можно вырезать всех до единого капиталистов и кулаков, затем, разумеется, взяться за евреев. Это, так сказать, внутренняя политика. Внешняя политика заключается в трате сотен миллиардов долларов на мировую террористическую войну против Запада и прежде всего — Америки, что заканчивается в конце концов Афганистаном.

Какие-то там противоположности с их борьбой оставим умникам-философам. Вслед за нашим «естественным союзником», как называли в тридцать девятом году

Гитлера, мы знаем, что все это придумали евреи с тайной целью расколоть единую здоровую нацию. На самом же деле «*весь советский народ, как один человек, шествует величавой поступью к сияющим вершинам коммунизма*» (из призывов ЦК КПСС к очередной годовщине Октября). Действительно, какое там «противоречие» может быть между секретарем обкома, защищенным блатом вороватым завмагом и каким-нибудь инженерешкой, вкальывающим за сто двадцать целковых?

Так возникает исторический мираж. Сдуваемый ветром истории, он грозит народу и его государственности неисчислимыми бедствиями. Ведь не случайно слова к Гимну Советского Союза написал баснописец! А ветер истории — это и есть в конечном счете атомная бомба, сброшенная на Хиросиму.

Так что искать «государственную идеологию», чем так рьяно занимаются оставшиеся как бы в безвоздушном пространстве досужие умы в России или том же Казахстане, — пустое дело. Это как с поисками черной кошки в темной комнате. Философы от марксизма-ленинизма просто остались без дела. Строить что-либо — так уже столько настроили, что развалины разбирать еще полвека. Вся идеология демократического государства заключается в том, чтобы без всякого применения огнестрельного оружия сохранять не *постоянный*, а *постоянно меняющийся* баланс интересов между различными частями общества, будь это рабочие, крестьяне, олигархи, ветераны, православные, мусульмане, католики, татары, евреи, глухонемые — всех и не перечислить.

Сам аппарат демократического государства должен ежечасно самонастраиваться на это, как автоматически настраивается хороший современный телевизор. И, уж во всяком случае, видеть свою цель в том, чтобы «противоположности» хотя бы из пушек не палили друг в друга. Совершенно свободные от какого-либо руководства со стороны чичиковых пресса, телевидение, суд, партии, профсоюзы, культуры и всякие иные фонды, множество других свойственных демократии институтов — вот составляющие такой настройки, в каждую данную минуту устанавливающие *статус-кво*. Демократическое государство должно быть кровно заинтересовано во всех этих свободах и не пилить сук, на котором сидит. В этом и заключается его идеология.

И если будет работать эта машина, социализм явится сам собой, без всякого объявления в газетах. Строительство социализма с помощью продотрядов, сгоняемых в колхозы людей, организации социалистического соревнования и «борьбы с тлетворным влиянием Запада» известно куда приводит... Конечно, в крайних случаях демократия и силу должна применять, как, например, в Ольстере, где столько лет уже ежедневно и ежечасно гасится гражданская война. И, что непонятно для нас, как это там до сих пор ни одного города не стерли с лица земли. Слабаки эти англичане!..

Такая вот трудная задача стоит перед Путиным, Назарбаевым, Акаевым, Каримовым, да и другими президентами государственных новообразований. По историческому счету именовать их состоявшимися демократиями пока еще рано. Самая хорошая конституция, парламент, пламенные речи еще не гарантируют самоценность демократического государства для отдельно взятого гражданина. Управлять отлаженной демократической машиной неизмеримо легче, чем строить ее, имея под руками лишь оставшиеся от страны победившего социализма «винтики». Разве не гордились мы этим своим званием? Так что, критикуя нынешних машинистов, следует помнить, что едут они на далеко еще не достроенном паровозе. Здесь всякое возможно. Корить их пока можно только за направление, в котором они ведут государственный состав. Не дай Бог разогнать его в нынешнем состоянии по примеру «птицы-тройки». Куда еще может она сегодня залететь!..

И это случится, если кто-либо из президентов собственными, так сказать, силами, умом и талантами одной только своей администрации захочет сделать свой народ счастливым. Это прямой путь к корпоративному государству. Мы уже видели недавно счастливый советский народ. И разве не был счастлив народ Первого Рима?.. Сунут в зубы краюху привезенного из Ливии хлеба, дадут посмотреть гладиаторские бои — и ладушки. Теперь это даже сподручней: есть телевизор, первенство страны по футболу, а хлеб опять-таки можно завезти из Америки и Канады. Или из Казахстана, если там к тому времени тоже не начнут внедрять «государственную идеологию». Тогда хлеба не жди!

Россия да и вся Евразия — на распутье...

Вся надежда не на трех-четырёх советников, будь они семи пядей во лбу, а на самое элементарное чувство самосохранения всех без исключения, как принято говорить, «ветвей власти». Можно, конечно, срезать эти ветви, но тогда останется толь-

ко один телеграфный столб. Он стоял полвека посреди Евразии с вороньим гнездом наверху, пугая окружающий мир своей непредсказуемостью. Именно предсказуемость определяет жизнеспособность всякого государства.

Это я к тому, что как-то исподволь, постепенно зарастают паутиной окна нынешних суверенных государств Центральной Азии с видом на Россию. Не стану говорить об экономике, здесь все ясно.

Речь пойдет о культуре и прежде всего о великом русском языке. Это слово — «великий» настолько затаскали штатные «патриоты», что оно или не замечается, или, хуже того, вызывает идиосинкразию, момент отталкивания в народах, которые «сплотила великая Русь». Но язык русский в отличие от языка чичиковых действительно велик, и самый убежденный националист не станет этого отрицать.

Однако для казаха не менее велик его язык, на диалектах которого говорит множество людей. Свидетельствую — в меру своего знакомства с ним в качестве многолетнего литературного переводчика, что язык этот удивительно, неповторимо образный, ироничный, с богатейшей палитрой красок, способный легко ассимилировать иноязычные структуры. А это — первый признак жизнестойкости любого языка. Язык, отгороженный от других «берлинской стеной», обычно являет собой тот самый «мумбо-юмбо», беднее которого лишь язык Элочки-людоедки.

Замечу при том, что если в русском языке не менее двадцати процентов тюркских корней, то в современном казахском не меньшая доля корней русских. Скажем, с английским языком у казахского нет такого близкого родства. Следует добавить к этому: почти все международные термины, основой которых являются латынь, греческий, вся совокупность европейских языков, переданы были в казахский язык через русский. Отказываться сегодня от такого богатства лишь потому, что на этом языке говорили приставы, урядники, оперуполномоченные НКВД и очень плохо товарищ Сталин, противоречит здравому смыслу.

В первые годы суверенитета можно было как-то понять воинственные заявления о немедленном переводе на казахский язык не только государствообразующей, но и научной, медицинской, экономической и политической терминологии. Такое случалось и в русском языке, что едко высмеивал Пушкин: «Но панталоны, фрак, жилет — всех этих слов по-русски нет». То, что следует всячески активизировать развитие и изучение родного языка, не вызывает сомнений. Но вся казахская интеллигенция и в подавляющем большинстве народ пользуются также русским языком. Не может врач, инженер, экономист, физик, химик, биолог, наконец политик замкнуться сегодня на одном казахском языке. Двухязычными народами, несмотря на все богатство арабского языка, в той или иной степени являются Алжир, Тунис, Марокко. На двух языках говорят Гонконг, Сингапур и другие, не последние в смысле преуспеяния страны, не говоря уже об Индии, где английский язык нисколько не мешает любить и развивать собственные языки.

Период канцелярской русификации остался в прошлом. Думается, русский язык никак не мешает сегодня казахскому языку. Владение двумя языками безмерно обогащает народ.

А английский надо изучать. Триязычие — признанный ныне в мире сертификат культуры для любого человека. Ну а бытовая культура не по дням, а по часам становится единой для всего человечества: от костюма до Интернета. Когда доктор наук надевает в театр шапку, удобную для табунщика в степи при жгучем сорокаградусном морозе с ветром, это лишь благородное увлечение фольклором. Бывает и неблагородное, когда к дедовским орденам и лампасам как обязательный атрибут прилагается нагайка. Тогда настораживаются соседи, в свое время испытавшие этот «фольклор» на своих спинах. Все в мире, доброе и злое, мечено историей.

Любопытная ситуация. Мировая пресса, в том числе и российская, пытается понять, каким путем намеревается Россия идти в будущее. Точнее — пойдет ли она со всем цивилизованным миром в ногу или покатит на птице-тройке проторенным «особым путем», который никаким умом не понять? И будут, как предвидел классик, сторониться в изумлении другие народы, ну и так далее...

И не слова интересуют мир — сколько их было сказано в последние десять лет! — а контурные карты российского политического маршрута. Достаточно жирные линии уже прочерчены там в наследственное царство чучке, к некоторым заклатым друзьям по соседству.

Ждут новейших технологий проверенные временем заклые друзья. Куда, в какую сторону обратится все это оружие лет этак через десять — пятнадцать, гадать

не приходится. Туда же, куда обратились розданные бесплатно по всему Востоку автоматы Калашникова и прочие достижения советской военной науки. А там, по соседству, куда все это обратится, уже сегодня горят свечи вместо лампочек Ильича и вымерзают от холода целые города. Свято место пусто не бывает, тем более что оно далеко не свято...

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Появились поблизости и новые друзья, готовые платить наличными за атомные технологии. А для них весь цивилизованный мир — царство Сатаны, которое следует стереть с лица Земли. Как не доверять им атомные секреты! Тем более что Россию они временно, во всяком случае вслух, перестали именовать тем же сатанинским порождением. Что будет через десять — пятнадцать лет, можно лишь гадать. Разве только сами аятоллы к тому времени приведут свою страну к общему знаменателю. Впрочем, Америка далеко, а простейшую атомную бомбу они могут вполне по-соседски употребить именно в этом состоянии. У них ведь совсем другие критерии при определении Божьего промысла. Грибоедовский вариант может повториться в апокалиптических размерах. Инициаторами его там в свое время тоже были аятоллы.

Много и других заманчивых сюжетов для «наступательной дипломатии». Африка, Центральная Америка — сколько там истосковавшихся по делу товарищей, которые пока что занимались марихуаной, только и ждут кораблей с оружием... Можно оттуда опять кое-кого ракетами поугатать. И прямо спросить: «Ты меня уважаешь?»

Признаюсь, все это — кошмарный сон. Не верю я в такой вариант развития событий, сколько бы ни желали этого от века замороженные (вспомните Победоносцева) политические скалозубы. Россия становится стабилизирующим фактором в отношениях цивилизованного мира с «отмороженными» режимами, и пусть кто-нибудь скажет после этого, что она не великая держава. Понятно и то, что все это не самодеятельность, а согласованные с цивилизованным миром шаги к возвращению таких режимов в единую семью человечества. Мир в этом случае никак не обойдется без России, а большей дипломатической победы и желать нечего.

Снятся миру тревожные сны и по поводу внутренней политики России. Вертикаль власти — штука обоюдоострая. Идеала эта форма государственного устройства достигла при Сталине, и образцом служил Ксеркс. Так что к идеалу этому, да еще при русском (безразлично — революционном или контрреволюционном) размахе, стремиться не следует. Тем не менее такая вертикаль при наличии здравого смысла сегодняшней России необходима. Только искусство есть чувство меры — и это правило не только для одних театральных режиссеров. Всякая вертикаль нуждается в растяжках с разных сторон, и Пизанская башня тому примером. Особенно если бы строили ее на российских суглинках и пльвунах. А голая вертикаль без горизонталей вообще не имеет исторического смысла...

И опять-таки «партия власти». Такая уже была поначалу, и тоже верховодили в ней неподкупные идеалисты. Все повторяется. По городам и весям, как мухи на мед, ринулись в «Единство» оттертые было от кормушки более ловкими собратями чичиковы и расплюевы. Не десять и даже не пять лет, а пройдет два-три года — и они заполнят все политическое пространство от Москвы до самых до окраин. Никакие «чистки партии» не помогут. Количеством они возьмут, и демократия без шума и пыли обеспечит им приход к власти. Но дело-то в том, что разнородная, беспринципная по сути своей политической шушера не сможет повторить подвиг своих предшественников тридцатых годов. Те, расстреливая идеалистов, сами говорили от имени революции. От чьего имени будут говорить нынешние «заединщики»? Сталина нет и не может сегодня быть в России, так что им в этом плане ничего не светит. А Россию они точно погубят, если все будет совершаться по такому сценарию. Жаль только людей искренних, которых пока еще немного в этой... уж не знаю как и назвать, поскольку «партия власти» — нонсенс. Такой же, как и «государственная идеология».

Есть еще одна опасность для российского государственного корабля. Она несколько личного плана, но история свидетельствует, что самые мудрые правители оказывались уязвимыми с этой стороны. Даже песня об этом сложена:

Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила...
Блоха, ха-ха!

И напрасно смеялись над этим. Такая блоха постепенно становилась незаменимой, устраивала кому-то протекцию, казнила или миловала, а со временем начинала де-факто крутить туда и сюда рулевое колесо. И сам король уже ничего не мог с этим поделать. Они, блохи, такие, все тайны и пружины им знакомы...

Не от какой-нибудь блохи ли идет заметное порой тяготение к историческому миру, постоянно играющему роковую роль в истории государства Российского? Постельных блох в российской истории было немало, один Распутин многого стоил. Но тот хотя бы не корчил из себя Галейрана.

Так, как бы ненароком, и выстраивается хорошо знакомая схема. *Православие*, где иереи то тут, то там активно участвуют в выборах, осеняют крестом полки и батальоны, освящают подводные лодки. Кесарево при этом все чаще становится неотличимым от Божьего. *Самодержавие* — это когда «вертикаль власти» становится для кого-то навязчивой идеей. С обрубленными ветвями это опять-таки телеграфный столб. И *народность*, когда суррогат в виде «пипла» всегда готов высказываться от имени пахарей и молотобойцев. Что касается каких-нибудь инженеров, учителей, врачей, всяких там банковских счетоводов, то какой это народ!.. Так, прослойка и ничего больше. Хорошо еще, что не прокладка. А компьютерщики, как известно, тем и заняты, что по ночам миллионы на свой счет перегоняют. А поскольку без демократии сегодня не обойтись, то и явился «блок заединщиков и беспартийных».

Все тут до боли знакомо. Сквозь какой-то сырой болотный туман вырисовываются контуры Пятого Рима. Это не мираж даже, а некий горячечный бред. Чем такой бред заканчивается, общеизвестно. Только не бывать этому сегодня в России. Выросли два поколения, и подрастает третье, которые *не боятся*. Прежде всего не боятся думать, и для них даже Путин — старик, хоть и балуется дзюдо. Плохие они или хорошие, нравятся кому-то или нет — миражами их не увлечешь. Павлика Морозова из них не получится, и БАМ согласится строить лишь за хорошие деньги.

Другое дело, что очень уж обозлены они сегодня на свою неустроенность, и вот здесь-то таится главная опасность. Не затасканным «Римом» это пахнет, а чем-то похуже. Дурное дело нехитрое, и сменить камуфляж на черные рубашки можно в короткие сроки. Афганистан с Чечней для этого — хорошая школа. Тем более что черная рубашка на какой-то блохе определенно радует глаз. Во всяком случае, что-то не слышно о препровождении хотя бы на четыре дня в Бутырку камрада Баркашова. Омон занят в другом месте, куклы его беспокоят.

И снова как бы сдуло на время туман с российского политического ландшафта. Кратким сообщением Генеральной прокуратуры был положен конец блошиной затее с «Куклами». То, что они всему причиной, понимает даже трехлетний мальчик с мыса Уэлен. Как и то, что президент, и никто другой, проявил здесь инициативу. Остается лишь добавить, что президенту впору бы деньги платить за такую рекламу, которую делают ему и российской демократии злонамеренные «Куклы». Такова здоровая народная психология, ибо народ — не «пипл» и лишь больше станет уважать президента, который может быть грешен в чем-то наравне с ним. А если еще посмеется с народом над своими недостатками, действительными или мнимыми (народ и это понимает), то его ... *полюбят*. Подобное в политике ценится высоко. Собственно, этот парадокс разъяснит вам любой рядовой психолог.

А вот за рекламное катание на лыжах, охоту или рыбалку, как и за частое мелькание на экране в официальных эпизодах политической жизни, вряд ли полюбят. Да и смеяться в конце концов начнут вовсе другим, недобрый смехом. А это уж совсем плохо, что хорошо понимал один французский король. «Куклы» в данном случае — как бы отдушина, возвращающая президенту человеческий облик. Да и демократия ведь на земле не валяется, в мире больше станут уважать.

Летом девятнадцатого года поверженная Германия подписала Версальский договор. Немецкая социал-демократия («кровавая собака Носке») в союзе с рейхсвером сумели удержать Германию от большевистского переворота. Идеологи его — Карл Либкнехт и Роза Люксембург — были расстреляны. Обессиленная до предела, истощенная, голодная Германия вынуждена была платить победителям неслыханную контрибуцию. Самодовольные, пышноурые по моде еще предыдущего века президенты и премьеры от демократии близоруко шурились. Они думали окончательно ослабить Германию, вычеркнув ее на целый век из числа своих конкурентов. Так была унавожена почва для буйного роста политических сорняков. Фашизм принялся спасать Германию, находя отклик у отчаявшихся, лишенных работы и стимулов жизни людей.

Уже в 1923 году Гитлер с группкой своих приверженцев делает попытку захвата власти в Баварии. И рейхсвер в союзе с полицией встречает обнаглевших камра-

дов. Пулеметами. Боже, какой шум в связи с этим подняла либеральная пресса! Как же, рейхсвер учиняет бойню на городских улицах! И евреи, разумеется, были среди тех, кто требовал ничем не ограниченной демократии для всех без исключения политических партий. Вместо пяти лет Гитлер отсидел год, успев написать в тюрьме «Майн кампф». А рейхсвер задумался: стоит ли лезть в политику?

Далее все разыгрывалось как по нотам. Немецкие коммунисты в союзе с социал-демократами имели бы несомненное большинство в рейхстаге. Но из Москвы последовало мудрое сталинское указание, что главным врагом рабочего класса являются социал-демократы и по ним в первую очередь следует вести огонь. Гитлеру и делать ничего не оставалось, как прийти к власти. Их, Гитлера и Сталина, как бы притягивала друг к другу какая-то неведомая сила. Не случаен был и сговор между ними в тридцать девятом...

Германская трагедия превратилась в мировую. И после окончательного поражения Германии во второй мировой войне умудренные опытом демократические страны, еще не закончив войну, стали помогать Германии встать на ноги и войти в мировое сообщество. Речь, разумеется, идет о Западной Германии. Потом произошло воссоединение с восточной ее частью, а сама Германия, сытая и отстроившаяся, вот уже полвека служит стабилизирующим фактором на европейском континенте.

Понимая, чем это грозит «диктатуре пролетариата» и ему лично, Сталин категорически отверг помощь союзников в восстановлении разрушенного хозяйства, а по существу — в обновлении России. Кое-как подлатав прорехи за счет репараций и труда миллионов военнопленных, вывезя из Германии целые автомобильные, моторо- и станкостроительные комплексы, Советский Союз все силы бросил на производство вооружений и в первую очередь на ракетостроение и создание ядерного оружия. Началась пресловутая гонка вооружений со всем миром, пока раздувавшая лягушка «реального социализма» не лопнула сама по себе, без единого выстрела со стороны. Афганская война была придумана не в Вашингтоне и не в Тель-Авиве.

Горе победителям! Это не игра слов. Рим (настоящий, а не суррогатные его повторения) всякий раз извлекал больше пользы из своих военных поражений, чем из побед. Военная неудача заставляет реально оценить свои силы, не оставляет места самодовольству, мобилизует дух. Поражение от шведов на берегах Балтики, а затем от турок в Бессарабии создали феномен Петра Великого. Но это лишь часть трагедии — растянутое на полвека самоупоение российского общества и государства поистине великой победой в Отечественной войне. Хуже, что шестая часть суши, не смотря на все световые истории, с сорванными тормозами понеслась, сама не ведая куда. Ведь нельзя всерьез воспринимать исторический мираж как способ движения к коммунизму. А сам коммунизм — разве не призрак? Сами идеологи его определили это понятие как некое привидение, которое бродило по Европе позапрошлого века и смущало неокрепшие души.

Хуже всякого поражения оказалось то состояние, в котором находится сейчас Россия и связанные с ней политически, экономически и духовно ныне суверенные государства Центральной Азии да и Закавказья. Не берусь судить об Украине, Молдавии, наконец — Белоруссии, но на всех дорогах земли можно встретить — наряду с русской — бегущую оттуда молодежь.

И не нужно политологических исследований, достаточно посмотреть в глаза этой молодежи, которая не попала ни в фирменные офисы, ни в воздушно-десантные войска. Ее нечасто показывает телевидение. Именно молодежи не находится места. В раскинувшейся от океана до океана родной стране. В глазах ее смертельная тоска и нечто такое, от чего делается тревожно на душе. Позволю себе сказать, что политическая обстановка сейчас в России и на всем постсоветском пространстве не лучше, чем в Германии после Версальского договора. Тринадцать лет прошло от ратификации этого договора до выдвигания в канцлеры Гитлера вполне демократическим путем. Сколько лет уже прошло, считая от Беловежской пуши, которая зафиксировала в истории полное поражение Четвертого Рима в холодной и нескольких горячих войнах со всем цивилизованным миром?..

И пусть с запозданием, но следует той самой «семерке», которая великодушно позволяет называть себя «восьмеркой» при российском присутствии, заставить себя заглянуть в боюшь что недалекое будущее. И, как говорится, по тревоге объявить нечто вроде всеобъемлющего плана Маршалла для всего постсоветского пространства. При этом не мелочиться. Сколько бы это ни стоило, все равно обойдется намного дешевле, чем создание системы ПРО в семи вариантах. Опоздание в этом случае будет не на совести Путина, Назарбаева, Каримова, Акаева или еще кого-то. Они делают все, что в их силах и возможностях, а ошибки здесь неизбежны. Легче всего из

прекрасного демократического далека требовать от них того, что никак не исполнимо при данных исторических условиях.

Отнюдь не из-за каких-нибудь жизненных неудобств улетал я из Казахстана в Израиль. Произошло это, как говорится, по семейным обстоятельствам. Да и не в чужую для себя страну я отправлялся. Не говоря о том, что был я одним из организаторов общества «Казахстан—Израиль», моя многолетняя публицистика в союзной и республиканской печати, в частности, статьи в «Литературной газете», журналах «Дружба народов», «Столица», «Родина» и других изданиях, в немалой степени была посвящена и так называемому «еврейскому вопросу» (думаю, что это достаточно узкое и неточное определение). Впрочем, за полвека работы в литературе не было ни одной моей книги, где бы не была четко обозначена и эта проблема.

Я приехал в Израиль в составе первой казахстанской делегации во главе с президентом Нурсултаном Назарбаевым. Если же учесть, что с самого начала был я членом Национального Совета по государственной политике при президенте Республики Казахстан, то льщу себя тем, что в укреплении подчеркнуто добрых отношений между Казахстаном и Израилем есть и толика моего участия. Последняя моя государственная награда — медаль «За победу над Германией», и, Бог миловал, не имею ни одного ордена за литературную деятельность. «Народный писатель Казахстана» и все мои литературные и общественные премии — это не от лукавого. Три года мой родной казахский Пен-клуб уговаривал меня согласиться с выдвижением на Нобелевскую премию. Понимая, что это фантазия, я не давал согласия. И согласился лишь накануне своего отъезда в Израиль. Согласился потому, что выдвижение писателя-еврея от турецкой, мусульманской страны — добрый знак кардинально меняющейся в мире обстановки. Никакие диктаторы, никакие аятоллы и талибы не властны над временем.

За все десять лет демократии я лишь однажды стал свидетелем бытового антисемитизма, и отнюдь не со стороны казахов. На летучем рынке, каких много развелось в Алма-Ате, ссорились две торгующие женщины — русская и еврейка. Русская закончила свой монолог привычными словами: «Давай езжай в свой Израиль!» И тогда вмешалась третья, интеллигентного вида казашка: «Ты чего тут разошлась? Я тебя не уполномочила выгонять ее из Казахстана!» Такой вот показательный диалог. Когда я шел обратно, все три сидели вместе и мирно пили чай... Сколько глупости еще на Земле к началу третьего тысячелетия!..

Чтобы представить нравственный климат Казахстана в этом отношении, можно вспомнить одну старую историю...

Я уже писал о *ходжах* (казахское произношение *кожа*) — прямых потомках пророка Мухамеда или его ансаров (последователей). Они есть в каждом мусульманском народе, пишутся казахами, узбеками, туркменами, но свято берегут свою родословную. И, что любопытно, в отличие от некоторых своих ближневосточных и иных сородичей, сделавших войну «за чистоту ислама» политическим бизнесом, они во все времена были *миротворцами*. По их мнению, это и есть главный принцип ислама. Как только должна была начаться или уже шла война между государствами, ходжи одного народа ехали к своим родственникам-ходжам другого народа, война заканчивалась или вовсе не начиналась. Они не выкраивали единобожие на экстремистский лад, как и Пророк, считая иудеев и христиан «людьми Писания». А уж нацизма, которым болеют ныне всякие «авторитеты» от фундаментализма, судящие евреев только за то, что они евреи, ислам и на дух не приемлет...

В повседневной жизни ходжи обычно представляют собой вполне светскую интеллигенцию: среди них известные ученые, писатели, актеры, политики. Не знаю, почему уж так случилось, но среди моих близких друзей были именно ходжи из разных республик Центральной Азии. И вот, лет двадцать тому назад моего старинного друга, драматурга Калтая Мухамеджанова, прямого потомка Пророка в пятьдесят четвертом поколении, стали обвинять в том, что он, будучи одним из руководителей киностудии «Казахфильм», собрал вокруг себя своих родственников-казахов. На заседании секретариата ЦК КП Казахстана его склоняли за это на разные лады, называя фамилии этих родственников, и требовали исключения его из партии. Калтай внимательно выслушал всех, а потом сказал, что все это неправда, поскольку единственным его кровным родственником в Казахстане является Морис Симашко. Все открыли рты, а первый секретарь ЦК Кунаев, не зная, что сказать, махнул рукой: «Ладно, иди!» Больше к Калтаю с этим не приставали...

Меня провожали не один день и прямо к трапу самолета казахи, русские, чеченцы, евреи. Провожали потомки Пророка, а прямые потомки Чингисхана по линии Джучи и хана Аблая брата Каныпьяновы выдали мне именную золотую пайцзу. Она

висит у меня на стене в Бат-Яме... Абдижамил Нурпеисов, президент казахского Пен-клуба, прервал командировку и с температурой под тридцать девять прилетел для этого за две тысячи километров из той самой древней Хазарии, где обитали когда-то его предки. Провожал меня потомственный семиреченский казак Юрий Алексеевич Кошкин, создатель уникального музея, которому я оставил весь мой архив. Провожали мои друзья-чеченцы: Нажмудин Абдуев — президент известного научно-производственного объединения «Ремас», нефтяник Ахмед. Провожали евреи, и среди них Леня Гирш, полковник-танкист, с которым дружу полвека, еще с Туркмении.

Среди евреев бытовала такая шутка: если еврей очень уж большого роста и с хорошей выправкой, то называют его «елисаветградский». Дело в том, что с восемнадцатого века в Елисаветграде, ставшем потом Кировоградом, стоял полк гусар, куда подбирали дворянских детей двухметрового роста. Так уж случилось, что за эти два века окружающие евреи значительно подросли. Леня Гирш во всем отвечал этим параметрам.

И судьба его типична для многих евреев. Бедняцкая семья, ранняя работа. ПТУ. С первых дней войны — в действующей армии. Отступление через всю Украину, первое ранение, госпиталь. Потом обучение в военно-морском училище на Дальнем Востоке. Только не судьба была стать ему морским офицером: в составе морской пехоты был брошен на защиту Сталинграда. Затем краткосрочное обучение в танковом училище и (уже будучи командиром танка) участие в легендарном сражении под Прохоровкой. Затем командиром танковой роты прошел в обратном направлении всю Украину, форсировал Днепр, освобождал Польшу, в составе отдельной танковой бригады брал Берлин. И на три дня позже других закончил войну, освобождая Прагу. Немалые награды, в том числе и иностранные, украшают его грудь.

А за спиной было страшно. Проходя где-то рядом с Кировоградом, отпросился у командования на два дня узнать, что с оставшимися в оккупации матерью и всеми родными. По приказу командира бригады ему загрузили «виллис» продуктами для матери, и он поехал. В доме жили чужие люди, а соседи рассказали, как расстреляли и бросили в ров его мать и родных. Назвали знакомое имя человека, который выдал их. Леня, человек дисциплинированный, не стал его убивать, а передал особому отделу. У кого повернется язык назвать его доносчиком?..

После войны Леня со своим танковым корпусом попал в Туркмению, где я с ним и познакомился. Во время моей краткосрочной работы преподавателем Марыйского женского пединститута он сдавал мне предварительные экзамены по истории СССР для поступления в Академию бронетанковых войск в Москве — тогда это практиковалось. На вступительных экзаменах его узнал председатель комиссии, главный маршал бронетанковых войск Ротмистров, и он стал слушателем академии. И быть бы Лене генерал-полковником, не будь он Гирш...

Я обнялся со всеми и полетел.

Пятьдесят лет тому назад я на месяц перестал официально быть евреем. «Русский» — было записано в моих документах. В течение этого месяца я ждал, пока не будет восстановлено мое достоинство еврея. И вот, прилетев на историческую родину, я снова перестал быть им. Надеюсь, не навсегда...

Собственно, стал я никем, поскольку в официально установленной графе по поводу национальности у меня стоит прочерк. Мама была не та. Кем я себя считал всю жизнь и кем считали меня друзья, не имеет никакого значения. Да, мне в данном случае трудно было бы тягаться с крестителем Руси — Владимиром Красное Солнышко, чья мать была хазаркой. Его бы в Израиле точно признали евреем...

Я человек нерелигиозный. И фарисействовать на старости лет не собираюсь. Тем не менее я знаю и много писал о великой заслуге религии моих предков, впервые отменившей человеческие жертвоприношения и зажегшей для человечества нравственный факел Торы. Заслуга ее перед собственным народом не имеет аналогов в мире. В египетском и вавилонском плену и еще две тысячи лет после римского разгрома эта вера вдохновляла на выживание в гетто, не давала сломить достоинство народа кострами инквизиции, ритуальной травлей, погромами, Освенцимом и ГУЛагом. Благодаря вере еврей для «пиπλα» всех времен и народов лишь внешне представлял собою жалкую, согбенную фигуру (жид на ниточке дрожит!). Внутри себя он стоял прямо, никогда не теряя достоинства воина, землепашца, государственного устроителя. Что и доказало за прошедшие полвека государство Израиль.

Но, восстановив свою государственность, евреям следует оглянуться и посмотреть, почему развалился тот, древний Израиль, а затем и его не столь великие копии.

Много ответов там можно найти на поставленные сегодня вопросы, но это тема уже другой книги. Слишком мал срок моего здесь пребывания, чтобы браться за нее. Но есть вещи, которые можно увидеть именно свежим взглядом. Законы истории одинаковы для всех, и понимать это следует в первую очередь Израилю. Все противоречия мира собраны сегодня здесь, на Земле Обетованной, и вынести эту нагрузку по силам, наверное, только евреям...

Так или иначе опасности на пути государственного строительства, о которых говорится в этой книге, грозят и Израилю. Но главная из них — встроенность религии в государственный организм. Определенная часть Израиля хочет продолжать жить в гетто, теперь уже во всемирном масштабе. И строить на этом фундаменте «Третий Израиль». В сочетании с современным ускорением истории это образует такой динамит, что кому-то, уже подметившему такую слабину в государственном устройстве Израиля, для осуществления своих планов даже не понадобятся Бабий Яр или Освенцим.

Думается, все без исключения составляющие современной демократии должны присутствовать в жизнедеятельности Израиля. Так же, как присутствуют здесь водопровод и телефонная компания БЕЗЕК, которых не было в государстве царей Израилевых. При всем том я оптимист и думаю, что мой конфликт с моим государством по поводу моего еврейства надолго не затянется. А Бога я понимаю, хоть и нерелигиозный еврей. Просто мне он видится несколько иначе, вот и все.

Послесловие

Полвека назад это было. Сидели мы с моим другом — министром народного образования Туркмении Аманом Курбановым — в его отцовском доме, там, где кончается Мургабский оазис и начинаются Каракумы. Сидели мы на переброшенном через арык деревянном помосте — тАхте, прикрытом от солнца огромным столетним тутовником. У наших ног зеленела травка, и, лишь сделаешь шаг в сторону от тахта, начиналась пустыня. Дул ровный, неслышный ветер, и струйки песка забегали между травинками...

Мы сидели, пили чай и молчали. Это принято у туркмен. Аман, мудрый текинец, фронтовик, десятью годами старше меня, вдруг заговорил, не отрывая глаз от пустыни.

— Ты все неспокоен, волнуешься, думаешь о том и об этом, того хочешь учить и этого. — Он говорил ровным голосом, не повышая и не понижая тона, и вода неслышно текла в арыке. — Ты думай о том, как мы здесь сидим, пьем чай, смотрим на небо, на землю, и нам хорошо...

Я вспомнил пушкинскую «праздность вольную, подругу размышлений». Но было это совсем другое.

— Посмотри — ящерица побежала к своей норке, остановилась, что-то увидела. Смотри на нее. Саксаул вот растет. Корни у него старые, глубоко уходят, а ветки свежие. Смотри на саксаул. И как это красиво — песок — песок. Один песок до самого конца земли. Слышишь — ветер песок шевелит?.. Хорошо!..

И вдруг я услышал эту музыку пустыни. Ни одного человека, кроме нас, не было на земле. Ящерица словно застыла возле своей норки. И мне было покойно.

А к вечеру я на попутной машине уже ехал в Иолотань разбирать конфликт между директором средней школы и завучем. Я знал их: один был текинцем, другой сарыком, и все мне было понятно.

До сих пор я вижу зеленовато-серую ящерицу на сером каракумском песке. И понимаю, как растет саксаул. Певец-бахши поет в моих ушах песню пустыни. Кажется, пора бы образумиться, но вот снова не послушался своего друга Амана, написал эту книгу. Может быть, и вправду бродят во мне какие-то дрожжи, не дают покоя...

Бат-Ям (Израиль)
2000

Подготовка текста и публикация Риммы ШАМИС



Олег ПАВЛОВ

Музыка жизни

Коротенький рассказ, публикация которого на страницах «Нового мира» и должна была стать событием лишь для его автора, называется «Радость». Это рассказ о бродяжках, или, как говорят на милицейском жаргоне, «бомжах». Бездомные одинокие люди — мужчина и женщина — встречаются на привокзальной площади города, укрываются от дождя в зале ожидания, распивают на двоих бутылку вина и, решив продолжить встречу еще одной, уходят вместе в поисках какого-то иного и отдыха, и праздника — такого, что выстрадали люди, обреченные лишь на смерть.

Он привозит ее в деревню — в заброшенный дом, сохранившийся с тех пор, когда хозяин был обычным деревенским учителем, а не бродягой. В этом доме мужчина и женщина поселяются, обретают покой и радость, но расстаются, потому что женщина вновь уходит бродяжничать, выдумывая или действительно веря в то, что в какой-то Галабурдовщине давным-давно ее заждалась двоюродная сестра. Остаться и, возможно, выжить — значит как будто утратить веру, а это для нее и невыносимо. Мужчине больше некуда идти и не в чем обрести такую же веру, потому что когда-то брошенный дом уже принял его в свой склеп. Когда женщина уходит из его жизни, он хранит память о ней, больше ни к чему не прикасаясь, даже не раздвигая занавесок на окнах; а однажды, глядя сквозь них во двор, видит на дереве «фантастическое существо» и, удивленный тем, что бывают такие птицы, вдруг понимает: «Это по занавеске с обратной стороны ползет паук...»

Картина окружающего мира рисуется в рассказе предельно реалистично. Читатель проходит с двумя бродяжками обыденный гнетущий путь. В нескольких сценах быта бездомных людей изображается вся правда их существования. Даже за тень радости лицо бродяги будет разбито в кровь молодым, красующимся перед своей девушкой парнем, который приведет в исполнение все тот же приговор жизни, что не раз казнил отверженных и слабых. Желая распить свою бутылку вина в красивом месте — в укромной беседке, — бродяжки там найдут лишь грязь. Когда соберутся распить бутылку, неожиданно в небе возникнет люстра, «как у многих людей в домах». Мрак просветлится, и двое забытых, никому не нужных людей обретут вдруг дом небесный. Вспомнят о Боге — лишь Он один мог сжалиться над ними и даровать это чудо. Позовут Его к себе в компанию, но в тот же миг раздастся «звук перегоревшей электрической лампочки» — и опять нахлынет мрак... Это, как лампочка, сгорает чудо — а Бог не спускается к тем, кто уже идет по пути умирания, чтобы угоститься винишком в пластмассовом стаканчике, последней их радостью.

Обреченные — обречены. Но самих отверженных автор, однако, фантастически преображает, наделяя речью господина и госпожи, полных собственного достоинства. Василий Васильевич и Алла Александровна встречаются, угощаются вином, ведут беседы, философствуют, как будто кругом них не грязь и мрак, а благодушный и благополучный мир. Автор предложил читателю не абсурдистскую игру или утопию. Ничто не может понудить двух бродяжек говорить иначе, чем они чувствуют; но мир, отвергнувший несчастных людей, предстает в своей гнетущей реальности, потому что эти двое не в силах ничего в нем изменить. *Радость* есть не что иное, как *преображение*. Она в преобразенных душах двух людей, светлых, покорных своей судьбе и смиренных, хоть окружает их иное, мрак и грязь. Может, потому и не приходит Бог, которого звали они на свой нищенский пир, что уже был Бог в их душах, и это божественное, как радость, ощущают они в себе до конца.

Радость — это чудесное преобразование мира. Чудо — это мгновение радости, которое выстрадал в этом мире человек. В душах страдающих людей есть преобразующие силы. Но в мире, что обрекает людей на страдания, сил к преобразению нет. Сквозь его чуждое правдоподобное сукно, по ту его сторону, виделось чудесное в том паучьем, что стало, преобразенное душой, подобно фантастическому существу. Двое обреченных бродяжек радуются встрече друг с другом — и тоже оказываются «фантастическими существами». Даже их любезность и уважительное обхождение в реальном мире абсурдны. Но это абсурден мир в реальности своих бесчеловечных законов выживания, по которым люди, однако, существуют и превращаются в как будто ползущих по изнанке бытия пауков.

Не знаю кто, когда и зачем в будущем заинтересуется номером «Нового мира», вышедшим в апреле 2000 года, и что станет для этого человека открытием или событием; а по тому времени событиями стали публикация новых стихов Наймана, очередная повесть Маканина, явление Акунина, продолжение Палей... Вообще-то всего этого, конечно, ждали и заранее знали, что новое не посрамит старого, что очередное окажется загадочней, но и значительней предыдущего, что явление затмит собою всех, а продолжение наконец-то приблизится к окончанию. В окружении этих имен, однако, мелькнуло еще одно — и опять как будто исчезло. Автор же этого рассказа, ни для кого не ставшего событием, пришел в литературу со своим поколением, еще в начале девяностых. Это время было свободным от цензуры и соцреалистической поденщины, и я веду речь о поколении, испытывавшем поначалу лишь искушение творческой свободой, за которую оно даже не боролось. Журналы того времени пестрели новыми именами, но почти все получившие литературное продолжение дебюты имели место все же не в главных журналах, определявших лицо современной прозы, а где-то на литературной периферии. При этом в «Согласие» и «Волгу» попадали тогда рукописи, отклоненные в «Новом мире» и «Знамени». Отклоненные потому, что не соответствовали литературным вкусам своего времени, а сказать иначе — его литературным нормам. Но главное приходит в литературу со стороны, а открытий художественных не бывает без нарушений литературных норм.

Возможно, поэтому дебютировал прозаик Юрий Петкевич не на страницах «Нового мира». Тот, первый рассказ назывался «Явление ангела» и начинался так: «Всю жизнь Сапожков искал смысл жизни... Один раз он напился и пошел в баню». Такое вот странное начало. Очутившись в бане, герой рассказа заходит в парную, не снимая майки, трусов и... носков. Еще страннее было то, что происходило потом: в походе за смыслом жизни сам-человек Сапожков не раз превращался для окружающих людей в ангела. Рассказ проникнут и абсурдом, и фантазмагорией, а происходящее в нем делается чем дальше, тем более нереальным и бессмысленным, как сновидение. Всё объясняется, наполняется смыслом и становится в изображениях до предметности реальным, когда осознаешь, что герой рассказа, тот самый Сапожков, — это городской идиот. Человек, ставший в городе или на службе слабоумным спившимся идиотом, которого мучит лишь один вопрос, и в поисках ответа он напивается и отправляется в баню. Люди его не распознают, потому что сами живут как безумцы, разве что не каждый мучается над смыслом жизни. В рассказе нет иронической издевки над человеком, что кишела в литературе тех лет, вырвавшейся «из подполья». Звучание его трагическое, а мир гнетущ в своем скорбном бесчувствии, но просветляется в мгновения боли и страдания.

Как тогда, в начале девяностых, встретили эту прозу? На глаза в то время мне попался номер «Литературной газеты» с дежурным обзором журнальных новинок, где нескольких строк удостоился и очередной литературный дебютант. Вердикт дежурного критика был удивителен по сути, но обычен для тех лет: молодой автор подражает прозе Андрея Платонова.

Когда писали подобное, подразумевалось: не годен быть писателем в наше мирное время. Писали это знатоки платоновской прозы? Да нет, конечно, потому что человеку, знающему и любящему прозу Платонова хоть как-то глубоко, духовное ее продолжение никогда не покажется концом. Это писали люди, которым проза Платонова была чуждой, а уподобляли ей такое же чуждое, непонятное, возможно, что и раздражающее, чувствуя в языке и смыслах уродующее, погружающее как будто на дно жизни *мученичество*. Петкевич, без сомнения, испытал влияние Платонова, но скрипичная музыка его прозы диссонировала с духовной мукой Платонова, звучащей, как органная клавира. Так и бывает: слышишь чужую музыку, осознаешь ее

глубоко, даже вживаешься, а чувство рождается свое. Но в пилющей, мечущейся музыке, рожденной этим чувством, есть то же божественное. Тоже есть жизнь, прекрасная в своей ярости. Своя философия, что является стержнем — главным в прозе, когда за всяким образом, символом, изображением кроется не просто мысль, но философское превращение или обобщение.

Прозу Петкевича открыла, да и спасла со всем ее смыслом многолетний редактор этого автора — Елена Шубина. Ему ведь вынесли приговор, понимал он это или нет. Его дебют мог стать если не концом, то началом безысходного пути в лабиринтах редакций, ведущего в никуда. Но в одной из них — журнала «Дружба народов» — работала в отделе прозы редактор, для которой платоновское было своим, родным. Она верила этой мучительной музыке как подлинной. Понимала ее, знала, слышала с первых же слов. Служение Платонову было и делом жизни ее мужа, Льва Шубина. Сухое словцо «платоновед» не говорит о том состоянии души, которое есть у всех этих людей, похожих на героические блаженных. Они ведь служили, служат, да и будут, наверное, служить тому русскому гению, что был неугоден, потом забыт, потом как будто заново с почестями открыт, но после официального прочтения заново стал неугоден, забыт, не нужен, так что его именем, как сургучом, запечатывать стали все трагическое, многозначительное и в современной прозе. Юрий Петкевич состоялся как автор журнала, где обозначивает себя особенно национальность. Он родился и живет поныне в белорусском местечке, в деревне Новый Свержень Столбцовского района Минской области. Национальное есть в его характере — терпение к тяготам, покорность судьбе, что сказалась на прозе также, душевно. Однако на языке родном, белорусском, Петкевич не писал, поэтому его отношение к национальной белорусской литературе было лишь такое, поверхностное, чего не скажешь, например, о Василе Быкове, авторе того же журнала. Но повести из цикла «Возвращение на родину» — главное в прозе Петкевича — увидели свет на страницах «Дружбы народов».

Публикация первой состоялась в 1996 году. Этому странному повествованию о «возвращении на родину» предшествует еще более странная история о том, как страдающий человек, оставшийся в одиночестве после смерти жены, по совету своего племянника взялся за написание воспоминаний «о чудной возвышенной любви», чтобы «мысленно перенестись в иные времена, когда любимая женщина находилась рядом», но умер, так и не доведя их до конца: «Смерть застала его в ту минуту, когда он описывал впервые увиденную свою супругу». Желая воскресить в своем сердце чудесное, возвышенное чувство, несчастный умер, когда оно воскресло: сердце не выдержало волнения первой же с ним встречи. История любви оборвалась. Иписанные листы сохранили не волю покойника, желавшего воскресить и обессмертить Любовь, а то неизбежное и роковое, что было еще до его рождения. И хоть покойник был уверен, «что ничего случайного в жизни не бывает, а все происходящее в ней события служат для возникновения любви», его караулям, разбросанным в беспорядке по всем комнатам, суждено поведать о событиях и временах неизбежных и роковых, когда ничто не происходит по воле людей даже в их собственных судьбах.

Так начинается история судеб человеческих. О том, что было до его рождения, человеку суждено знать лишь по рассказам уже живших, «по рассказам родителей и старших братьев или иных родственников». Это простое положение вещей в повести Петкевича обретает поэтическую важность: каждый персонаж повести порождается подобным рассказом, а такой рассказ — невозможностью ее главного героя быть живым свидетелем происходящего.

Он, герой и рассказчик, — свидетель метафизический: слушает и собирает рассказы живых, но о том времени, когда сам еще не существовал. Когда же приходит его время, то вновь он собирает и слушает уже голоса мертвых. Прошлое и настоящее встречаются в повести как мертвое и живое, но и не раз сплетутся. Внешний сюжет семейной хроники лишь маскирует главное вневременное метафизическое событие: утрату родины, а по сути — утрату *реальности земного существования*. Рождается повесть без героя, где все персонажи — как будто разные рассказы об одном и том же событии — вовлекаются в конфликт прошлого и настоящего, живого и мертвого, разрешимый лишь в сновидческой грезе маленького Вани Грובה. Измученному, оставленному в смертном одиночестве мальчику снится сон, где ходят все его родственники — кто еще живой, кто давно умерший, — однако при этом существующие все равно что наяву. Мальчик просыпается, но видит то, что ви-

дел и во сне: «явился с печатью смерти на зверином лице согнутый, некогда высоченный родственник с длинными почти до колен руками и с кулаками, как человеческие головы, ведя с собой девочку...» Однако этот «фантастический сон» первой встречи будущих влюбленных обрывается, как и повесть, автор которой умер, взволнованный нахлынувшими воспоминаниями. Финал не объясняет, что же было явью, а что — сном; жизнью — и смертью? В цепочке рождений и смертей все действительно, потому что все уже когда-то было: Ваня Гробов рождается и умирает, умирает и рождается — как рождались и умирали до него все Гробовы.

Время и события хроники нарочито сопоставлены с историческими реалиями России XX века: свержение самодержавия, войны, гражданская и отечественная, годы террора — это же и смена вех в судьбах Гробовых. Но все историческое — лишь холст для самых фантастических превращений и красок истории рода человеческого, рассказанной в притчах о братьях, что покинули родину, соблазнившись мечтой. Братья — Митрофан Афанасьевич, Георгий Афанасьевич, Ксенофонт Афанасьевич, Тимофей Афанасьевич — это не личности, а родственные друг другу притчи о человеческих судьбах, каждая из которых венчается своим сновидением, где реальное окончательно предстает всего лишь обратной самой себе действительностью не предметов, но символов. Однако сны сбываются, они наделяются именно такой силой и смыслом, что уже и дети своих отцов живут как будто лишь по воле этих снов. Внешний сюжет хроники рассказывает о судьбах человеческого рода Гробовых — всех тех, кто родился в местечке с таким названием и после рассеялся неприкаянно по земле, чтобы собраться и стать слышными в душе родного человека: того последнего, кто, обретая себя, должен был вспомнить о них, обретая родину — полюбить, а обретая любовь — умереть. Это превращение всего сущего в грусть и печаль, что уже бесплотны. Знак печали в прозе Петкевича свидетельствует о жизни человеческой на земле как о неизбежной утрате, но чем печальнее звучит рассказ о жизни, тем весомей и прекрасней становится в понимании художника земное существование. Живое и мертвое в его философии — это не состояния собственно жизни, а состояния времени, как настоящее и прошлое, что существуют одновременно в мире, если когда-то было дано самое главное, жизнь — «жажда Божественного откровения и предчувствие чуда, которое спасает всех...».

Повесть «Мороженое на поминках» — следующая в этом эпическом замысле, сотканном из повестей, — увидела свет на страницах журнала «Дружба народов» в 1998 году.

На родину уже в прямом смысле возвращается некий молодой человек: едет на каникулы домой. В одном с ним вагоне едет в том же направлении старик — с лицом, все черты которого подчеркивают глубину пережитых страданий. Влюбленность в лице юноши привлекает внимание старика. Попутчики заговаривают о любви. Юноша рассказывает о любимой девушке, что осталась в городе. Старик вспоминает о своей любви, рассказывая историю, знакомую каждому, читавшему о судьбе Эдмона Дантеса из «Графа Монте-Кристо»... Так с первых страниц повести в ней загадочно появляется еще один странный и совершенно литературный персонаж — легендарный роман Александра Дюма о любви, предательстве и воздаянии.

В день обручения с любимой девушкой юноша был по суду и следствию своего времени арестован за клевету на советскую власть. В доносе против него участвовал всего лишь один человек: этот Мондего, Вильфор и Данглар в одном лице прозывается Максимом Васильевичем Лихорадовым. Присланный учительствовать на село, он влюбляется в девушку, уже предназначенную другому. Его донос и показания на суде решают все дело, легко меняют судьбы. Имевший виды на чужую невесту получит ее в жены сломленную горем и подчинившуюся простецким уговорам матери: «Не губи ты своей молодости и выходи за учителя». А несчастный жених, сосланный по доносу в лагерь, будет все годы своего заключения писать любимой, получая в ответ уверения, что та по-прежнему любит его и ждет.

Монте-кростовская история, однако, обрывается, потому что юноша, слушающий старика, вдруг осознает, что перед ним человек, историю которого он давно знает по рассказам своей матушки: — «Разрешите, я продолжу ваш рассказ, Александр Спиридонович, — прервал его N. N. Александр Спиридонович в недоумении замолк. — А когда Лихорадов перевез жену в Бр-ск, переписка продолжалась следующим образом: полученные от вас письма пересылали по новому адресу Людмилы —

она отвечала на них и отсылала в Мурановку с подписанным конвертом, чтобы письма отправили именно из деревни, так как вы могли догадаться о перемене в ее жизни по почтовому штемпелю... А когда вы вернулись, уже после войны, и узнали, что ваша «любовь» вышла замуж и живет в Бр-ске, то, побыв дома всего несколько дней, вы решили его покинуть... — Откуда тебе это известно? — изумился совершенно потрясенный Александр Спиридонович. — Как же мне не знать про все это, если вы приходите мне родным дядей!» И как только происходит это открытие — обрывается вступление к чужой литературной теме.

Автор переносит нас от событий, ставших известными, от возвращения лагерного сидельца в родную Мурановку — к неизвестному. В городе Бр-ск спивается учительшка Максим Васильевич Лихорадов, уже наказанный судьбой рождением слабоумного ребенка — Славика. Мерседес, она же Людмила Савельевна Лихорадова, поглощена странной безумной любовью к больному ребенку, хотя растут и еще двое сыночек, умненьких красавцев. Семейство Лихорадовых процветает в бедности. Мстить возвратившемуся из заключения Александру Спиридоновичу здесь некому, да как будто и не за что: выживший силой любви продолжает любить.

Зло наказано той любовью, что побудила когда-то ко злу. Славик умирает на руках отца, но и от его же рук, задушенный не иначе как в безумных отцовских объятиях. Людмила Савельевна сходит с ума. Сумасшедшая жена перестает быть для Лихорадова женщиной. Окончательно спившись, бывший учитель устраивается грузчиком на склад. Берет в дом приживалку Манечку, «некрасивую и обездоленную». Манечка живет с чужим отвратительным человеком как с мужем лишь ради пятерых своих дочек, чью судьбу хочет устроить: чтобы выдать их замуж, мать, сделавшись хозяйкой в чужом доме, пускает одного за другим квартирантов — офицеров из соседней воинской части, в которых видит выгодных женихов для своих дочерей. Сумасшедшая, которую уже забывали привязывать, однажды вешается на чердаке, задушив себя бельевой веревкой. Когда находят на чердаке ее труп, фатально происходит и другая смерть: сторож ночью застрелил человека, пытавшегося ограбить склад, и это был Лихорадов, что давно лишь воровством кормил свою уродливую семью, где смешались чужие друг другу люди. Кое-как гроб для сожителя купит Манечка. А раз, напившись, повесится на том же чердаке, потому что не захочется больше мыкать горе: но не свое уже, а перешедшее за что-то на одну из дочерей.

Смерть ставит точку в судьбе, где выбор был совершен. Ее, смерть, можно отсрочить, но нет желания и сил продлевать ставшую наказанием жизнь... Череда смертей продолжается как мрачная сказка: после пришла в дом, где бываються лишь последние желания, и удавилась на чердаке дальняя родственница Людмила Савельевна. «Не бывает смерти, под впечатлением которой свидетели не задумываются о собственной кончине», — читаем в повести. Но это не бывает зла, которое владело бы лишь одной душой.

Эдмон Дантес этой повести сам не может никого спасти от неминуемого возмездия, даже своей любимой. Александру Спиридоновичу больше не на кого глядеть из окошка своего дома и не для чего жить. Он решает возвратиться на родину, в Мурановку, — найти успокоение там, где было начало начал его судьбы. Но ее не дано повернуть вспять. Поэтому старик садится в поезд, где попутчиком его оказывается молодой человек. Тому видится в лице старика печать глубочайших страданий. А старик видит на лице юноши вдохновение влюбленности. Оба они возвращаются на родину, узнавая лишь в пути о своем родстве, хотя сели в поезд на одной станции, в одном городе... Это не судьба свела двух родственников — это начинается главное в повести, где на одном пути любви, в одном времени повстречаются страдание и еще вдохновенная страсть, но все уже как будто известное станет вдруг снова неизвестным и роковым: спустя некоторое время после того, как известный нам поезд с известными пассажирами прибыл на известную станцию, некий молодой человек, возвратившись из деревни, «осенью в бывшем парке графа Б., в городе Бр-ске» признается в любви, а вечная история о любви, предательстве и воздаянии обратится по воле ее нового автора к доселе потаенному смыслу: не бывает зла, что владело бы каждой душой. Игра судеб не так слепа, как бывают слепы сами люди, играя со своей судьбой.

Когда лед взломан, течение писательской судьбы почти невозможно прекратить. Нельзя уже искоренить из сознания художника, что он есть в искусстве и что он художник. Даже если нет известности — а ее у Петкевича все годы не было, — пустоты несбывшихся литературных надежд вовлекут в свой водоворот хоть щепку,

что удержалась на плаву, чтобы чем-то наполниться. Литература не терпит пустоты. Это для нее невозможно так же, как быть голой почве, в которой все создано живой плотью, а в литературе живой — значит, творческой.

Из написанного в девяностых у Петкевича почти все оказалось опубликовано в том же самом времени. Пишущий свою прозу долго, с жизненной долготой, он завершает это время, пожалуй, очень простым по содержанию, но отнюдь не по форме рассказом. Его литературный стиль показывается здесь как будто в работе, наподобие вскрытого часового механизма. Именно всякое ощущение времени из этого рассказа парадоксально устраняется. Опять же не случайно он был опубликован в журнале «Искусство кино» в качестве *сценария*, то есть тоже в некотором роде *механизма действия*. Его авторское название легкое, поэтичное — «Воздушный поцелуй». Данное от редакции — «Колесо обозрения» — обнаруживает в этом поэтическом механический принцип.

Две подруги, Лиза и Ляля, приезжают на поезде в похожий на призрак провинциальный городишко, где одну из них ждет и встречает мужчина: немолодой человек со странным старомодным именем Анатолий, деловой и солидный, при деньгах, — вот все, что можно узнать по некоторым деталям. Мужчина и девушка встречаются, однако так и не понятно, что же их притягивает, чья эта влюбленность, ощутимая только в желании встречи. Почти сразу Лиза ревнует Анатолия к подруге, которую сама же зачем-то взяла в сопровождающие и встречает мужчину вопросом: кто из них красивей? Мужчина смущается, но смущение стремительно превращается в раздражение. Лиза испытывает его терпение. И вот встреча на вокзале почти сразу продолжается абсурдным происшествием: Лиза, что курила и заставляла себя ждуть, остается одна на вокзальной площади, но в ту же секунду отправляется следом за случайным прохожим, а Анатолий и Ляля, ждавшие ее в машине, люди, чужие друг другу, даже мало знакомые, уезжают вместе: мужчина в раздражении больше не ждет ту, которую только что встречал. На протяжении всего рассказа происходит череда подобных событий и случайных превращений, после которых ничто не происходит, но между тем все действующие лица, сами того не зная, плутают в одном жизненном лабиринте, где за случайными встречами случайных людей в обстановке абсурда и хаоса по ходу событий возникает реальная жизненная драма человеческих отношений: абсурд становится бытом, случайное закономерным, сложное до детскости простым. Кто и кому признается здесь, в этих миражах любви? Ход событий — как наивное детективное расследование. Является череда свидетелей и подозреваемых. Их круг все ширится, пополняется ничего не значащими однообразными именами: Коля, Сева, Родион, Полина... Круг замыкается воздушным поцелуем. Его посылает пьяный механик аттракциона «колесо обозрения», или «чёртово колесо», парочке признавшихся в любви, что застряла на высоте, когда механизмы колеса сломались, ударом лома приводя их снова в движение.

Имена ничего не значат, и люди легко меняют их, называясь вдруг почему-то иначе. Люди-дети. Курят все заядло, кофе пьют, красное вино — и это для автора нечто обрядовое, знаки чего-то непонятного, потустороннего или неиспытанного. Условность, которая его чем-то завораживает. Но этот примитивный обряд, как и вообще *примитивизм* в прозе Петкевича, возникает вследствие множества упрощений, когда глубина и даже изощренность переживаний проходят сквозь слово бы детское, простодушное и созерцающее сознание. Отношение к деталям в прозе — как у художника, который, даже рисуя с натуры, осуществляет, по сути, сценическую постановку. Всё похоже на представление театра кукол — условность в соединении с детскостью, — но только в прозе. Что происходит? Серьезные сюжеты разыгрываются, как на сцене, в несерьезном, кукольном оформлении. Однако не для детей: ведь Петкевич самих тех, о ком он пишет, воспринимает детьми. Люди-дети превращают мир своих страстей в кукольный, но от этого не менее настоящий. Сложное и трагическое возникает там, где этого не ждешь. В иных смыслах и по иным законам.

Петкевич оформляет свое кукольное мистическое действие деталями и предметами — не только для украшения, но и в поисках равновесия, то есть смысла внутри замкнутости своего холста. Просто «натуры» и просто «реальности» мало для той выразительности, с которой каждая сценка прописывается как картинка или кадрик. Этой возможности «раскадровки» реальности Петкевич ищет как художественного решения — без нее не может сделать целое, главное. И оказывается, что не действие для него главное, а что вокруг. Вокруг и возникает избрательные алмазика, смыслы. Поэтому в прозе Петкевича властвует поэтика сновидений. Сон — это и все тот же кукольный взгляд на реальность, то есть, по су-

ти, форма примитивизма. В сновидческой грезе детали возникают как случайности, что лишь оформляет главное чувство, рождающее сон, — пробуждение сознания и души в неясности земного бытия. Реальность оказывается по ту сторону, а жизнью становится ее отраженный от реальности образ, каким он и предстает во снах. Этика сна — это нечто иное, чем нравственное напряжение жизни. Сон делает человека участником или свидетелем его собственной жизни, но лишает какого бы то ни было оправдания, возможности вмешаться в ход событий, становясь высшей волей, если не истиной. Все герои прозы Петкевича — это блаженные. Без всякой насильной или хотя бы убежденной мысли о Боге и мире Божьем мир его прозы именно такой, какой создается верой, любовью, состраданием человеческими: создается человеком, как создан был и Богом. Удивление в отношениях с жизнью и миром — это и есть свойства человека созидателя, то есть того, кто не вторгается в жизнь как чужой, переустраивая мир как чужое, а понимает и хранит все в этом мире как свое. Подлинное зрение — способность увидеть то, что создано для твоих глаз, и понять, открыть неожиданно какой-то смысл, то есть удивиться. Вот исповедь души мальчика Вани Грובה из повести «Возвращение на родину», за которой читается прежде всего исповедь авторская, личная: «...и он решил здесь существовать, чтобы вкусить поэзию и красоту минувшей жизни. Но немного спустя после ощущения возвышенного ему сделалось как всегда печально, и он подумал, что жизнь — мимолетна, ведь бессмысленно взирать бесконечно на черную бабочку на картине, однако сразу же после этой мысли мальчик осознал вечную красоту. И воспринял жизнь как музыку. И тогда жизнь показалась ему прекрасной».

И вот прошло это десятилетие для Юрия Петкевича. Его библиография кажется благополучной, как пропуск в литературный рай, если уж таковой для кого-то есть. Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и прочих... Вышла книга в издательстве «Вагриус»... Да только странно — под пропуском-то, как бы это сказать, никто не подписался. За десять лет о прозе Петкевича имел место всего один критический отзыв — догадайтесь где, когда и какой; ну еще восторженно встретил его дебют писатель Евгений Попов. Такая странная судьба. О каждом из тех, кто состоялся в 90-х как прозаик, было сказано вслух поболее нескольких строк, оставляющих в неизвестности. Был и есть у каждого сегодня хоть один свой прокурор, но и защитник. К публикациям Петкевича дважды писал предисловие его учитель еще по Высшим сценарным курсам Павел Финн; сострадал, читал, любил, понимал — один человек?!

Вся эта картина покажется еще более гнетущей, если знать, что Петкевич не только прозаик, но и художник, сценарист, поэт, актер, кинорежиссер... Это человек, одаренный органически, от природы, но совершенный самоучка, то есть самородок во всем, что стало его даром. Не учился живописи. Не учился как таковому актерскому и режиссерскому мастерству. Не учился стихосложению и прозе так, как этому учат в стенах Литературного института, все же помогая осознать многие ошибки. Поэтому его ошибки, наверное, и стали его же творческой сутью. Но картины, стихи, проза — как один подлинный мир. Этот человек, парадоксально, всю жизнь свою учится, но как тот, кто ничему не учится. Первым его образованием, высшим, был диплом института народного хозяйства. Работал инженером, потом плотником, то есть уходил от сделанного однажды выбора, и не раз, но потому, что слушался души. Была в нем душа инженера. Потом душа плотника. От работы с живым, с деревом — ушел к мертвому. Делал надгробные памятники, а сказать иначе: стал он художником при деревенском кладбище. А почему мог-то стать, хоть не учился? Да одна могла быть причина: нравилось людям, что делал плотник. Потом нравилось, как он рисовал их умерших, какие сочинял эпитафии, а людское — благодарность ли, внимание ли, поощрение ли — делало его тем, кем становился. Поступил на сценарные курсы, потому что писал уже к этому времени прозу, а стен Литинститута боялся — от них шибало советской литературой, опустошенностью. Была и еще причина: увлеченность творчеством Геннадия Шпаликова и очарованность его личностью, судьбой... Творчеством легким и светлым, личностью сложной и трагической; и судьбой, которой положила конец какая-то безысходная и неотвратимая смерть. В своей автобиографии Петкевич пишет так: «Шпаликов для меня очень много значил. Он оказал на меня огромное влияние еще до того, как я поступил на курсы. Я выработал свой литературный стиль, во многом учась у него, — ведь писал он необыкновенно легко». Учился тому, как писать, когда «воздух струится сквозь слова», но у того, кто правды в своей жизни искал, будто смерти.

Работая в кино, Петкевич снял как режиссер единственный фильм — короткометражку по сценарию Геннадия Шпаликова «Жизнь обаятельного человека». Потом работы в кино для него не стало. Начал рисовать, искать в этом для себя выход, но в живописи оценили как «аутсайдера» — творчеством «аутсайдеров» на языке галерейщиков зовется искусство душевнобольных людей. В своих предисловиях Павел Финн пишет, что творцом во всем сделала его ученика одаренность леонардовского свойства. Но при всей справедливости этих слов о самобытном и органичном даре Юрия Петкевича знаешь судьбу человека, отвергнутого оценщиками, чуть не во всех ипостасях... С каких-то пор, натываясь в одном на стену, он пытался сделать что-то важное и нужное в другом. Попытки такие были как пытки: призванный людьми, оказывался неожиданно для себя в пустоте среди таких же людей.

В литературе это похоже на какой-то суд молчаливый. Обвиняемому дали слово. Формально это слово, то есть прозу Петкевича, не прочли, не приняли к сведению. Ни строчки за много лет. Но ведь, конечно, все годы читали, приняли к сведению, только вот молчат. И это время молчания, отчуждения уже для самого писателя, для которого лишь критика есть самый очевидный образ и подобие его читателя. Такая формальная тупая критика, как система, приводящая в исполнение лишь приговоры? Такая пустая никчемная проза? Такое безразличное время? И вот неумолимая логика его собственной судьбы: первой судьбоносной публикацией прозаика Юрия Петкевича этого, начатого как будто заново, времени стало повторение — «Явление ангела». Уже не рассказ, а книга под таким названием. Начинается она так: «Всю жизнь Сапожков искал смысл жизни... Один раз он напился и пошел в баню». Такое вот странное начало. Такая вот странная судьба.

●

**«Веленью Божию,
о муза,
будь послушна...»**

●

**Н. С. Серегина. А. С. ПУШКИН
И ХРИСТИАНСКАЯ ГИМНОГРАФИЯ.**
Исследование. Российский институт
истории искусств. СПб., 1999.

●

В 1836 г. А. С. Пушкин писал: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; <...> но книга сия называется Евангелием,— и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие».

К источникам творчества Пушкина все еще редко относят христианскую литургическую поэзию. Более того, ссылаясь, например, на известные по Летописи жизни и творчества поэта сведения о том, что в Михайловском (1824 г.) он «проповедовал атеизм сестре и брату», время от времени — даже с телеэкрана — звучат утверждения о безбожии национального гения. Вопрос о роли религиозного начала в произведениях Пушкина, о значимости в его мировоззрении догматов православия отнюдь не прост, и однозначные ответы в столь сложной сфере, как душевная жизнь великого художника, — вряд ли возможны. По понятным причинам лишь в 80—90-е гг. отечественные пушкинисты начали обращать внимание на библейские и евангельские мотивы в творчестве поэта, ставя вопрос о значимости христианской традиции в системе его художественного мышления. Ученые осознавали актуальность подобных разысканий, поскольку христианские истоки творчества Пушкина не могли не

составлять важной стороны в наследии великого поэта, от понимания значения которой зависит понимание самой русской культуры. Но вести фронтальные разработки в этом направлении «традиционным» литературоведам было сложно — здесь требовалась особая компетенция.

Доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств (Санкт-Петербург) Наталья Семеновна Серегина — музыковед. По своей исследовательской специализации она является одним из наиболее авторитетных в России медиевистов-палеографов. Н. С. Серегина всю свою жизнь посвятила изучению древнерусской литургической музыки. Именно фундаментальное знание источников — текстов песнопений, исполнявшихся в православных церквях, позволило исследователю заметить в сочинениях великого русского поэта то, что обычно не привлекало внимания литературоведов. В результате Серегиной удалось не только отчетливо обозначить проблему значимости древнерусского гимнографического наследия в творчестве Пушкина, но и практически впервые в отечественной пушкинистике вполне аргументированно показать, как великий поэт работал с этим наследием, то есть приоткрыть читателям одну из наиболее сокровенных сторон его художественного метода.

Богослужебные певческие книги — Ирмологий, Октоих, Минеи служебные и Стихирари, Триодь, Обиход — содержат свод песнопений, и через них в храмовом действе литургии певчески проповедуются евангельское слово и вся целостная система евангельских истин. Пушкин, как и его современники, не только хорошо представлял себе древнерусскую литургическую поэзию, вошедшую в обиход традиционной культуры, но и специально изучал памятники гимнографии в церковных изданиях, а

также, вполне возможно, и по рукописным и старопечатным источникам: сама культурная среда России тех времен (монастырская, церковная, частные рукописные собрания и др.) этому способствовала. На основании биографических данных Серегина реконструирует увлекательнейший сюжет об интересе поэта к православному обиходу не только как частного лица, но и как писателя, профессионала-историка, открывшего для своего творчества ценнейший по своей значимости в русской культуре материал.

Осознанная установка Пушкина на осмысление и переработку литургической поэзии как главную задачу подготовительного периода наиболее явственно проступает в процессе создания «Бориса Годунова». Эти новые для поэта интересы знаменуют едва ли не полную перемену мировоззрения. Еще в июне 1824 г. Пушкин был «совершенно сумасшедшая голова, с которою никто не может совладать». «Божественный глагол» древнерусских литургических текстов стал вятен чуткому слуху поэта именно в Михайловском (с 1824 г.), где и возникают первые предварительные заметки к «Борису Годунову». На рабочем столе Пушкина появляется большая книга Четых Миной; он постоянно ходит в Святогорский монастырь, где ведет продолжительные беседы с игуменом Ионой. В течение 1825 г. поэт погрузился в самую глубину русской жизни, сохранившей во Пскове и его окрестностях многое от Древней Руси, с ее легендами о чудесах, иконах, юродивых и блаженных, которым открывается небесный смысл земных событий. На ярмарке у Святогорского монастыря он слушает духовные стихи, распеваемые нищими и слепцами, и сам поет вместе с ними.

Здесь же Пушкин познакомился с источником, обусловившим замысел не только «Бориса Годунова», но и многих других сочинений, вплоть до «Пророка» — повестью об основании Святогорского монастыря, связанной с чудесным явлением на городище Ворониче двух икон Блаженному Тимофею. Подчеркну, именно Серегина впервые в пушкинистике обнаружила этот источник в качестве творческого импульса при со-

здании поэтом своих вершинных творений. В повести о Блаженном отроке Тимофее и явлении ему икон Богоматери ясно выражена тема пророчества юродивых, которые на Руси традиционно объявляются в периоды «смутных времен». Они, ощущая грани тайного и явного, стремятся донести людям открытое им Вышними силами. Эта местная, имевшая вначале устное хождение легенда была впоследствии зафиксирована в рукописных и печатных текстах, с которыми — со всей очевидностью — Пушкин работал, живя в Михайловском. Здесь же он во время религиозных праздников Богородичного цикла мог слышать основной корпус песнопений Владимирской иконе. С текстами же этих песнопений поэт мог ознакомиться по годовому комплекту служебных Миной, которые хранились в Святогорском монастыре.

Анализируя художественный метод Пушкина при работе с гимнографическими источниками, Н. С. Серегина пришла к выводу: поэт не только был превосходно знаком с памятниками древнерусской поэзии, но и намеренно использовал их в своем творчестве. Так, в первых сценах трагедии «Борис Годунов» Пушкин вводит упоминание Владимирской иконы Богоматери — главной иконы Русского государства. Проведенное исследователем скрупулезное сравнение текстов песнопений, звучавших в православной литургии, с образным решением народных сцен раскрывает глубинный строй национальной культурной традиции, воспринятой поэтом не в отдельных элементах, а в целостном его отражении. Картина, воспроизводимая Пушкиным в речи Щелкалова, словно заимствована из древней стихир. Богородица в православной традиции — «Державная помощница», и в тексте «Бориса Годунова» тема державы тоже соединяется с темой Богородицы и темой слезного соборного моления. И в молении Бориса в Кремлевских палатах также прослеживается символика песнопений иконе Владимирской Богородицы. Поразительна обнаруженная Серегинной близость пушкинского текста к текстам из Миной служебных:

*О праведник! О мой отец державный!
Возри с небес на слезы верных слуг
И ниспошли тому, кого любил ты,
Кого ты здесь столь дивно возвеличил,
Священное на власть благословенье.*

*...тогда же множество верных,
приступившие ко иконе Твоей...
Князь же Василие со слезами вопиюще Ти:
о Дево, что Ти воздам...
молися прилежно Сыну Своему
и Богу нашему
яко спаситися граду Твоему.*

*...да мир умириши в православии
и царские скипетры утвердиши
и спасеши ото всех зол Твоя рабы,
яко едина благословенная.*

Связь трагедии «Борис Годунов» с древнерусским гимнографическим наследием становится очевидной не только на уровне замысла, важнейших сюжетных узлов, системы мотивов и символов, но даже в лексической ткани пушкинского произведения. Серегина, буквально «по слову» сравнивая текст, созданный поэтом, с текстами Служб «Праведного страстотерпца царевича Димитрия», «Святых мученик младенец, избиены от Ирода»; корпусами Стихирарей и Миней рукописных и печатных, посвященных празднествам Богородицы и др., обнаруживает отнюдь не случайное сходство. С первых и до последних страниц великое творение поэта опирается на глубоко укорененные в отечественной традиции православия народные представления о праведности и греховности, об истоках и причинах благодати и зла, о тщетности человеческой гордыни и властолюбивых побуждений в сравнении с величием духовного опыта всего русского народа. Именно он — в концепции Пушкина — выносит приговор «истории царствования Бориса» как истории людской корыстолюбивой суеты.

Так проясняются подлинный исток и причина «загадочных» слов ремарки, которой завершается трагедия. Всеобщее потрясенное молчание после убийства царевича Федора средни молчанию «всякой плоти человеческой» перед ликом убиенного Христа. «В древнерусской гимнографии мученик, принявший смертные страдания от нечестивых,

уподобляется Христу. В финале трагедии царевич Федор уподобляется святым мученикам, царевичу Димитрию и со смирением опускается на нижнюю ступень социальной иерархии, становясь вровень с юродивым Николкой, детьми и нищими». Именно об этом молитвенном безмолвии гласит текст песнопения, исполняемого в церквях на Великую Субботу:

*Да молчит всяка плоть человеческая
и да стоит со страхом и трепетом,
и ничтоже земнаго в себе да помышляет.*

Исследование Н. С. Серegiной проявляет связь и зависимость образно-смыслового строя от гимнографических источников не только в «Борисе Годунове». Она отчетливо проступает в поздних стихотворениях 1836 г. («Отцы пустынники и жены непорочны», «Не дорого цену я громкие права...»; «Когда за городом задумчив я брожу...», «Когда великое свершалось торжество...», «Напрасно я бегу к Сионским высотам...» и, наконец, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»), в которых Пушкин столь же осознанно обращается к традиции текстов Триоди — величественного собрания древней христианской поэзии. В Триодь включены произведения известнейших византийских гимнографов VII—IX вв. — Романа Сладкопевца, Иоанна Дамаскина, Андрея Критского, Льва Мудрого и др. В поздних стихотворениях поэта осмыслены система символов и типичные для раннехристианской поэзии тропы, но и обнаруживается прямое текстуальное сходство, вплоть до тождественности ритмического рисунка; все это показывает, насколько глубоко была освоена и пережита Пушкиным отечественная традиция религиозной лирики.

Русский философ XX в. Г. П. Федотов писал: «Невзирая на холод целого века просвещения, подпочва русской жизни была и долго еще оставалась религиозно горячей, и этого подземного тепла было достаточно, чтобы преобразить гуманизм Пушкина. В своем сознательном мире Пушкин всегда был западником, или, по Достоевскому, всечеловеком. В подсознании он воспринял от своего народа больше, чем кто-либо из его современников. Только это и позволило ему стать великим национальным по-

этом не Московии, не Руси, но России». Творческие деяния у художников такого масштаба, как убедительно показывает исследование Серegiной «А. С. Пушкин и древнерусская гимнография», не могут рассматриваться в отрыве ни от процесса преобразования человеческого «я» автора, ни от фундамента русской национальной культуры, каковым является традиция православия. Именно ее поэт выявлял, представлял и кристаллизовал в своих вершинных и итоговых сочинениях. Поэтому не случайно итогом и вершиной внутренней — душевной — жизни самого Пушкина стало открытие нового для него мира христианской поэзии. Поэт почувствовал себя Блудным сыном, вернувшимся после долгих странствий и мытарств в отцовский дом в слезах покаяния:

Так отрок Библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.

Анна АСТАХОВА

Книга мертвой скуки



**Эдуард Лимонов. КНИГА МЕРТ-
ВЫХ.** СПб., «Лимбус Пресс», 2000.



Я удивляюсь, что новая книга Эдуарда Лимонова оказалась способна кого-то рассердить. Когда заранее знаешь, что тебя будут эпатировать, ошарашивать, — это было бы смешно, когда бы не было так скучно. Когда заранее известно, что вновь увидишь шествие героя-титана среди трусливых пигмеев («калек и калекш»)… Уж на что утомительны бахвальства «бывалых людей» — прокуров или альпинистов, старающихся потрясти сердца соседей по застолью, — но они по крайней мере лишены систематичности семейного альбома, коим, страница за страницей, простодушный хозяин дома пытается оказавшихся в его власти

гостей: «С этим парнем мы учились в ШРМ в Шепетовке. В волейбол хорошо играл. В семьдесят третьем попал под машину. Эта блондиночка была у нас в группе профоргом. Вышла замуж за Серегу Налбандяна. Уехали в Читу по распределению. Он сейчас главный технолог, она пьет по-черному» — и т. д., и т. д., и т. д. А если хозяин, на беду, еще хороший рассказчик, знающий цену колоритной детали, — это уже полный атас.

Лимонов, к несчастью, рассказчик превосходный, умело и неуклонно нагнетающий вокруг своей фигурки облачища черного тумана, — он даже вместо «устроили отвальную» пишет «устроили нам на лимане отходную». Однако, если после отходной молитвы, прочитанной над умирающим, тот все живет да живет, наконец и это становится смешным. Умиравший, конечно, может себе позволить вместо «прости» пролепетать «пропусти», но если агония затянулась лет на пятьдесят, можно уже и не называть Венедикта Ерофеева Вениамином, а флорентийского банкира Лоренцо Великолепного — Герцогом Миланским (герцогский титул Медичи получили лет через двадцать после его смерти). Если тебе на эшафот не завтра, а только послезавтра, можно заглянуть и в энциклопедию.

Надо, правда, признаться, что на блестящих знаменитых имен пошлая часть твоей личности все-таки делает коротенькую стойку: Лиля Брик, Татьяна Яковлева, Бродский, Дали, — хотя заранее знаешь, что все будут одной помадой мазаны в лимоновской перелицовке минаевской пародии:

Карамзина я знал как вас —
Не счесть его услуг,
Хотя ему сказал я раз:
«Ты глуп, мой милый друг».
В одном приятельском кругу
С Жуковским говорил:
Его я принял за слугу
И квасу попросил.
Булгарин! С ним я до зари
Играл однажды в вист…
Булгарин, что ни говори,
Был честный публицист.

Лимонов отнюдь не упускает случая помянуть титулы якобы презираемой

им светской черни, и, если бы не раздражающая рот зевота, можно было бы впасть в тон чеховского Володи: «Для чего вы рассказываете про генералов и баронесс? Все это ложь!» Хотя бедное дитя отлично понимало, что папани говорит правду, оно все равно различало ложь в ее манере говорить, в выражении лица, во взгляде, во всем, только, увы, еще не ощущало ложь банальностью, скукой. Да, Лимонов действительно принадлежит к классикам второго-третьего ряда — выше чего, впрочем, и невозможно подняться, умея писать лишь первоклассные очерки. Однако он претендует в литературе на что-то настолько превосходящее его реальные заслуги как у Аполлона, так и у суетного света («культовая книга»), что поневоле усомнишься и в его боевых подвигах. Чем отчаяннее он жмет на уникальность и трагичность своей судьбы, тем большее недоверие тебя охватывает. Да бывал ли он на передовой? Может, завернул разок-другой на часок-другой — на короткой дистанции позерство еще способно заменить храбрость: и Грушницкий умел, зажмуривая глаза, размахивать шашкой. Но настоящие храбрецы эту разницу отлично понимают. Вот Хемингуэй — истинный молодец среди овец и даже сильная овчарка среди тигров — никогда не посягал на равенство с истинными героями: «Трое с орденами были похожи на охотничьих соколов, а я соколом не был, хотя тем, кто никогда не охотился, я мог бы показаться соколом; но они, все трое, отлично это понимали, и мы постепенно разошлись». Если ты не сокол, погибать надо в первом же бою, пока тебя не раскусили. А если, повторяю, предсмертная поза затянулась до пенсии... Даже настоящие инвалиды, без рук, без ног, и те надоели всем в очередях своими разодранными рубахами: «Я кровь мешками проливал!» А уж если ты за все геройства достукался всего-то лишь до точки с запятой в поле зрения при сохранности глазного яблока — шалишь, брат, таким отпускают в порядке очереди. Тот же Хемингуэй писал об одном поэте, «отмеченном печатью смерти»: «Я видел батальон на пыльной дороге, и каждый третий был обречен на смерть или на то, что хуже смерти, и не было на

их лицах никаких печатей, а только пыль. Слышишь, ты, со своей печатью, ты, шулер, наживающийся на своей смерти».

В сравнении со всей напыщенной фальшью человеческого, слишком человеческого опасение автора, как бы мы не упустили из виду, сколь убоги наши будни в свете его, лимоновских, сияющих дней, — это простодушное опасение становится даже трогательным, когда Лимонов почти буквально повторяет Горького Алексея Максимовича — а вы, дескать, на земле проживете, как черви слепые живут: «Вы думаете, читатели, что вы живете. Не-а, жизнь там — в минометном свисте», — который автор слышал одиннадцать раз в жизни, — «в тумане над лиманом, над плавнями, над горами, в предательствах и интригах». Ну предательствами и интригами нас не удивишь, а лиманов и туманов каждый может насмотреться, взявши туристическую путевку. Опасные вожаки, к которым Лимонов пристраивается хотя бы на фотографии, отличаются от него еще и тем, что не пытаются усидеть на двух стульях — быть не только крупными людьми дела, но еще и видными деятелями духа, то есть творцами впечатлений. Вернее, истинно крупные вершители судеб непременно становятся еще и творцами массовых фантомов, но обратного пути не проделал пока никто. Артиллерист Лев Толстой не случайно выслужил лишь чин поручика. Зато и вспоминал свои севастопольские подвиги с предельной честностью: вечный страх — страх смерти и страх позора. Лимонов же с его вечным страхом честности настолько недотягивает до трагедии, что, если даже позерство когда-нибудь на склоне лет и заставит его пасть от чужой или собственной пули, публика все равно уже не застынет в благоговейном молчании, а разве что поморщится: допрыгался... Теперь и его полная гибель всерьез воспримется как очередные туры и колеса.

Че Гевара, к которому примеривается Лимонов, скорее всего полярно далек от него — странствующий рыцарь «Революции», похоже, и впрямь желал по своим туманным идеалам перестроить мир, а не только любым способом отомстить ему за недостаток ласки. Маяковский по скрытым мотивам, возможно, к Лимо-

нову гораздо ближе, но зато куда дальше по поэтическому дару: громоздя натужные строки — седьмая вода на киселе Уитмена, — в Маяковские не выйдешь. Проза Лимонова, конечно, несравненно лучше его стихов, зато стихи страшно обнажают его некритичность к себе. Как заметил Ходасевич по поводу творчества Савинкова, трудно остаться значительным человеком, сочиняя посредственные стихи: герою лучше вообще не сочинять, не раздеваться прилюдно — интимные частности истребляют гранитную монументальность.

Впрочем, души позеров — наиболее непроглядные потемки. Поэтому не стоит, пожалуй, очень уж удивляться, когда люди, целиком, казалось бы, поглощенные страстью производить эффект, внезапно обнаруживают довольно серьезные чувства и даже мысли. Соратник Лимонова (по его словам) С. Курехин заявил в интервью, что под фашизмом в чистом виде он понимает романтизм; Лимонов же комментирует его поиски так: «Он искал нацию, и мы, НБП, были увидены им как самое честное подразделение нации». И заключает собственным кредо: «Если “художник” не приходит в конце концов к отрицанию индивидуализма, к пониманию того, что нужна сверхчеловеческая величина, которой он мог бы стать частью, то такой художник остается карликом навсегда».

Если Лимонов так хорошо это понимает, то, окончательно войдя в пенсионную пору, он, возможно, и сумеет преодолеть свой индивидуализм. Признаком чего обычно служит переход от самовыпячивания к служению и от потакания своим мелким страстишкам к ответственности за «сверхчеловеческую величину» — хотя бы ту же «Нацию». Ума в нем довольно, чтобы понять, что интересы Нации несовместимы с «Революцией», союзом с которой он хочет насолить всем благополучным и преуспевающим. Да у личности, преодолевшей индивидуализм, и память перестает быть местом ответственного хранения личных обид. А что до связи поисков «Самого честного подразделения нации», романтизма и фашизма...

Нация — система по своей природе неисчерпаемо сложная: нечеткая и противоречивая и скорее всего погибающая при

попытке упростить ее до полной обозримости и непротиворечивости. Именно поэтому *никакое* простое «подразделение» этой системы и не может быть выбрано в качестве «самого честного» — ему непременно должно противостоять множество других «подразделений». Стремление фашизма установить диктат простой части над многосложным и противоречивым целым — этот бунт простоты против сложности антиромантичен по самой своей сути, ибо истинный романтик стремится взломать стесняющие его жизненные формы во имя усложнения, обогащения жизни, а не ее обеднения. С другой стороны, стремление фашизма возвыситься над будничными интересами способно привлечь к нему и подлинных романтиков. Однако чуждающиеся всякой банальности, всякого стандарта романтики обрежены вскоре обнаружить, что выпендрожный бунт не менее банален, чем конформизм, но неизмеримо более пошел, ибо претендует на одухотворенность и неординарность. Между тем как истероидная психопатия — патологическая жажда внимания — проявляется так же стандартно и ординарно, как жадность и карьеризм.

Истероид не способен быть патриотом, ибо на вопрос: «России ли провалиться или мне не фиглярствовать?» — он всегда ответит: пусть она провалится ко всем чертям, лишь бы мой слух ласкали крики восторга или негодования. Да еще я имел бы возможность прятаться от «личного хаоса» в пригоршню верных «партийцев». Авось, они не догадаются, для чего они потребны вождю.

Но если Лимонов, убелившись сединами, каким-то чудом все-таки преодолеет индивидуализм и, всерьез озаботившись судьбой Нации, перестанет использовать ее исключительно в качестве дразнилки для своих обидчиков, возможно, тогда он и впрямь сумеет написать «культурную книгу» — способную то есть не только обрести пикантную известность, но и серьезно повлиять на умы.

Впрочем, нет — ответственное отношение к своему народу в наши дни исключает и эффектные (простые) призывы, и эффектные (простые) проклятия. А сложное не бывает культовым.

Александр МЕЛИХОВ

Учебник жизни и искусства

●
Дороти Ли Сейерс. ЧЕЙ ТРУП?
Пер. с англ. М. Ланиной. СПб., «Амфора», 2000.

●

Лет семьдесят пять назад американская писательница Кэролин Уэллс посетовала, что рецензированием детективов занимаются исключительно те критики, которые их терпеть не могут. И это верно, ведь разбор поэтических книг не доверяют ненавистникам поэзии (по крайней мере не всегда доверяют). С тех пор количество рецензентов, обожающих детективы, несколько увеличилось, но (увы!) большая их часть склонна отделяться либо пересказом сюжета, либо малозначащими фразами вроде «атмосфера таинственности», «энергичный сюжет», «хитроумная загадка». Ваш покорный слуга льстит себя надеждой, что он не из их числа.

Детектив может быть каким угодно — классическим и неклассическим, «черным» и «в белых перчатках», восточным, историческим и — что блестяще доказано Честертоном — даже теологическим. Он не может быть только дурацким, скучным, непоследовательным. Такой бывает лишь «большая литература». Хотя, с другой стороны, мне могли бы возразить последователи итальянского философа Бенедетто Кроче, повторяя его знаменитое: «Назвать книгу романом, аллегорией или трактатом по эстетике — в конце концов то же самое, что определить ее по желтой обложке или местонахождению на третьей полке слева». Хорошо. Объявляю: книгу Дороти Ли Сейерс «Чей труп?» я торжественно помещаю на книжную полку в моем кабинете, ту самую, где красуются (уже порядком потрепанные) избранные рассказы про Шерлока Холмса, «Убийство Роджера Экройда» и «Восточный экспресс» Агаты Кристи, «Тайна Эдвина Друда» Диккенса, однотомник Уилки Коллинза, трехтомник Честертона и «Шпион, пришедший с холода» Ле Карре. «Полное собрание рассказов Эдгара По» находится в другом книжном шкафу, почему-то рядом с Бодлером.

От вышеперечисленных книга Сейерс отличается элегантным, даже слегка пиджонским дизайном. О, это, конечно, не «карманное издание»; узкая, стройная книга поместилась бы, пожалуй, только в карман длинного сюртука. Приглушенно-зеленые и серые тона обложки вызывают в памяти такие понятия, как «прохлада», «чистота», «свежесть». Впрочем, неявный конструктивистский рисунок намекает и на конкретный историко-культурный контекст: в таких цветах и в таких декорациях разворачивается гипотетическое будущее в романах Уэллса и Хаксли. Стальные конструкции, стеклянные колпаки, неяркая зелень оранжерей и неявное журчание фонтанов. Шампанское, матовое звучание белых оркестров, женщины в серебристых туниках. Принцессы не какают. Двадцатые годы нашего века. Попытка забыть меж двумя бурями пятнами мировых войн.

Оформление романа Сейерс абсолютно соответствует его содержанию. Детектив всегда контекстуален эпохе, как ее «повседневности», так и ее «идейности». «Чей труп?» написан тогда, когда фрейдизм был еще новостью (по крайней мере в британском обществе), когда актуален был еще грубый утилитаризм в таком духе: «Способность различать добро и зло зависит от определенного состояния клеток головного мозга», когда еще по поводу социализма можно было отпускать оскарауильдовские фразы, как о туалетах Mrs. X или романах Ms. Y: «Он может познакомиться с хорошими людьми в чистых полотняных рубашках при вечно хорошей погоде, но жизнь гораздо сложнее». По поводу последней цитаты поделюсь своим скромным наблюдением. Борхес верно заметил: «Простой и очевидный факт состоит в том, что соображения Уайльда чаще всего верны. «The soul of man under socialism» блещет не только красноречием, но и точностью». Высказывание Дороти Сейерс (точнее, ее персонажа) о социализме почти безупречно. Социализм — утопия, это ясно всем. Только вот обычно считают, что социализм — утопия политическая (вариант — религиозная); на самом деле он — эстетическая утопия. Это действительно земной рай с сильными, красивыми обитателями в чистых рубашках при вечно хорошей погоде. Парадиз из рекла-

мы стиральных порошков, гигиенических прокладок и зубной пасты.

Безупречен автор и в приметах так называемой «реальной жизни»: в середине романа описан притон в лондонском Сохо; уже в тридцатых годах нашего века о волнующей атмосфере этого района стали забывать; нынче же, гуляя по Тотенхэм-Корт-роуд, не только притонов с проститутками, даже приличного винного магазина не встретишь. Ни тебе аванса, ни пивной. Трезвость.

«Чей труп?» — первый роман Дороти Ли Сейерс. Он написан тридцатилетней медиевисткой, выпускницей Оксфордского Соммервилль-Колледжа, автором двух поэтических книг. Год его выпуска — 1923-й — это год рождения одного из самых известных англосаксонских детективов-любителей: лорда Питера Уимзи, денди, гурмэ, любителя инкунабул, ветерана первой мировой. Все эти обстоятельства следует иметь в виду при чтении романа.

И еще одно наблюдение. В 6-м (за прошлый год) номере журнала «Звезда», посвященном 100-летию юбилею Набокова, напечатана превосходная статья Игоря Павловича Смирнова «Философия в «Отчаянии»». Автор «Лолиты» предстает там блестящим знатоком Монтезя, Декарта, Паскаля и Юма, глубоким интерпретатором Кьеркегора, заинтересованным читателем Евгения Трубецкого, Владимира Соловьева, Льва Шестова. Боюсь, что барчук-изгнанник не читал философов или почти не читал. Прежде всего потому, что предпочитал философии и теологии другие жанры фантастической литературы, другие типы загадок — от шахматных до детективных. Я готов сделать маленькое литературное открытие.

Мне кажется, что сюжетным (и идейным, да будет позволено рецензенту так выразиться!) источником «Отчаяния» был детективный роман Дороти Сейерс «Чей труп?». Не буду раскрывать карты и сообщать, кто и как убил. Но. Генеалогия преступления набоковского Германа явно восходит к хитроумному плану с переодеваниями и выдаванием одного трупа за другой у Сейерс. Причина итоговой катастрофы обоих преступников тоже одинакова — эстетическая недостаточность; их двойники просто *непохожи на оригиналы*.

Напоследок маленькая детективная загадка. На с. 13-й можно обнаружить не-

простительную ошибку переводчика, а на сс. 103—104-й — антихолмсовский выпад сыщика-аристократа.

Кирилл КОБРИН

Комплекс Гамлета

●
Ф. Гримберг. ДВЕ ДИНАСТИИ: ВОЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ. М., «Когелет», 2000.

●
Какими еще могут быть воззрения поэта на историю, как не вольными и поэтическими? Тем более если автор, прозаик, филолог-славист, историк, — еще и поэт, зафиксировавший недавно свою принадлежность к самой что ни на есть вольной русской поэзии в поэме «Андрей Иванович возвращается домой». С одной стороны, два династиеведческих романа — «Рюриковичи» и «Династия Романовых», составивших данную книгу, я воспринимаю как развернутый историсофский комментарий к некоторым строкам поэмы («Шли впереди норманские лады. // И танки по дорогам шли в пыли»), с другой — как буквальный ответ на давний (уже почти четвертьвековой) призыв поэта несколько иной поэтической традиции Юрия Кузнецова: «Отдайте Гамлета славянам!»

Принадлежность комплекса Гамлета традиционному русскому национальному сознанию — наиболее интересная мысль книги. Самым первым Гамлетом на Руси и во всем мире, оказывается, был брат знаменитого Александра Невского Андрей Ярославович, оставивший такой образец типично русского «гамлетизма»: «Господи! Что се есть, доколе нам меж собою браниться и наводити друг на друга Татар, лутчи ми есть бежати в чужую землю, неже дружитися и служити Татаром!» Потерпев поражение в борьбе с братом за главный тогда на Руси княжеский престол во Владими-

ре, он бежал в Швецию. Автор «Деяний датчан» Саксон Грамматик рассказывает о приезде конунга Андерса к Вольдемару датскому, понимавших друг друга посредством латыни, с просьбой о помощи против Александра, в которой было отказано. Автор хроники называет князя Андрея «Гамлетом», то есть безумным, юродивым, а потом уже рассказывает и о стародавнем датском принце Гамлете. Было это за три с половиной века до того, как Шекспир извлек из этой же хроники сюжет для своей трагедии, но, что любопытно, англичане так и не восприняли образ Гамлета как символический, тогда как сравнение того или иного персонажа с Гамлетом не сходит со страниц русской прозы. Автор также называет Андрея Ярославовича родоначальником всех «эмигрантов» (почему-то в кавычках), бегущих от власти, с которой невозможно дискутировать «на равных», продолжателями дела которого стали Андрей Курбский и... Андрей Амальрик (тем самым давая понять, что в системе русского «гамлетизма» подлинное «бытие» возможно только в эмиграции, но с таким Гамлетом автор вышеуказанного призыва к Господу вряд ли согласится). Собственно, эмигрантская деятельность Гамлета-основоположника заставляет скорее вспомнить о фигурах Святополка Окаянного и генерала Власова, которым во взаимоотношениях с противником как раз удалось то, что не удалось Андрею Ярославовичу. Амальрик — больше по части Владимира Печерского, которому также уделено внимание. Впрочем, сама жизнь не устаёт производить очередного Гамлета именно на русской почве, даровавшей им не житейское, а чисто историческое «бытие» — вот реабилитированные Ф. Гримберг Петр III и Павел I (во время визита последнего в Вену в 1781 году, когда там собирались поставить на сцене «Гамлета», говорили, что интересно было бы увидеть сразу двух Гамлетов: одного на сцене, другого — в зале).

Жанр обоих произведений я бы определил как романы истории, по аналогии с «романом культуры». Не исторические романы, так как здесь нет вымышленных лиц, но все же романы, так как в оценке

персонажей доминируют личные симпатии и антипатии автора.

Можно соглашаться или спорить с концепцией автора, согласно которой именно союз Александра Невского с Ордой разрушил возможность единства южной и северо-восточной Руси, ибо носителем этой идеи был преданный им брат. Но в стремлении ниспровергнуть антизападнический культ Невского в упрек ему ставится даже то, что он использовал именно ордынскую тактику при известном Ледовом побоище (по ходу предложено отказаться от выражения «псы-рыцари», так как Карл Маркс в своих заметках по русской истории писал не «hundesritters», а «bundesritters» — рыцарский союз). Походы его в пределы, подвластные Свейскому (Шведскому) королевству, охарактеризованы как «захватнические» (хотя с чего это данные «пределы» стали именно Свейскими?). Можно из имеющихся в наличии императриц предпочитать Анну Иоанновну Елизавете Петровне и Екатерине II (поощрение Анной вольности дворянских приветствуется, но, однако, потом ставится под сомнение). Но в упрек Екатерине ставится ликвидация польского государства, что ввело в состав империи «бомбу замедленного действия» (в действительности Екатерина долго противилась разделу Речи Посполитой, а когда он в три этапа состоялся, то при жизни императрицы собственно польские земли в состав России не вошли, территория Великого герцогства Варшавского — подарок Венского конгресса 1815 года). Романистка скорее склонна прощать персонифицированные государства, чем приговоренных к демифологизации личностей: Россия «не виновата», что ей достались земли мифической на период XVII века «Украины», а вот «разумеется, не следует видеть в Дмитрие Ивановиче (Донском.— А. Л.) «радетеля о благе русской земли»».

Автор безапелляционно пытается закрыть вопрос о подлинности «Слова о полку Игореве», предлагая в качестве «Антислова» Галицко-Волынский летописный свод, рядом с грандиозной конструкцией которого можно поставить в мировой культуре «разве что... лучшие фильмы Феллини». Однако последнее ис-

следование Б. Гаспарова «Поэтика „Слова о полку Игореве”» (М., 2000) показывает, что вопрос более чем не закрыт. Что не лезет уж вовсе ни в какие ворота, так это навешиваемый на современное евразийство ярлык «фашизма», притом что в случае с творчеством Макса Брода автор просит не смешивать позицию своеобразного религиозного «почвенника» с «Моей борьбой». Западнический дух не должен в очередной раз отрываться от евразийской российской плоти. Между прочим, один американский фонд, стимулирующий демократизацию на просторах СНГ, называется «Евразия», а другой не менее щедрый фонд не прочь поощрить и собственно евразийские исследования.

В целом у Ф. Гримберг получился образец мифоборческой шоковой историографии, по аналогии с шоковой экономической реформой, с тем отличием, что книгу можно просто закрыть и отложить в сторону. Фактологической базой она, конечно, несравнима с противоположным по духу мифотворчеством Фоменко и Носовского (наши возражения касаются преимущественно выводов, а не фактов). Книга оживляет интеллектуальный пейзаж, отмеченный, как и во времена М. Волошина, «какою-то большой исторической тоской».

Александр ЛЮСЫЙ



Ольга СЛАВНИКОВА

Капсула времени

Посмертная книга Александра Дудолодова «До. Во время. И после» вряд ли пройдет в том уже довольно упорядоченном книжном потоке, что движется от крупных издательств через хорошо наполненные торговые сети и впадает в читательское море, затрачивая на этот путь примерно год с небольшим. Есть такие издания, которые как бы никуда не движутся, тиражи их тихонько тают на месте. Выпущенные небольшими издательствами где-нибудь в провинции, эти книги вне потока образуют обширное книжное болото и прямо в нераспечатанных пачках становятся буквенным торфом. Чего здесь только не обнаружишь: двадцатистраничные поэтические сборнички в розовых, туалетного цвета, обложках, созданные трудолюбивыми пенсионерами романы про любовь, заказные тома про славный путь полуразворованного гиганта индустрии, подарочные альбомы формата шоколадного набора, выпущенные к юбилею некоего города некой амбициозной администрацией... Книга Александра Дудолодова, изданная екатеринбургским «Зеркалом» тиражом 500 экземпляров, пребывает, хотим мы или не хотим, в этом культурном слое, ожидающем не столько сегодняшнего читателя, сколько послезавтрашнего исследователя.

Странная это вещь — издание книги в провинции. Не так уж мало их выходит — но будто и не выходит вообще. Министерство культуры Свердловской области планово выделяет скромные суммы двум существующим у нас писательским союзам, и на эти суммы претендует скромная очередь: ежегодно свои «литературные условия» улучшают пара прозаиков и несколько поэтов. Есть среди пишущей братии люди расторопные, с хорошими связями: умея убедить в своей гениальности точно выбранного для этой цели директора завода либо банкира, с которым некогда сживал за школьной партией, человек выпускает книгу со своим портретом, очень похожую на том из собрания сочинений какого-нибудь классика, и даже получает в результате некий гонорар. Но сколько ни вложи в провинциальное издание денег и литературы, результат один: текст, воплощаясь в книгу, обретает небытие. Характерный пример: молодая писательница из терпеливых, осознавшая вдруг, что на сборник ее симпатичных рассказов будет затрачено двадцать две тысячи рублей, посетовала, что, если бы эти деньги просто выдали ей на руки, она бы смогла спокойно написать давно задуманную повесть. Замкнутый круг очевиден: чем больше создается невостребованных текстов, тем больше денег нужно для их почетных похорон.

Из сказанного понятно, что почитатели Александра Дудолодова, собравшие средства на книгу, совершили по-своему отчаянный поступок. Возвращение писателя ощутили только те, для кого Дудолодов был приятелем, другом, кумиром. Но если применить к ситуации более крупный масштаб, то получается парадокс: с выходом книги автор оказался не ближе, а дальше от сегодняшнего дня. Сегодняшний день характерен тем, что автор, независимо от качества создаваемого продукта, своим прямым физическим присутствием обеспечивает и свое присутствие в литературном процессе. Книга не живет отдельно от автора, она его маленький сямский близнец. Собственно, книга как таковая не конкретна: вчерашний громкий роман сегодня оказывается смыт, в лучшем случае от него остается название. Писатель, чтобы быть не в болоте, а в потоке, должен все время оставаться автором книги вообще: создаваемой, издаваемой, проходящей по рынку — и так цикл за циклом. Писатель сегодня — это сериал, смысл интереса к нему в ожидании следующей серии. Спрашивается: что мы можем ждать от мертвого? Он уже перестал поддерживать собою свою литературу, кровь его остановилась. Не только Дудолодов (чье имя было масштаба отнюдь не провинциального), но и более, чем он, известные писатели, уходя, подвергаются забвению столь внезапному и резкому, что это буквально похоже на падение с корабля современности — плывущего, по всей вероят-

ности, непосредственно в летейских водах, что замечают при жизни только пассажиры третьего класса.

Издание книги Дудолодова означает следующее: тексты его, собранные и отпечатанные, сданы на депонент. Так писатель из недавнего, чуть ли не вчерашнего прошлого переместился в неопределенное будущее и стал, как уже было сказано, не ближе, но дальше от нас, знавших его живым. Предполагается, что в некоей точке XXI века наступит время собирать камни, и дотошный литературовед, раскопав в слежавшихся томах окаменелую ценность, введет наследие Дудолодова в актуальный оборот. Собственно, друзья Александра, возглавляемые владельцем «Зеркала», писателем Владимиром Холобком, сделали все, что могли: заложили капсулу времени, доверив ее содержимое будущему. Наверное, в этом и смысл затрат на «болотные» книги: исходя из спорной идеи, что бумага, покрытая литературой, не горит, не самые раскрученные писатели (среди которых много настоящих) стремятся сохранить на этом якобы вечном носителе и почитают за благо свои нераспечатанные пачки, нередко хранимые дома и похожие в городской квартире на русскую печь. На вечере памяти Александра Дудолодова, прошедшем в Екатеринбурге существенно позже аналогичного московского мероприятия, высказывались оптимистичные идеи, что рассказы Саши будут многократно переиздаваться, а киносценарии непременно попадут в хорошие руки, и римейки окажутся сильнее существующих на сегодня малобюджетных лент. Надеяться на это отраднo. Однако можем ли мы после всего, что с нами было, доверять какому-либо будущему? Я бы ответила на этот вопрос отрицательно.

Поэтому, вообразив себя счастливым исследователем периода грядущего процветания российской культуры, я решила сделать за него его работу. Очень может быть, что вскрывать свежезаложенную капсулу времени есть занятие того же качества, что выкапывать свежесаженную картошку. Однако, надеясь на лучшее, следует готовиться неизменно к худшему: никакого литературоведа, который откроет Дудолодова когда-нибудь потом, может вовсе и не быть.

Александра Дудолодова считали писателем-юмористом. Он, должно быть, и сам так думал. Вряд ли он когда-либо сомневался в своей принадлежности к специфическому цеху, производящему смешное. На заре своей литературной карьеры — а дело было еще в застойные времена, когда предметом шуток служили наши отдельные, строго определенные недостатки, — Дудолодов попытался освоить газетный фельетон. В отделе юмора «Уральского рабочего» ему объяснили основы технологии, приняли от него первый странноватый опыт, все перечеркали и, насколько помню, напечатали. Больше Дудолодов к жанру не обращался. Значительно позже, будучи уже в Москве, он писал монологи для известных эстрадных артистов. То, что сейчас читает Клара Новикова про телезрительницу, пытавшуюся ограбить банк по голливудскому сценарию, — это его, Дудолодова. Монолог присутствует в сборнике. Несмотря на избитость автора и яркую типичность образа (как много, оказывается, существует женщин, похожих на Клару Новикову, она же ни на кого) — это тоже «отдельные недостатки». Дамочка, затеявшая рискованное дело, но более всего сосредоточенная при этом на собственном красном костюмчике, — кто же не писал про такую? Существует несколько типов мужской и женской глупости, должностной хамоватости, алкогольной куражливости и новорусской дури, составляющих «джентльменский набор» всякого юмориста. Из этого исчисляемого количества создаются комбинации, которые на эстраде, при участии авторского остроумия и актерского обаяния, нередко превращаются во всенародно любимые образы. Большого, нежели мозаика основных элементов, не допускают ни эстрада, ни фельетон. Здесь мастерство заключается в том, чтобы, наворачивая эффект на эффект, дойти до упора, то есть до ограничителя. Литературе здесь положен естественный предел.

По моему мнению, Дудолодов юмористом не был никогда. Ни газетная фельетонистика, куда его занесло по неопытности, ни эстрада, куда он попал по житейски понятной траектории, не были его настоящими контекстами. Там, где Дудолодов нарочно пытался смешить и эксплуатировать то, что эксплуатируют все, — там он не был собой в той полной мере, в какой осуществлялся как прозаик. Именно прозой был его первый заметный рассказ «Не кормлены» — всего страничка с небольшим машинописного текста. Сюжет такой: в грязной столовой посудомойка, расхаживая по залу с тряпкой, «похожей на убитую крысу», убеждает посетителей, что первые-вторые, подаваемые в этой точке общепита, есть нельзя, а компот вообще опасен для здоровья. Все отодвигают тарелки, встают. Оказывается, среди обедавших был «засланный казачок»: муж посудомойки, у которого во дворе столовой имелась тележка под пищевые отходы. Материальный интерес супружеской пары заключался в том, чтобы обеспечить пищей частных поросят.

Этот небольшой сюжет, чей пересказ занимает едва ли не треть объема собственно текста, может служить примером того, как вообще устроены дудолодавские «юморески». Некачественный общепит и ловкие несуну были излюбленной мишенью советской сатиры, с ними можно было расправляться самыми изощренными литературными способами. Однако у наиболее решительных авторов, таких, например, как Игорь Тарабукин, мастерство уходило на то, чтобы при помощи малого и разрешенного намекнуть на большое и недозвоненное: «Еще звезду поверх значков себе повесил тов. Петров. Открылась бездна, звезд полна, звездам конца нет, бездне дна». Что касается Александра Дудолодова, то его вряд ли вдохновляла стрельба по недостаткам. Перед ним, как перед всяким прозаиком, стояла задача не убить, но оживить героя, его письмо обладало свойствами голографическими. Чувствуя в себе способность мыслить парадоксами и потому определяя себя как юмориста (у всякого молодого автора потребность отождествиться с авторитетным типом письма сильнее жажды самоопределения), Александр Дудолодов первоначально работал с объектами чисто советского жанра, чью страшную инерцию еще предстоит оценить и описать. Однако объекты эти, избитые до совершенно плоского состояния, монтировались у Дудолодова таким неожиданным образом, что вместе давали объем, в котором зарождалась жизнь. Например, фокус пересказанной юморески — правда с двойным дном. Посудомойка, которая по правилам советского фельетона должна была бы обманывать посетителей или кричать: «Жрите, что дают!» — чистосердечно признается, что котлеты сделаны из неизвестного сырья, а в компоте для крепости сварили тряпье. Скрытая правда о поросятах при этом совершенно *невинна*. Более того: в небольшом объеме текста протянута ниточка нежности. Посудомойка и ее хозяйственный Вася получились у Дудолодова дружной симпатичной парой, их забота о поросятах — одна из красок простого взаимного чувства. Вышло, что на самом деле все хорошо: и поросята сыты, и посетители, избежавшие отравления, целы. А что столовка является объектом абсурдным, производящим из съедобного несъедобное, — такова ее природа, — нам ее судить.

Я думаю, Александр Дудолодов шел к тому, чтобы переформулировать наследие советской юмористики — и это не имело ничего общего с играми соц-арта. Те типовые ситуации и персонажи, что послужили для Дудолодова первоначальными образцами, представляли собой как бы набоковские нетки — ими профессиональные авторы манипулировали, рассчитывая на эффект узнавания и на ресурс эзопова языка. Дудолодов подносил к изделию, окаменевшему в своей определенности, некое зеркало, чья кривизна всегда была удивительно ласкова и никогда — агрессивна. В зеркале вещь оживала. Дудолодавские поправки к реальности — вроде стада слонов, образовавшегося вдруг в обычном дворике частного сектора, — выявляли внутреннюю правду традиционно обличаемого персонажа, в данном случае алкоголика, которому даже родная жена приписывает только фельетонный сюжет. «Это, — говорит, — сначала к тебе твои дружки явились, и вы моих любимых слоников с комода пропили, а потом уж устроили зоопарк, и к вам слоны пришли». Может, так оно и было в не обработанной писателем действительности, но внутренняя правда важнее, а по этой правде — герой не виноват!

Проза — это когда я не понимаю, как это сделано. У Александра Дудолодова много «юморесок» про любовь. Например, такая: он любит ее и мечтает что-нибудь починить у нее в квартире. Случай представляется, за ремонтом следует тихое чаепитие, плавно переходящее в бурную страсть. Возвращаясь от женщины, герой обнаруживает на ночном тротуаре ее свежезарезанный труп. Шатаясь под страшной ношей, он возвращается к порогу любимой, и там его встречает она — живая и здоровая, спрятавшая труп возлюбленного под кровать. Двое убитых лежат рядышком, как Ромео и Джульетта. «Давай забудем их», — предлагает женщина, и дальше двое оставшихся решают пожениться. Что все это означает? Смерть любви, приход благополучия? Рассказ «До и после» (заголовок случайно или не случайно служит отражением названия книги) дает возможность и такого элементарного прочтения. Текст демонстрирует юношескую нетвердость авторской руки: не надо было герою в финале впервые замечать на шее женщины поношенные складки. И все-таки в рассказе есть выход на что-то верхнее. Абсурд, этот слесарный инструмент юмора-сатиры, работает здесь «в другую сторону». Главное в тексте происходит *нипочему*, но происходит так, что целое в логическом истолковании не нуждается. То же самое с рассказом «Капля». Просто идет по городу человек по фамилии Голубенкин (к фамилиям героев Дудолодова мы еще вернемся) и несет дождевую каплю, только очень большую. Привлекательный предмет вызывает волнение граждан, измученных дефицитом. Всем сразу тоже захотелось приобрести такую же. Спрос на капли был удовлетворен продажей прозрачных полихлорвиниловых босоножек кавказского производства. Вот и все. Помню, как, прочитав эту «юмореску», люди недоумевали: в чем соль, над чем тут смеяться? Они чувствовали долг, столкнувшись с «юмором», испытать положенное ощущение: было когда-то такое добросовестное отношение к литературе. Однако многие тексты Дудо-

ладова рефлекторного смеха не вызывали, а требовали иного уровня восприятия — к чему средней любитель «юморесок» вовсе не был готов.

На самом деле все хорошо — так говорил своим читателям Александр Дудолодов, и в этом не было сарказма, «второго смысла», а была особого качества лирическая серьезность, и сегодня сохраняющая себя в агрессивной иронической среде. Дудолодов был *добрый* писатель, всегда видевший светлую сторону мира. Добрый юморист-сатирик — не странный ли коктейль? Ведь когда мы смеемся — над рассказом ли, анекдотом, — мы всегда получаем удовольствие за чей-нибудь счет. Смех объединяет людей, но всегда есть некто отсутствующий, против кого на краткое время дружит ликующая аудитория. У Дудолодова благодаря его дарованию видеть в грешном праведное все было по-другому. Реальность — советскую или постперестроечную, ничуть не более пригодную для жизни человека, — он описывал как фантастическое и тем отменял ее гравитацию, позволяя героям летать. По большому счету, он освобождал героя и читателя от обязательности *этой* жизни и при помощи писательского слова переносил их в иной план существования. Герои Дудолодова, в отличие от нас, реальных и приземленных, чувствовали фантастичность окружающего и противопоставляли абсурду свои изобретения, позволяющие, например, превращать советские пальто и ботинки, очень мало похожие на настоящие пальто и ботинки, обратно в сырье. Или увеличивать пассажироперевозки при меньшем составе экипажа, переводя во время рейса часть персонала в разряд пассажиров. Траектория героя, движущегося в обнаженных авторским пером каркасах абсурда, и была той остроумной линией текста, которая вызывала и вызывает смех. Если бы сделать эти сюжеты несколько по-иному, получился бы Кафка. Но у Дудолодова не было мрачных красок даже тогда, когда он писал о безысходности человеческого одиночества и близком конце света. Его герои, веселые и находчивые, так применяются к ситуации, что их «ответы», не менее абсурдные, неизвестно откуда взявшиеся в авторской голове, исправляют искривление реальности. Минус на минус дает плюс.

Если ставить Дудолодова в сегодняшний литературный контекст, то я, пожалуй, не стала бы искать ему аналогов среди действующих эстрадных юмористов. Бог с ним, со Жванецким, на которого в описываемом сборнике есть замечательный дружеский шарж. По-моему, ближе всего к Дудолодову по типу письма стоит один из самых известных и признанных нынешних прозаиков Алексей Слаповский. В этом легко убедиться, если прочесть сборник Слаповского «Книга для тех, кто не любит читать», выпущенный издательством «Грант». Сборник содержит очень много замечательных коротких рассказов, о которых в аннотации сказано: «Сам автор считает их написанными в духе антиабсурда, не объясняя, что это значит». Из сказанного выше о Дудолодове отчасти понятно, что имеется в виду под антиабсурдом: все то же мягкое, глубокое зеркало, подносимое к нетке.

Слаповский, как и Дудолодов, горячо солидарен со своими героями, населяющими Саратов, Москву и другие хорошие города. Сюжеты Слаповского, как и Дудолодова, построены на веселой фантастике. Главная разница, пожалуй, в том, что у Дудолодова фантастическое — это факт, выходящий за рамки реального, вроде тех же неизвестно откуда взявшихся слонов, а Слаповский идет от психологии, обнаруживая в уме и поведении персонажа некую извилистую черту, идею фикс, благодаря которой закручивается сюжет. Однако здесь нам важнее не разница, но сходство. Для того, чтобы проявить родство этих двух литераторов и тем обозначить в первом приближении поле *доброй* литературы, я бы ввела понятие «уменьшительной фамилии». У Дудолодова: Попугайло, Булавкин, Куковякин, Ваняткин, Лязгин, Пулин, летчик Воробьев, упомянутый выше Голубенкин. У Слаповского: Нифиногенов, Анадырьев, Укапустин, Котаев, Околов, Глюкин и в этом ряду преобразенный Иванов. (Хочется еще добавить: Путин.) Это не комедийные «говорящие» фамилии эпохи классицизма и не уничижительные ярлыки фельетонистики. Каждая такая фамилия — результат тонкой стилистической работы. Некоторая ее «недовернутость», нескладность, производность от какого-нибудь простоватого обиходного предмета или столь же обиходного слова говорят читателю об искусственности ее происхождения. Здесь нет благородной пошлости, исторической неблагозвучности настоящих фамилий. Можно сказать, что «уменьшительные фамилии» — это игрушечные слова (кот в них плюшевый, капуста из басни, глюки из анекдота). Вычислить словообразовательную модель невозможно, но при этом характер персонажа распознается безошибочно. Так работает в этих текстах чеховская традиция — но работает современно. Литератор словно документирует жизнь своего героя, ручается за его доподлинность честным писательским словом, буквально свидетельствует: там-то и тогда-то произошло то-то и то-то. «Пятнадцатого января одна тысяча девятьсот девяносто пятого года Илларион Васильевич Гостомыслов зашел в магазин по пути со службы домой. Это был магазин «Зодиак», что на улице Волжской города Саратова». Это, понятное дело, Слаповский. Дудолодов менее конкретен и более лиричен: «Была весна. Синеоков стоял у забора. Оттаявший забор источал запах.

Запах был тонкий, сладкий, древесный. Забор цвел запахом». И Слаповский, и Дудоладов выдают своим персонажам «уменьшительные фамилии» как удостоверения личности, такие специальные паспорта, гарантирующие доподлинность и правовую состоятельность их обладателей.

Мир, в котором живут герои Слаповского и Дудоладова, тоже «уменьшительный». Это не настоящий Саратов, не настоящая Москва, не настоящий Свердловск. Чтобы понять, как там все устроено, проведу аналог с фантастическим романом Вячеслава Рыбакова «Гравилет „Цесаревич“». В романе описано общество, где не было никакой Октябрьской революции и Отечественной войны. Российская империя процветает, подданные ее, не знающие катастроф XX века, добры и совестливы. Но и наш мир тоже никуда не исчез. Около сотни лет назад группа гениальных ученых, презревших идеал обывательского благополучия, создала лабораторную Вселенную с крошечной Землей, где распылила вещество, подавляющее инстинкт самосохранения и возбуждающее центры агрессии. Эта «планета революционеров» и есть наша Земля в нынешнем ее неблагоприятном состоянии. Каждый персонаж романа существует как в «большой» России, так и в «малой». Погибнув «в колбе», человек приходит, будто в рай, в настоящий мир и соединяется со своим неотравленным «я», которое воспринимает в момент гибели как огромное светоносное существо. Всякая аналогия хромает, но мне представляется, что писатель склада Дудоладова и Слаповского тем и талантлив, что пребывает в некоем *подлинном* — для обычного человека не существующем — мире, где житейское зло недействительно. Там он становится «светоносным существом» не для одного двойника, но для многих героев своей литературы, о которых он свидетельствует, которых жалеет и любит.

Мне кажется, что сегодня, несмотря на жесткость писательского производства да и жизни вообще, самая актуальная литература — это *добрая* литература. Век чернухи был недолог, он кончился, и слава Богу. У сентиментального, остроумного, человечного Алексея Слаповского сложился свой круг понимающих читателей. Модный проект Хольма ван Зайчика (участие в нем упомянутого Вячеслава Рыбакова видно невооруженным глазом) хоть и спродюсирован искусственно, но отвечает той же потребности. Цикл романов придуманного еврокитайского гуманиста (по другому определению — Евразийская симфония) называется «Плохих людей нет», и две уже вышедшие книги, отмеченные, надо сказать, подлинным литературным даром пишущего или пишущих, сметаются с прилавков моментально. Даже конъюнктурный Сергей Болмат, сконструировавший роман «Сами по себе» под вкус читателей Пелевина (и, возможно, наступивший при этом на горло собственной песне), сделал доброту одним из знаковых качеств своего сочинения.

Что же Александр Дудоладов? Видимо, он совсем немного не дожил до своей настоящей востребованности: его сердце остановилось 3 сентября 1999 года. Тут уместно было бы сказать несколько прочувствованных слов о безвременно ушедшем друге, но я воздержусь, потому что опыт показывает: сделать что-либо для мертвых невозможно. Мы здесь, а они там. Рассказы Дудоладова слегка поспешили явиться на свет, судьба его осталась незавершенной, главное его произведение, по видимому, не написано. Я, конечно, не очень верю, но все-таки надеюсь, что капсула времени, заложенная издательством «Зеркало», когда-нибудь попадет по нужному адресу. А теперь, желая отчасти возместить потерю тем моим читателям, что никогда не получат в руки книгу «До. Во время. И после», приведу полностью один рассказ Александра Дудоладова — чтобы стало понятно, о чем я так долго здесь толковала.

Выключатель

(Размышление)

*Отчего умирает человек?
Оттого, что внутри у него что-то оборвалось, испортилось, перегорело, сломалось?
А может, наоборот?
Починили выключатель?*



Владимир БЕРЕЗИН

С а й н с f i c t i o n

Нам представляется, что фантастика есть отрасль литературы, подчиняющаяся всем общелитературным законам и требованиям, рассматривающая общие литературные проблемы (типа: человек и мир, человек и общество и т. д.), но характеризующаяся специфическим литературным приемом — введением элемента необычайного.

Аркадий и Борис Стругацкие

Совершенно непонятно, о чем идет речь, когда мы произносим эти слова. Их пишут латиницей или транслитерируют русскими буквами, переводят как «научная фантастика». Ясности это не прибавляет. Жанровые определения всегда самые зыбкие, точно так же как зыбко деление людей на национальности. Есть и другое обстоятельство — любой из писателей этого жанра чрезвычайно болезненно воспринимает противопоставление фантастики всей остальной литературе. Или, больше, всех раздражает инерционное отношение к ней как к вторичному, развлекательному чтению. Причем наиболее радикальные фантасты-критики и фантасты-писатели ставят знак равенства между литературой и фантастикой. На одном из фестивалей фантастической литературы, о которых еще пойдет речь, с десятком позиций номинационного списка занимал Павел Крусанов с «Укусом ангела» и текстами из книги «Бесмертник». Попали туда и сетевой текст «Паутина» Мери и Перси Шелли, и несколько рассказов Акунина. Однако размытость границ жанра как раз и способствует его популярности и жизнеспособности.

Но самым загадочным словом в сочетании science fiction является именно первое, а не второе. Какая наука? Наука о чем?

Вот, скажем, утопия, о которой говорилось в предыдущих номерах «Октября», в ее идеальном виде тоже принадлежит научной фантастике, оперирующей идеями социальных наук. Альтернативная история строится на понятиях исторической науки. А те науки, что называются «точными», сейчас оказались в том самом «загоне», куда физики было затолкали лириков.

Классическое определение, данное давным-давно Большой Советской Энциклопедией, гласило: «Вид художественной литературы, изображающей в живой, увлекательной манере перспективы научного и технического прогресса, проникновение человека в тайны природы. Предметом изображения научно-фантастической литературы является научное изобретение, открытие, еще не осуществленное в действительности, но обычно уже подготовленное предыдущим развитием науки и техники».

Особый случай — Жюль Верн. Он положил начало настоящей «инженерной фантастике», безумно продуктивному и по-настоящему *массовому* виду литературы. Но капитан Немо обладал всего лишь подводной лодкой, мало противоречащей законам физики. Воздушный шар, гигантский вертолет, чудовищная пушка — все это было действительно подготовлено наукой и техникой.

И преимущество было на стороне скорее инженера, а не физика.

К фантастике этого типа относились и «Гиперболоид инженера Гарина» Толстого, и «ГЧ» Долгушина, и «Пылающий остров» Казанцева, «Тайна двух океанов» и «Победители недр» Адамова. «Туннель» Келлермана, кстати, тоже считался фантастикой.

Потом физики стали в почете, запищал на орбите первый спутник, литературные герои отправились в страну багровых туч и наследили на пыльных тропинках да-

леких планет. При этом собственно космическое путешествие было данью инженерной фантастике, а вот причудливый эксперимент, продолжение гипотезы в реальную жизнь, разумный океан Соляриса, буйство энтропии за миллиард лет до конца света и задача поднимания шести спичек силой мысли — все это составляло предмет фантастики, называемой «научной».

Такая фантастика не широко популярна, то есть популярна менее, чем кажется. Очевидно, потому, что красота логического построения, имеющего отправной точкой научное открытие или парадокс, требует образовательного ценза, некоторой работы мысли.

Получается, что научная фантастика живет в трех ипостасях — инженерной, научно-философской и развлекательной.

Проще всего дифференцировать развлекательную фантастику — она следует универсальным законам массовой культуры. Развлекательная составляющая есть и в фэнтези, и в утопии и функционирует в них точно так же, как в детективе.

Существует, например, такой довольно старый тягучий телевизионный сериал об идеальном автомобиле, обладающем искусственным интеллектом. Один из символов американской мечты — именно автомобиль. «Умный» автомобиль играет в сериале главную роль. По сути, не будь его, это был бы заурядный боевик с регулярным, как восход, *harry-end*’ом в каждой серии.

Таким же образом плодятся серийные романы о первобытных людях, похожие на дамские романы. И дело не в том, что в них растет развесистая кляква популяризации. Дело в самом методе, когда на унифицированную сюжетную схему женского романа ложится историческая надстройка. Интересно другое — как сочетаются познавательная функция и развлекательная.

Этот метод — поучать, развлекаая, — придуман давно: вспоминается забавный телесериал о Геракле, где древние греческие мифы были напитаны современным американским юмором и политкорректностью.

Возьмем серию об охотниках на мамонтов писательницы Джин Ауэл. С исторической точки зрения ее сведения о каменном веке верны — у нее были хорошие консультанты. Но проникнуть в сознание древнего человека невозможно, приходится его наделять сознанием современным. Вот и бродят по романам Ауэл многоречивые персонажи, болтают, подобно Демосфену, выплюнувшему наконец камешки. Все эти реверансы, просьбы, извинения в речи первобытных людей напоминают языковую среду массового женского романа, они присущи его героиням: тем, что взмахом руки отвергают поклонника-мушкетера, и тем, что поправляют тунику; тем, что ведут «Феррари» по горной дороге или сажают пилотируемый модуль на спутнике Юпитера. Вдумчивый читатель найдет в романах Ауэл что угодно: инструкцию по выживанию в одиночку, этнографические исследования, трактат о приручении диких зверей, а также ликбез по этике и психологии сексуальных отношений. Скажем, описано свадебное путешествие людей каменного века — очень романтическая история.

С точки зрения первобытного человека мы-нынешние и древние египтяне — почти «современники». Только не было у него никакой точки зрения. Он вообще был другой. Его психология была иная. Детали его жизни неизвестны — как именно он ел и чем, извините, пах. От той незапамятной эпохи нам остались лишь могильники. Истлела плоть далеких предков, бусы лежат среди голых ребер. Настоящим гением надо быть автору, чтобы написать текст, построенный на не существующей уже психологии, чтобы заставить читателя поверить в привычки и мотивы людей иной цивилизации. Кажется, такого автора нет. А интересно было бы почитать, ей-Богу.

Массовая же культура в своей познавательной ипостаси делает, что может: выплевывает на читателя историческую антропологию *pret-a-porté*.

Надо сказать, что сейчас фокус научных открытий сместился от «чистой» физики к биологии, органической химии и всему тому, что напрямую связано с человеком.

Это и понятно, потому что любая литература в той или иной мере испытывает влияние читательского спроса. А читателю прежде всего интересно знать о себе, примерить на себя необычное и чудесное. В больших городах в тысячах домов стоит компьютер; и вот рожденное в первой половине восьмидесятых годов в Америке понятие «киберпанк» начинает странствие по миру. Собственно «киберпанк» есть научная фантастика, посвященная взаимоотношениям человека и компьютера. Почему в названии сохранился корень «панк» — непонятно, но термин вполне успешный и распространенный. «Киберпанк» — это литература о виртуальной реальности или о соединении человека с электронными машинами.

Причем то, как устроен процессор, уже никого не интересует.

Научно-техническая революция завершилась, то, что происходит теперь, — скорее научно-техническая эволюция. Обыватель видит это в телевизионных новостях. Реальность инопланетян для него несомненна, а космический полет представляется лишь финансовой проблемой. Техническое новшество для обывателя стало чем-то вроде черного автомобиля с искусственным интеллектом — деталью, усложняющей сюжет.

Обывателя теперь не удивишь научным изобретением или открытием, «еще не осуществленным в действительности, но обычно уже подготовленным предыдущим развитием науки и техники». Поэтому в коктейль научной фантастики щедро сливаются мистика и детективный сюжет. Тот самый элемент необычайного, о котором говорили Стругацкие, оказывается вишенкой, ломтиком лимона, декоративным зонтиком — примочкой на традиционной сюжетной конструкции.

Россия находится сейчас в периоде ничем не ограниченной буржуазности, которую сдерживает только восточный характер этой буржуазности. Фраза из другого тома той же энциклопедии, которая упоминалась в начале, становится справедливой: «В период упадка буржуазной культуры фантастика находит свое выражение в различных формалистических направлениях искусства и принимает глубоко субъективный характер... Апология бандитизма и одновременно полицейской службы, картины войн и гибели цивилизации в результате применения атомной энергии — таковы излюбленные темы буржуазной научно-фантастической литературы». Вот оно, вот...

Восторг от описания технических чудес кончился на истории капитана Немо и «Наутилуса». Это был романтический восторг, а такие эмоции не живут долго. Человечество подросло, научная фантастика прожила романтическую юность, и оказалось, что интересна возможность не сдублировать человеческую особь, а рассмотреть этические последствия этого шага.

Характерная черта следующего этапа истории фантастики — плавное расслоение на фантастический боевик (главное слово именно «боевик») и философскую притчу, которую словарь Ожегова определяет как «...краткий инокалительный поучительный рассказ». Время изменило притчу, краткость стала теперь необязательна, а под нравоучительностью понимается приглашение к размышлениям. В фантастическом боевике задумываться не надо, им нужно увлечься. Впрочем, боевик и есть классический пример чисто развлекательной фантастики, о которой уже было сказано.

Оба жанра живут совместно под одним кровом, за одним термином — «фантастика». Один не хуже другого.

Но боевиков все больше и больше, притч все меньше.

Если писатель рассказывает о погоне нехороших людей за хорошими (или наоборот), это боевик. Если цель повествования в том, чтобы еще раз обсудить неоднозначность прогресса, — это заявка на притчу. У луддитов — своя правда. Они тоже люди. И тоже делают историю.

Вспоминается один давний роман. Там в некий город приезжает человек. Цель его приезда — трудное расследование. Крутится приключенческий сюжет, а между тем это притча. Называется этот роман-притча, написанный братьями Стругацкими, «Хищные вещи века». Главное в нем — не эпиграф из Ленина, не детективная интрига, а размышление об обществе, для которого любой бытовой и полезный предмет превращается в орудие самоуничтожения. Так с помощью опия можно и лекарство сделать, а можно и до смерти человека довести.

Классические философские романы, романы-притчи писал Станислав Лем. Эта линия продолжается и в современной отечественной фантастике.

Важная отличительная черта современной научной фантастики — ее способность объединять своих приверженцев. Съезды-фестивали фантастов — писателей, издателей и любителей-фэнов — традиционно называются конвентами. Оттого последний слог в их названиях «кон» — «РОСКОН», «Зиланткон», «ИНТЕРПРЕСС-КОН» и многие другие, в России и за рубежом.

Конвенты показывают, что фантастика как социальное явление обладает несколькими чертами, обособляющими ее от «обычной» литературной жизни.

Во-первых, это чрезвычайно корпоративный вид литературы. В каком-то смысле это цеховое братство, в котором *принято* читать и обсуждать друг друга. Из всех литературных сообществ в странах бывшего СССР только фантасты собираются несколько раз в год на свои фестивали. Ни у наших детективщиков, ни, уж конечно, у авторов любовных романов, ни у исторических романистов это не получается. А на международных конвентах собирается по несколько тысяч человек; и хотя в большинстве это фэны, но численность все равно впечатляет.

Причем помимо поклонников научной фантастики и фэнтези в разряд участников конвентов попадают и, казалось бы, далекие от фантастики люди. Однажды в Казани я забрел на семинар других ролевиков, пятнистых и камуфляжных, серьезно обсуждавших, чем зарядить гранату для пейнтбола — недоваренной овсянкой или сухой гречкой. Хотя от пейнтбола у меня сводит скулы, как от всякой игры в стрельбу по людям (не одному мне известна пара мест, где в эту игру играют вполне всерьез: если не вернешься оттуда в цинковой упаковке, значит, выиграл. Есть незримый барьер в моей персональной этике, который пейнтбол — будучи игрой — переходит, потому что сближает грязь и кровь с комфортным времяпровождением. Впрочем, это — тема отдельного разговора), серьезность пятнистых мальчиков мне внушала уважение, они были самодостаточны, деловиты и собраны.

Вопрос об организационных свойствах фантастического сообщества отнюдь не так прост. Представить себе, что авторы детективов, причем пишущие для совершенно различных издательств, собираются несколько раз в год на встречи друг с другом и со своими читателями, довольно трудно. Представить себе несколько десятков прозаиков, пишущих для толстых журналов, пьющих пиво вместе со своими читателями и издателями (те же несколько раз в год), тоже довольно тяжело. Фантасты организованы лучше всех. Оргкомитеты нескольких конвентов общаются друг с другом, одни и те же люди считают привычными для себя Харьков и Петербург, Москву и Томск. Еще один шаг — и вот он, Союз писателей-фантастов, красивые членские билеты и тому подобная бюрократическая радость.

Да только что с того, что одним писательским союзом станет больше? Живой, динамичный мир фантастики остается живым именно благодаря аморфной организации: что-то вроде Интернета, в котором сбой одного из узлов не нарушает устойчивости системы. Пытаться насильственно структурировать стихию фантастики — то же самое, что пытаться регулировать Интернет с помощью специального министерства.

Размышляя на лестнице, как говорят французы, понимаешь, что противостоять объединительной тенденции бессмысленно, но общие структуры, которые должны возникнуть прежде всего, — структуры информационные, а не организационные. Разве что создать некий координационный комитет, что будет способствовать проведению конвентов, помогать желающим попасть в другой город, а то и страну, причем помогать не только писателям, но и читателям. Ведь конвенты проходят в десятках стран, а количество гостей от нашей страны там несправедливо мало.

Вторая особенность фантастики по сравнению с «вообще» литературой заключается в том, что фэн — любитель фантастической литературы, ее читатель и, можно сказать, потребитель — во многих смыслах близок к автору-фантасту. Недаром же существует театр без стен — многолюдные народные инсценировки фантастических произведений самых разных писателей — от Толкиена до Лукьяненко.

На конвентах проводятся «научные» семинары. Помню, меня особенно порадовало сообщение «Некоторые вопросы фонетики эльфийских языков и связанные с ними проблемы», а также доклад на тему «Некоторые замечания об имени Эарендиль». Но конвенты дают читателю и уникальную возможность личного общения с автором. На конвентах, где из-за дверей доносятся звуки гитары, по коридору идет критик в обнимку с писателем, издатель тащит вслед за ними ящик с пивом, а фэны с книжками в руках мешают проходу, рождается особая духовная общность.

Третье обстоятельство: фантастическая литература в силу своей природы и характеров вовлеченных в нее людей раньше прочих проникла в Сеть. То есть скорость обмена информацией в этой среде существенно выше, чем в остальной популярной литературе. Связи налажены, налажена сетевая поддержка. Гигабайты художественных текстов на русском языке и их сетевых обсуждений постоянно путешествуют по пространству России и ее соседей. Количество сайтов в Интернете, прямо или косвенно связанных с фантастикой, куда больше числа сайтов, связанных с другими популярными жанрами.

Как ни посмотри, а научно-фантастическая литература превратилась в странный интернациональный гибрид — «сайнс fiction» — удивительно жизнестойкий и плодоносный.



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;

для стран СНГ — 79209.

Подписка на «Октябрь» по Москве через Интернет:
www.Gazety.ru

Во втором полугодии 2001 года каталожная цена на один месяц:
для подписчиков Российской Федерации — 52 рубля;
для подписчиков стран СНГ — 69 рублей
плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается ЗАО НПО «Информ-система»: тел. (095) 127-91-47, факс (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28.

Читайте в следующих номерах:

АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

*«Призвание Рюриковичей, или
Тысячелетняя загадка России»*

КНИГА ТРЕТЬЯ

«Мир направляется правителями, а потому и роль их в развитии человечества вроде бы предельно ясна; их главным изобретением была и остается система господства и рабства, в пределах (или рамках) которой варьируются, именно варьируются режимы политического, экономического, социального и духовного подавления (закабаления) народных масс, и совершенно естественно, что народные массы, не всегда умевшие и умеющие разобраться в сути происходящего, но интуитивно угадывающие в навязываемых законах новое для себя кабальное ярмо (чем обычно и оборачиваются все царские и вождистские инициативы), часто осознанно, но часто и неосознанно выступают за сохранение своей национальной самобытности; иначе сказать, все прогрессивное (если вообще хищническое мироустройство можно назвать таковым), достигнутое человечеством, исходит будто бы из “прозорливой” деятельности кумиров-поводырей (что и демонстрирует нам наглядно их пьедестально-иконостасное величие), тогда как на долю народа, отстаивающего свои жизненные права, остается лишь позиция “замшелого консерватизма”. Так подавалась история в прошлом, так она подается и теперь, хотя — одно дело, интерпретация действительности (какими бы соображениями это ни продиктовывалось), и совсем другое — действительность реальная, в которой, как ни извращай, то есть как ни “обогащай” ее своими научными и ненаучными домыслами, роли правителей и народа распределены совсем не так, как их трактуют столпы исторических и философских знаний».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До конца года и в 2002 году
«Октябрь» предполагает опубликовать:

- Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.
- Дмитрий БОБЫШЕВ. **Я здесь.** Продолжение.
- Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**
- Анатолий ГАВРИЛОВ. **Роман.**
- Владимир КАНТОР. **Записки из полумертвого дома.** Повесть.
- Анатолий КИМ. **Роман.**
- Николай КЛИМОНТОВИЧ. Продолжение книги «Далее везде».
- Павел КРУСАНОВ. **Роман.**
- Афанасий МАМЕДОВ. **Повесть.**
- Давид МАРКИШ. **Рыжий.** Повесть.
- Вацлав МИХАЛЬСКИЙ. **Весна в Карфагене.** Роман. Продолжение.
- Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**
- Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**
Стихи.
- Анатолий НАЙМАН. **Роман.**
Стихи.
- Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».**
Переписка с женой.
- Владислав ОТРОШЕНКО. **Тайная история творений.** Рассказы, эссе.
- Олег ПАВЛОВ. **Карагандинские девятины, или Повесть последних дней.**
- Юрий ПЕТКЕВИЧ. **Повесть.**
- Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы, сказки.**
- Евгений ПОПОВ. **Повесть.**
- Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Письма из деревни.**
- Эдвард РАДЗИНСКИЙ. **Повесть.**
- Михаил РОЩИН. **Рассказы.**
- Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.
- Антон УТКИН. **Роман. Рассказы.**
- Сергей ЮРСКИЙ. **Продолжение новой книги.**
- Статьи философа Александра СЕКАЦКОГО, культуролога Ларисы БЕРЕЗОВЧУК, размышления о театре Виталия ВУЛЬФА.**
- А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Петра АЛЕШКИНА, Татьяны АНДРОНОВОЙ, Юрия БУЙДЫ, Дмитрия БЫКОВА, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Владимира САЛИМОНА, Леонида ФИЛАТОВА, Бориса ХАЗАНОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭППЕЛЯ и др.
- Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Павел БАСИНСКИЙ, писатели Александр МЕЛИХОВ и Андрей СТОЛЯРОВ.